
Н. А. ТЭФФИ
Юмористические
рассказы

Н.А.ТЭФФИ

Юмористические рассказы

•

Из «Всеобщей истории, обработанной «Сатириконом»



Москва
«Художественная литература»
1990

ББК 84Р6
Т97

Вступительная статья, составление,
подготовка текста, комментарии

Д. Д. НИКОЛАЕВА

Иллюстрации

В. КОНОПКИНА

Оформление художника

Ю. БОЯРСКОГО

Т $\frac{4702010000\text{-}344}{028(01)\text{-}90}$ без объявл.

ISBN 5-280-01822-8

«ЖЕМЧУЖИНА РУССКОГО ЮМОРА»

Было время, когда книги Тэффи пользовались необыкновенной популярностью. «Ее считают самой занимательной и «смешной» писательницей и в длинную дорогу непременно берут томик ее рассказов»[1],— писал Михаил Зощенко. Увы, несколько поколений в нашей стране были лишены возможности познакомиться с произведениями Тэффи. И даже имя это многим из современных читателей, к сожалению, неизвестно.

Тэффи — псевдоним Надежды Александровны Лохвицкой (в замужестве — Бучинской), родившейся 9 (21) мая 1872 г. в Петербурге в семье известного адвоката, профессора уголовного права А. В. Лохвицкого. Автор нескольких книг по юриспруденции, множества статей, издатель и редактор «Судебного Вестника», он славился также остроумием и ораторскими способностями. «Детство мое прошло в большой обеспеченной семье,— вспоминала Тэффи.— Воспитывали нас по-старинному — всех вместе на один лад. С индивидуальностью не справлялись и ничего особенного от нас не ожидали»[2]. Однако подобное воспитание «на один лад» дало неожиданные результаты. В семье выросли две известные писательницы — поэтесса Мирра Лохвицкая, которую называли «русской Сафо», и Тэффи. Старший брат — Николай — стал генералом, во время первой мировой войны командовал русским экспедиционным корпусом во Франции.

С юных лет Надежда увлекается литературой. Среди ее любимых книг — произведения А. С. Пушкина, «Детство» и «Отрочество», «Война и мир» Л. Н. Толстого. Девочкой она даже ходила к Льву

---

[1] Зощенко М. М. Н. Тэффи.— В кн.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома. 1972. Л., 1974. С. 140.

[2] Первые литературные шаги. Автобиографии русских писателей. Собр. Ф. Ф. Фидлер. СПб., 1911. С. 204.

Толстому в Хамовники — хотела попросить «не убивать» князя Болконского, но испугалась и не решилась заговорить с писателем. С интересом следили в семье за «новой» литературой. Художник-«мирискусник» Александр Бенуа, друживший с Надеждой, писал, что именно от сестер Лохвицких он впервые услышал о Дмитрии Мережковском. Нравилась Наде и поэзия Бальмонта.

Еще в гимназии сестры начинают писать стихи. Они мечтают стать знаменитыми писательницами, но на семейном совете принимается решение, что не следует выступать в печати одновременно, дабы не было зависти и конкуренции. Первое место предназначалось старшей из них — Марии, публиковавшейся под именем Мирры Лохвицкой. «Второй выступит Надежда, а потом уж я,— рассказывала в 1887 г. И. И. Ясинскому младшая сестра, тринадцатилетняя Елена.— И еще мы уговорились, чтобы не мешать Мирре, и только когда она станет знаменитой и, наконец, умрет, мы будем иметь право печатать свои произведения, а пока все-таки писать и сохранять, в крайнем случае ⟨...⟩ для потомства»[1]. И действительно, Надежда Лохвицкая начала систематически печататься лишь в 1904 г., немногим более чем за год до смерти Марии (в августе 1905 г.), притом подписываясь псевдонимом — Тэффи. Псевдоним был взят из сказки Р. Киплинга «Как было написано первое письмо», где так ласково звали маленькую дочку первобытного человека, чье полное имя: «Девочка-которую-нужно-хорошенько-отшлепать-за-то-что-она-такая-шалунья».

С детства любившая рисовать карикатуры и сочинять сатирические стихотворения, Тэффи начинает писать фельетоны. Очень популярный в начале века жанр привлекал публику злободневностью, четко выраженной авторской позицией, полемичностью, остроумием. Особенно выделялись газетные фельетоны, ибо в ежедневных изданиях, не подлежавших предварительной цензуре, легче было печатать резко критические произведения.

В 1904 г. Тэффи сотрудничает в столичных «Биржевых Ведомостях». «Газета эта бичевала преимущественно «отцов города, питавшихся от общественного пирога»,— вспоминала писательница, уже будучи в эмиграции.— Я помогала бичевать». В процессе работы над фельетонами совершенствовалось ее мастерство, развивалось умение находить оригинальную трактовку избитой темы, добиваться минимальными средствами максимальной выразительности. Малое количество персонажей, комизм «авторской» речи, «короткая строка» — все это и многое другое она с успехом использует позднее и в юмористических рассказах.

Уже в это время у Тэффи появились постоянные читатели. Среди тех, кто обратил внимание на ее сочинения, был сам Государь

[1] Ясинский И. И. Роман моей жизни. М.— Л., 1926. С. 259.

Император. Одобрение Николая II вызвал один из стихотворных фельетонов, направленный против планов петербургского городского головы Лелянова засыпать Екатерининский канал. Издатель «Биржевых Ведомостей» был «высочайшею пожалован улыбкой». Писательница получила прибавку к гонорару — лишние две копейки за строчку, а Николай II до конца своих дней остался поклонником ее таланта.

В годы первой революции — период легализации и расцвета политической сатиры — «революционный вихрь» захватил и Тэффи, в общем-то всегда далекую от политики. Наиболее известно ее стихотворение «Пчелки», написанное весной 1905 г. Сначала стихотворение читалось лишь в тесном дружеском кружке, но кто-то отослал список Ленину в Женеву, и под заглавием «Знамя свободы» оно было напечатано в газете «Вперед» (без указания автора). Стихотворение построено на классическом для русской литературы противопоставлении «пчелы — трутни». «Я» поэтессы заменяется местоимением «мы»; многократное его повторение (15 раз), синтаксический параллелизм создают эффект нагнетания: «мы» жалующихся превращается в «мы» угрожающих.

В ту ночь до рассвета мелькала иголка:
Сшивали мы полосы красного шелка
    Полотнищем длинным, прямым...
Мы сшили кровавое знамя свободы,
Мы будем хранить его долгие годы,
    Но мы не расстанемся с ним!

В том же 1905 г. писательница встречается с некоторыми известными большевиками. Среди «интересных знакомых» ее приятеля К. Платонова, сына сенатора, были А. Коллонтай, А. Богданов и другие. В мемуарах Тэффи рассказывает, что они часто приходили к ней домой и, обращая мало внимания на хозяйку, разговаривали между собой о каких-то съездах, резолюциях, кооптациях, ругали каких-то меньшевиков, постоянно цитировали Энгельса, повторяли слово «твердокаменный» и неизменно называли друг друга товарищами. Несмотря на настойчивые советы Н. Бердяева держаться от большевиков подальше, Тэффи все-таки выполняет просьбу М. Горького устроить так, чтобы корреспонденция из провинции для «его друзей» приходила на адрес «Биржевых Ведомостей».

17 октября 1905 г. был опубликован знаменитый Манифест, которым народу были дарованы свободы совести, слова, собраний и союзов. «17 октября — знаменательный день в истории русской печати. Изо всех мнимо-свобод, возвещенных этим днем русскому обществу, фактически была взята (ненадолго, и после какого длительного штурма!) свобода печати»[1],— писала Анастасия Чеботаревская. Для многих русских писателей в это время характерен поворот от

[1] Чеботаревская А. Русская сатира наших дней.— Образование, 1906, № 5, отд. II. С. 38.

лирики к революционной патетике, от бытовой сатиры к политической. В стране творилось что-то невообразимое. Создавалось впечатление, что все только и ждали Манифеста, чтобы развить бурную деятельность. Чуть ли не каждый день возникали новые политические партии и новые сатирические журналы. Тэффи вспоминает: «Иногда общественная левизна принимала прямо анекдотический характер: саратовский полицмейстер, вместе с революционером Топуридзе, женившимся на миллионерше, начал издавать легальную марксистскую газету. Согласитесь, что дальше идти было уже некуда».

Одним из таких удивительных явлений, возможных только сразу после Манифеста, была «Новая Жизнь», выходившая в Петербурге с 27 октября по 3 декабря. Социал-демократы, остро нуждавшиеся в легальном печатном органе, решили воспользоваться разрешением на выпуск газеты, выданным поэту-декаденту Н. М. Минскому, у которого не хватало средств на собственное издание. Деньги достал М. Горький. Таким образом, в редакции объединились В. И. Ленин, В. Воровский, М. Ольминский, А. Луначарский, М. Горький и — Л. Андреев, К. Бальмонт, И. Бунин, З. Венгерова, В. Вересаев, Л. Вилькина, О. Дымов, Е. Чириков. Редактором был Н. Минский, секретарем редакции — П. Румянцев. Предполагалось также участие Зинаиды Гиппиус.

Одним из ведущих сотрудников в литературном отделе стала Тэффи. В первом же номере был опубликован ее очерк «18 октября», описывающий петербургские настроения после объявления «свобод». На следующий день перепечатали стихотворение «Пчелки», теперь уже под авторским названием. В 5-м номере появилось стихотворение «Патроны и Патрон», а в 7-м — фельетон «Новые партии», в котором высмеивались бесчисленные партии, нарождавшиеся в России после 17 октября. Стихотворение же было направлено против бывшего петербургского генерал-губернатора Д. Ф. Трепова, только что снятого с поста за чересчур энергичное подавление «разрешенных» Манифестом выступлений. Солдаты называли Трепова «Патрон», и Тэффи обыгрывала печально знаменитый треповский приказ: «Холостых залпов не давать, патронов не жалеть», которым он практически свел на нет дарованные свободы:

Трепов! Не по доброй воле ли
С места вам пришлось слететь?
Сами вы учить изволили,
Чтоб патронов не жалеть![1]

Шутка о Патроне и патронах моментально распространилась по Петербургу, ее повторяли везде, и мало кто знал, что она могла

[1] Новая Жизнь, 1905, № 5 (1 ноября). С. 16.— См. в кн.: Поэты «Сатирикона». Вступительная статья, биографические справки, подготовка текста и примечания Л. А. Евстигнеевой. М.—Л., 1966. С. 321—322.

вообще не появиться из-за внутриредакционных неурядиц. Уже набранный текст задержал один из рабочих-большевиков, ибо сомневался, можно ли рифмовать «изволили» и «воле ли». Это, естественно, вызвало бурное неудовольствие Тэффи, так как согласно договору большевики должны были ведать только политической частью газеты, не вмешиваясь в литературные дела. Лишь благодаря усилиям П. Румянцева стихотворение все же напечатали на следующий день. Однако конфликт, частным проявлением которого был случай с Тэффи, обострялся. Работать вместе становилось все труднее и труднее. Вскоре Минский, спасаясь от судебного преследования, уехал за границу, а затем вынуждены были уйти из газеты и остальные беспартийные сотрудники.

В отличие от Минского, пытавшегося оправдать большевиков («перед собою и своими партийными интересами они были вполне правы» [1]), Тэффи отнеслась к расколу «Новой Жизни» однозначно. Обида была тем сильнее, что на писателей, сотрудничавших с социал-демократами, с первых же дней обрушился целый поток издевательств и насмешек.

Дама Тэффи станет прачкой,
Минский кузню заведет,
И Бальмонт из барок тачкой
Выгружать дрова начнет,—

писал бывший «искровец» П. И. Вейнберг (Гейне из Тамбова).

Печатается Тэффи в эти годы и в ряде других периодических изданий — «Ниве», «Новостях», «Театральной России». Ее первый рассказ в «Понедельнике» Не-Буквы (И. М. Василевского) высоко оценил А. И. Куприн. Персонажами «серьезных» сочинений писательницы становятся «маленькие люди», задавленные жизненными обстоятельствами, у которых осталось лишь одно право — собирать подаяние. «Я человек свободный! Захочу — завтра все брошу и пойду милостыню просить»,— восклицает героиня рассказа «Утконос».

Наиболее острые свои произведения Тэффи публикует в сатирических журналах — «Зарницах», «Сигнале», «Красном Смехе». Она пишет сатиры на конкретных лиц, что в дальнейшем для нее будет нехарактерно, работает в жанрах «сказочки» и «перепева», очень редких в ее творчестве, но популярных в годы первой революции. Наряду с обычными для тех лет обличениями «верхов» писательница сочиняет и довольно неожиданные миниатюры — «Дура» (Сигнал, 1905, № 2) и «Сказочку про белого бычка» (Сигналы, 1906, № 1). Объектом сатирического изображения в них становятся не высокопоставленные сановники, а масса, которую было принято идеализировать.

Новый этап творческого пути Тэффи связан с «Сатириконом» — журналом, создавшим, по словам поэта Петра Потемкина, «направление

---

[1] Минский Н. На общественные темы. СПб., 1909. С. 198.

в русской литературе и незабываемую в ее истории эпоху»[1]. «Сатирикон» возник в 1908 г. (первый номер вышел в начале апреля) из юмористического еженедельника «Стрекоза». Инициаторами реорганизации были художники А. Радаков и Н. Ремизов, издатель М. Корнфельд и писатель А. Аверченко. Работать в журнале должны были преимущественно молодые писатели и художники, представители той «новой волны» сатиры и юмористики, которая возникла в недолгий период «свободы печати», когда писали раскованно, без оглядки на цензуру. Уже в первом номере появился рассказ Тэффи «Из дневника заточенного генерала», и затем, во все годы существования издания, она оставалась его активной сотрудницей. Тэффи, несомненно, была среди тех писателей, которым «Сатирикон» обязан своей всероссийской славой.

Чем же журнал привлекал читателей? Его авторы практически отказались от обличения конкретных высокопоставленных лиц. Не было у них и «общеобязательной любви к младшему дворнику» (Саша Черный). Ведь глупость везде остается глупостью, пошлость — пошлостью, а потому на первый план выдвигается стремление показать человеку такие ситуации, когда он *сам* бывает смешон. На смену объективной сатире приходят лиро-сатира, самоирония, позволяющие раскрыть характер «изнутри». Особенно ярко это проявилось в поэзии, в стихотворениях Саши Черного, П. Потемкина, В. Горянского, акмеистов, где объектом сатирического или юмористического изображения является лирический герой. Значительно разнообразнее становится и техника комического рассказа: повествование — лаконичнее, а действие — более динамичным. Объединив приемы сценки и фельетона, сатириконцы одновременно используют и комизм диалогов, и комизм авторской речи. Их сочинения привлекали богатой фантазией, гиперболой, гротеском.

В отличие от других прозаиков «Сатирикона» (А. Аверченко, Вл. Азова, А. Бухова, О. Дымова, О. Д'Ора), Тэффи редко прибегает к резкому преувеличению, к явной карикатуре. Ее рассказы предельно достоверны. Писательница не стремится выдумать комическую ситуацию, она умеет найти смешное в обыденном, внешне серьезном. Если остальные сатириконцы, как правило, строят произведения на нарушении персонажем «нормы», то Тэффи старается показать комизм самой «нормы», с помощью незначительного заострения, малозаметной деформации подчеркивая нелепость общепринятого.

В 1908 г. начинается и развитие нового русского комического театра, наследовавшего традиции Козьмы Пруткова, водевилей и капустников. Одним из наиболее популярных стал петербургский театр «Кривое зеркало». В день его открытия, 6 декабря 1908 г., наряду с коллективной пародией-буфф «Дни нашей жизни» и миниатюрой

---

[1] Потемкин П. Об А. Аверченко.— Последние Новости, 1925, № 1500.

В. Азова «Автора», была представлена и комедия Тэффи — «Любовь в веках». «Из своеобразного ощущения исторической минуты родилось сильнейшее и острейшее чувство нелепости, возведенное в культ кривозеркальцами и сатириконцами» [1],— писал Осип Мандельштам.

Поворотным в жизни и творчестве Тэффи стал 1910 год. Выпустив в издательстве «Шиповник» отдельными книгами свои стихи и юмористические рассказы, она добилась признания не только читателей, но и критики.

Первым появился сборник, который назывался «Семь огней». В него вошли 39 стихотворений и небольшая пьеса «Полдень Дзохары — легенда Вавилона». Книга в целом была принята хорошо. Доброжелательно отозвался о ней А. Измайлов в «Биржевых Ведомостях». Рецензент «Ежемесячных литературных и популярно-научных приложений к «Ниве» писал: «Стихотворения настолько ярки, колоритны, так богаты истинным чувством, так мастерски отчеканены в смысле формы, что должны обратить на себя внимание всякого, кто интересуется поэзией» (1910, № 4). Единственный резкий отзыв принадлежал В. Брюсову: «У всех поэтов, от Гейне до Блока, от Леконта де Лиля до Бальмонта, позаимствованы г-жой Тэффи образы, эпитеты и приемы, и не без искусности слажены в строфы и новые стихотворения. «Семью огнями» называет г-жа Тэффи семь камней: сапфир, аметист, александрит, рубин, изумруд, алмаз, топаз. Увы, ожерелье г-жи Тэффи — из камней поддельных» (Русская Мысль, 1910, № 8). В оценке Брюсова много справедливого, но он не обратил внимания, что «поддельность» ожерелья нарочитая, заданная.

Лишь Н. Гумилев, который был хорошо знаком с писательницей и, очевидно, знал, какие задачи она ставила перед собой, отметил своеобразие рецензируемой книги: «В стихах Тэффи радует больше всего их литературность в лучшем смысле этого слова ⟨...⟩ Поэтесса говорит не о себе и не о том, что она любит, а о той, какая она могла бы быть, и о том, что она могла бы любить. Отсюда маска, которую она носит с торжественной грацией и, кажется, даже с чуть заметной улыбкой. Это очень успокаивает читателя, и он не боится попасть впросак вместе с автором» (Аполлон, 1910, № 7).

Поэзия для Тэффи — возможность на какое-то время отрешиться от повседневности, уйти от скуки современной жизни. Если в прозе она показывает уродство, то в поэзии — красоту. Но красота эта призрачна, нереальна, красота драгоценных камней, красота средневековых сказок и восточных преданий.

«Спросите у Тэффи, помнит ли она момент, когда она почувствовала общее ею восхищение, неизъяснимую атмосферу

---

[1] Мандельштам О. Гротеск.— В кн.: Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987. С. 188.

благодарности, преданности и доверия? — спрашивал в одной из статей А. И. Куприн и отвечал: — Ручаюсь, не помнит»[1]. Однако Тэффи, словно опровергая утверждение Куприна, писала П. Ковалевскому, что слава к ней пришла после издания в 1910 г. первой книги юмористических рассказов, «которые имели блестящий успех, так как на них отозвались сердца читателей от восьми до восьмидесяти лет»[2]. Уже в 1910 г. книга вышла тремя изданиями и регулярно переиздавалась вплоть до 1917 г.

Первый сборник юмористических рассказов разнообразен по содержанию. Здесь с политической сатирой соседствуют бытовые зарисовки; наряду с миниатюрами, в которых отчетливо чувствуется «стиль Тэффи» («Выслужился», «Проворство рук», «Покаянное» и др.), помещены безделушки, которые мог сочинить кто угодно («Свой человек», «Морские сигналы», «В стерео-фоно-кине-мато-скопо-био-фоно и проч.-графе»). Но, может быть, именно поэтому писательницу одинаково любили читатели любого возраста, образования и социального положения. В первую книгу вошли рассказы, написанные в ту пору, когда Тэффи вырабатывала свою индивидуальную манеру письма, отсюда и разный уровень произведений. «И все-таки книгу Тэффи можно принять целиком, не отбрасывая даже самого ничтожного,— подчеркивал один из рецензентов,— потому что в общем все ее рассказы — и сильные, и слабые — необходимо дополняют друг друга, и книга оставляет впечатление органической слитности» (Современный Мир, 1910, № 9).

С одинаковым успехом Тэффи фантазирует и пишет с натуры, разрабатывает старые, избитые темы (дачную, курортную, пасхальную) и открывает свои, новые. В первой книге уже появляются ее любимые персонажи; можно выделить и излюбленные приемы. Рассказы «Курорт», «Дача» построены по принципу фельетонного обозрения, состоят из мелких зарисовок, описаний типов и т. д. Руководство «К теории флирта» — из серии миниатюр, в которых Тэффи «делится женским опытом». В основе многих сюжетов лежит нежелание людей понять друг друга, неумение выслушать собеседника (например, в рассказе «Семейный аккорд»). А в рассказе «Проворство рук» комично то, что в людях неожиданно проснулось что-то человеческое. Страшно, что естественное, человеческое сострадание начинает вызывать смех. «Рази мы звери! Господь с тобой!» — герои Тэффи вспоминают, что они люди, но стесняются своего чувства, как минутной слабости. Мужики решают вздуть фокусника, но не за сорванное представление, а за собственные слезы: «Ведь подлец народ нонеча пошел. Он с тебя деньги сдерет, он у тебя и душу выворотит».

---

[1] Куприн А. И. Аверченко и «Сатирикон».— Сегодня, 1925, № 72 (29 марта). С. 10.

[2] Возрождение, тетр. 70, октябрь 1957. С. 31.

Лучшие произведения Тэффи отличает предельная жизненность. Писательница не акцентирует внимание только на одной стороне событий, в ее рассказах — все «на грани» комического и драматического, все как в жизни, где грустное нераздельно со смешным, трагедия сливается с фарсом: «Жизнь, как беллетристка, страшно безвкусна. Красивый, яркий роман она может вдруг скомкать, смять, оборвать на самом смешном и нелепом положении, а маленькому дурацкому водевилю припишет конец из Гамлета»[1]. О первых, детских литературных опытах Тэффи писала, что в них «преобладал элемент наблюдательности над фантазией»[2]. В зрелых произведениях писательница соединяет фантазию с наблюдательностью, типизирует конкретные случаи, стремясь к широкому художественному обобщению, и в то же время сохраняет правдоподобие, при помощи достоверных деталей создавая иллюзию реальности происходящего.

Активное использование жизненных наблюдений составляет одну из наиболее характерных черт писательской манеры Тэффи. Возьмем, к примеру, рассказ «Взамен политики» — для читателя, особенно современного, казалось бы,— одно из самых «выдуманных» произведений. Однако ситуация, описанная в нем, в значительной степени «срисована» с вечеров у Федора Сологуба, где игра эта (почему «до-сви-дания», а не «до-сви-швеция» и т. п.) была очень популярна.

В первой книге «Юмористических рассказов» еще довольно много «политики». Но Тэффи не интересуют крупные государственные деятели, герои ее произведений — рядовые люди, в чью жизнь вторгается политика — грозная сила, перемалывающая всех и вся. В рассказе «Модный адвокат» писательница показывает, как безобидный журналист Семен Рубашкин, привлеченный к судебной ответственности «за распространение волнующих слухов о роспуске первой Думы», стараниями защитника, взявшегося за дело «из принципа», превращается в опаснейшего политического преступника, чуть ли не члена Боевой организации эсеров. В результате публика встречает адвоката, произнесшего пламенную революционную речь,— овацией, а ничего не понимающий Рубашкин приговаривается судом к смертной казни.

До абсурда доводится комическая ситуация в миниатюре «Политика воспитывает», где описывается визит в столицу провинциального дяденьки. На вокзале он первым делом идет «обыскиваться» и обижается, что никто не хочет произвести досмотр: «Разленился народ». Дома дяденька, услышав звонок в дверь, тут же достает паспорт и велит всем руки поднимать. А затем, услышав на концерте декламацию стихотворения, показавшегося

---

[1] Тэффи Н. Дым без огня. Пг., 1914. С. 152.
[2] Первые литературные шаги. С. 204.

ему крамольным, в панике уезжает. На анекдоте построен и рассказ «Корсиканец», главные герои которого — шпик, мечтающий дослужиться до провокатора, и жандарм, переживающий за «качество» работы и «честь» заведения.

По-другому сделаны рассказы, персонажи которых — гимназисты — играют в политику, подражая родителям. Перенося взрослые разговоры в мир детей, Тэффи добивается пародийного эффекта. Комическая серьезность ребят, играющих в митинги и собрания, подчеркивает комизм псевдосерьезных взрослых. Показывает писательница и разрушительное действие на детские души безнравственных по сути политических отношений. Так, в рассказе «Политика и наука» гимназист тщетно пытается вызубрить названия множества партий, возникающих в стране, а его младший брат жалуется, что получил кол по закону божьему. В сценке, на первый взгляд лишь высмеивающей сложные аббревиатуры, удается обнажить противоестественность ситуации, когда политическая терминология учится с гораздо большим энтузиазмом, нежели христианские десять заповедей. Аналогичный прием использован в рассказе «Переоценка ценностей». Собрание первоклассников в какой-то степени пародирует митинг. Никто не слушает остальных, все кричат и даже потихоньку воруют, ведут «пратакол засидания» и, наконец, выдвигают «протест против запрещения класть на стол свои оконечности» и требуют «переменить мораль, чтоб ее совсем не было».

Сборник, довольно разнородный и по характеру комического, и по качеству исполнения, тем не менее сразу вывел Тэффи в ряды самых читаемых русских писателей. Значительной была и поддержка критики. Причем особенно важно, что рецензенты назвали лучшими рассказы, в которых проявилась в наибольшей степени индивидуальность писательницы. «Автору гораздо больше удается изображение простой обыденщины и мелочей семейного быта,— говорилось в «Ежемесячных приложениях к «Ниве».— Живость фантазии, тонкая наблюдательность и блестящий диалог — неотъемлемые черты творчества Тэффи, и в этой милой книжке они сказались во всей своей силе» (1910, № 9).

Столь же благожелательными были и другие отзывы в печати. Вл. Кранихфельд в «Современном Мире» писал: «Правильный и изящный язык, выпуклый и отчетливый рисунок, умение несколькими словами характеризовать и внутренний мир человека, и внешнюю ситуацию выгодно выделяют юмористические рассказы Тэффи из ряда книг, перегружающих наш книжный рынок» (1910, № 9). А. Измайлов в «Биржевых Ведомостях» отмечал в ее миниатюрах «комизм характеров, юмористику подлинных жизненных мелочей» (1910, 12 июля). М. Кузмин в «Аполлоне», высоко оценив рецензируемую книгу, заявил: «Мы не знаем, будет ли автор пробовать свои силы в других родах прозы, но и практикуя этот, он

может дать приятный вклад в подобную литературу, имея наблюдательность, веселость и литературный язык» (1910, № 10).

Убедившись в правильности *своего пути* в литературе, писательница выпускает новый сборник, где о любом из рассказов сразу можно сказать — это рассказ Тэффи. «Человекообразные» — так называется предисловие, открывающее книгу. Эта миниатюра стала «манифестом» Тэффи, предопределила тематику и проблематику ее творчества на долгие годы. Предисловие писала юмористка, но оно внутренне серьезно. Серьезно настолько, что цензура никак не отреагировала на цитаты из Библии, вставленные автором в текст «юмористического» произведения.

В рассказах действуют вроде бы обыкновенные люди, да и ситуации, в которые они попадают, ничем не удивительны. Но все же постоянно чувствуется, что чем-то герои Тэффи отличаются, что-то в них «не так». Они совсем «как люди», и, чтобы стать людьми, им не хватает лишь одного, но самого главного — «искры Божьей». Об этом и говорится в предисловии ко второй книге. Человека создал Бог; человекообразные появились из «кольчатых червей», «девятиглазых с дрожащими чуткими усиками», в результате эволюции. Тэффи остроумно переосмысливает две «версии» происхождения людей, превращая предисловие в «теоретическое обоснование» книги. И, знакомясь затем с рассказами, читатель неожиданно убеждается, что лица, его окружающие,— это лица человекообразных; разговоры, которые он слышит ежедневно,— настолько привычные, что можно предсказать каждую следующую реплику,— разговоры человекообразных.

Как же отличить людей от приспособившихся «кольчатых червей»? И чего никогда не сможет добиться человекообразное? Оно не может творить, не знает любви, «не понимает смеха». Мало того: «Оно ненавидит смех, как печать Бога на лице души человеческой». А самое опасное состоит в том, что человекообразные перешли в наступление на людей и опутали их жизнь своими щупальцами: «Они притворяются теперь великолепно, усвоили себе все ухватки настоящего человека. Они лезут в политику, стараются пострадать за идею, выдумывают новые слова и дико сочетают старые, плачут перед Сикстинской мадонной и даже притворяются развратниками ⟨...⟩ Они крепнут все более и более и скоро задавят людей, завладеют землею».

Для кого же пишет рассказы Тэффи, неужели тоже для человекообразных? Нет, ведь они не умеют смеяться, а Тэффи пишет *юмористические* рассказы. Пишет для людей. И, прочитав книгу, узнав себя и посмеявшись над собой, человек должен очиститься от скверны, восстать против засилия «усовершенствовавшихся гадов».

Человек умеет любить, и поэтому в рассказах Тэффи чувствует-

ся «нежность положительная»[1] ко многим из героев; кроме смеха рассказы должны пробудить еще и любовь в читательских сердцах. «Надо мною посмеиваются, что я в каждом человеке непременно должна найти какую-то скрытую нежность,— признавалась Тэффи.— В каждой душе, даже самой озлобленной и темной, где-то глубоко на самом дне чувствуется мне присушенная, пригашенная искорка. И хочется подышать на нее, раздуть в уголек и показать людям — не все здесь тлен и пепел».

Уделяя преимущественное внимание комической стороне, писательница хочет не только рассмешить, но и показать всю несуразицу и пустоту того, что ее персонажи считают жизнью, обнажить вопиющее несоответствие между высшим предназначением человека и бессмысленностью его существования. Иногда создается впечатление, что Тэффи, вместо того чтобы фантазировать, напротив, лишает жизнь свойственной ей фантазии, выдумки, неожиданности. И в результате достоверное, подчеркнуто правдивое описание кажется карикатурой. А ведь ее рассказы — не карикатура, а реальность. Реальность, с которой незаметно снят налет привычности и благопристойности. Герои Тэффи постоянно притворяются — перед самими собой, друг перед другом, перед читателем, но делают это неумело, тем самым только обращая внимание на недостатки, которые пытаются скрыть. Герои других сатириконцев («устрицы» А. Аверченко, «двуногие без перьев» В. Князева, «серенькие люди» О. Д'Ора), как правило, хотят, чтобы их считали яркими личностями, и такое вопиющее, бросающееся в глаза противоречие вызывает бурный смех. Персонажи Тэффи стремятся выглядеть лишь чуть-чуть менее серыми. У них не хватает ни фантазии, ни оригинальности даже на то, чтобы попытаться предстать яркими людьми. Да и желания как-либо выделиться у них нет; они хотят быть такими, как все, и притворяются, поскольку все стараются казаться немного значительнее. Это несоответствие надо еще заметить, и оно вызывает горькую улыбку.

Второй сборник «Юмористических рассказов» упрочил славу Тэффи, ее произведения приобрели неповторимую «индивидуальную» окраску, она выработала свой стиль, не похожий ни на кого другого. «Новая, только что вышедшая в свет книга рассказов талантливой беллетристки и поэтессы Н. А. Тэффи подтверждает за писательницей отведенное ей критикой почетное место в первых рядах наших современных писателей,— утверждал рецензент «Ежемесячных приложений к «Ниве».— Избрав трудное и мало использованное в русской литературе амплуа юмориста, Н. А. Тэффи совершенно обособилась от общего типа нынешних юмористов, выдумывающих смешные положения, лишь бы получить то комическое,

---

[1] Зощенко М. М. Н. Тэффи.— В кн.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома. 1972. Л., 1974. С. 140.

что скрыто в жизни и таится от непосвященного глаза в каждой линии жизни, в каждом столкновении людей — «Человекообразных» (1911, № 4).

В 1911 г. выходит «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом». Неожиданно проявившийся интерес авторов книги — Н. Тэффи, О. Дымова, А. Аверченко, О. Д'Ора — к прошлому вызывал удивление, ведь сатириконцы стремились всегда быть максимально современными. Тем более что, в отличие от своих великих предшественников — А. С. Пушкина («История села Горюхина»), М. Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»), А. К. Толстого («История государства Российского от Гостомысла до Тимашева»), они создают произведение не сатирическое, а юмористическое. Казалось бы, что можно найти смешного в государственных переворотах, в многочисленных войнах, эпидемиях и тому подобных событиях былых времен, сведения о которых дошли до нас? Однако стоило только пародистам взять в руки гимназическое пособие по истории и взглянуть на него «под углом зрения «Сатирикона» — и прошлое человечества обернулось удивительной чередой комических ситуаций.

Перу Тэффи принадлежит раздел «Древняя история», открывающий книгу. Если в персональных сборниках писательница предпочитает «мягкий» юмор, то в коллективном сочинении она с азартом включается в общую «клоунаду», создавая остроумную историю Древнего Мира. Ухитрившись почти не погрешить против фактов, Тэффи от души издевается над их хрестоматийными трактовками. Она иронически обыгрывает логические построения псевдонаучных трудов («Воспитание детей было очень суровое. Чаще всего их сразу убивали. Это делало их мужественными и стойкими»); гиперболизирует штампы («Древняя история есть такая история, которая произошла чрезвычайно давно»); пародирует морализаторские умозаключения и глубокомысленные сентенции авторов учебников («Так жили народы древности, переходя от дешевой простоты к дорогостоящей пышности, и, развиваясь, впадали в ничтожество»).

В 1912 г. Тэффи начинает работать в московском «Русском Слове», которое возглавлял «король фельетонистов» Влас Дорошевич, высоко ценивший талант писательницы. Затевая издание, И. Д. Сытин решил не жалеть средств, и ему удалось превратить свое детище в крупнейшую российскую газету с тиражом около миллиона экземпляров. Несмотря на то что Тэффи жила в Петербурге, ее фельетоны регулярно появлялись на страницах «Русского Слова».

Вскоре распадается вроде бы дружный коллектив «Сатирикона». После неудачных попыток ликвидировать возникшие с издателем разногласия «мирным путем» из журнала уходит большая

группа авторов во главе с редактором Аркадием Аверченко, в том числе и Тэффи. Объединившись в товарищество, они создают в середине 1913 года «Новый Сатирикон», сохранив практически прежний состав сотрудников. Тэффи остается одним из ведущих прозаиков журнала, выступая как и раньше с юмористическими рассказами.

У писательницы ежегодно выходят новые книги — «И стало так...» (1912), «Карусель» (1913), «Дым без огня» (1914), «Ничего подобного» (1915). Она выпускает отдельными изданиями пьесы — «Восемь миниатюр» (1913) и «Миниатюры и монологи. Том II» (1915), продолжает писать для совместных сборников сатириконцев, таких,как «Театральная энциклопедия «Сатирикона» (1913), «Осиновый кол на могилу зеленого змия» (1915), «Теплая компания (Те, с кем мы воюем)» (1915), «Физиология и анатомия человека» (1916). Ее произведения публикуются в «Аргусе», «Огоньке», «Отечестве», «Солнце России» и т. п.

В последние предреволюционные годы в творчестве Тэффи все чаще звучат трагические мотивы. Особенно это проявляется в ее стихах. Трудно поверить, что следующие строки принадлежат известной юмористке:

Тоска моя, тоска! О, будь благословенна
В болотной темноте уродливых темниц,
Осмеянная мной, ты грезишь вдохновенно
О крыльях пламенных солнцерожденных птиц [1].

В сборник «Неживой зверь» (1916) писательница включает только «серьезные» рассказы. «В этой книге много невеселого,— говорилось в предисловии.— Предупреждаю об этом, чтобы ищущие смеха, найдя здесь слезы — жемчуг моей души,— обернувшись, не растерзали меня». «Серьезные» рассказы, так же как и юмористические,— о неумении людей понять друг друга; но теперь непонимание заставляет героев страдать, приводит к трагической развязке, ведь речь идет уже не о пустяках, а о любви и вере, о жизни и смерти.

В мае 1917 г. Тэффи вместе с Л. Андреевым, Н. Гумилевым и другими входит во Временный Совет созданного с целью защиты культурных ценностей Союза деятелей художественной литературы. После Октябрьской революции и закрытия «Русского Слова» Тэффи продолжает сотрудничать в «Новом Сатириконе» вплоть до его запрещения в августе 1918 г., а затем вместе с Аверченко уезжает сначала в Киев, затем на юг, оттуда в Константинополь и, наконец, обосновывается в Париже.

В эмиграции Тэффи работает в газетах «Сегодня» (Рига), «Возрождение» (Париж), «Последние Новости» (Париж), «Новое Русское

[1] Поэты «Сатирикона». М.— Л., 1966. С. 327.

Слово» (Нью-Йорк), журналах «Жар-Птица» (Берлин — Париж), «Перезвоны» (Рига), «Иллюстрированная Россия» (Париж) и др. В 1923 г. в Берлине выходят две книги ее стихов; сборники прозаических произведений издаются в Шанхае, Стокгольме, Берлине, Париже, Праге, Белграде, Нью-Йорке. Писательница по праву считается одной из крупнейших фигур русского зарубежья. Продолжая много работать, она сумела сохранить популярность и любовь читателей. «Только Тэффи и я трудимся, а остальные перепечатывают старые вещицы»,— говорил в 1932 г. Буниным Владислав Ходасевич [1].

Тэффи находится в центре литературной и культурной жизни. Ее всегда доброжелательное отношение к людям, обаяние и остроумие, политическая и литературная «объективность» привлекали к ней самых разных людей. Среди бывавших у нее на Монпарнасе и затем на улице Буассьер — И. Бунин и Б. Зайцев, И. Фондаминский и Д. Аминадо, М. Цетлин и Г. Адамович, М. Алданов и З. Гиппиус, а также многие другие видные художники, писатели, актеры, философы, общественные деятели, с большинством из которых она была знакома еще в России. Тэффи участвует в съезде русских писателей в Белграде; после войны, в 1946 г., когда в Париже был воссоздан Союз писателей и журналистов, при выборах в правление она получила максимальное количество голосов. Тогда же предпринимались попытки уговорить ее переехать в Советский Союз, но, несмотря на огромную тоску по России, она, как и Бунин, Зайцев, Адамович, предпочла умереть в эмиграции. Скончалась Тэффи в Париже 6 октября 1952 г.

Писательница прожила долгую жизнь, перенесла все «катаклизмы» XX века; на ее глазах совершились три русские революции, она пережила две мировые войны. За более чем пятьдесят лет литературной работы она опубликовала огромное количество рассказов и фельетонов. А кроме того, ее перу принадлежат стихи, песни, либретто, пьесы, рецензии. Она выпустила свыше тридцати книг — прозу, поэзию, драматургию. «У Тэффи изумительно бродячий талант. И у пишущих он всегда должен вызывать ревнивое чувство зависти,— писал А. Бухов.— Если она пишет для смеха — выходит очень смешно. Если она дает бытовой клочок — становятся ненужными те длинные повести, где этот же быт требует три печатных листа вместо двухсот строк Тэффи. В лирике — Тэффи дает в сжатых строках такую массу неподчеркнутой теплоты, что стихи ее запоминаются в десять раз больше, чем битые сливки профессиональных умилителей и ярко начищенные до самоварного блеска строки тупых стихотворных мастеров» [2].

В Советском Союзе имя Тэффи долгое время замалчивалось, судьба ее книг складывалась очень сложно. Если в двадцатые годы

---

[1] Устами Буниных, т. 2. Франкфурт-на-Майне, 1981. С. 268.
[2] Бухов А. Тэффи.— Журнал Журналов, 1915, № 14. С. 17.

у нас еще печатали лучшие из дореволюционных рассказов и даже некоторые новые, созданные в эмиграции (правда, не забывая снабдить их идеологически выдержанными комментариями), то затем свыше трех десятилетий писательницу на родине не публикуют вообще. Лишь во время «оттепели» стихи и рассказы Тэффи начинают появляться на страницах газет и журналов, включаются в различные сборники и антологии. Два небольших сборника миниатюр выходят в Москве в 1967 и 1971 гг., но... ситуация быстро меняется, и о Тэффи вновь приходится «забыть». В результате до сих пор лишь малая часть ее богатейшего литературного наследия издана в СССР. Предлагаемая книга даст читателю возможность более полно познакомиться с ранним творчеством писательницы, которую по праву называли «изящнейшей жемчужиной русского культурного юмора»[1].

Дмитрий Николаев

---

[1] Амфитеатров А. Юмор после Чехова.— Сегодня, 1931, № 31 (31 января). С. 2.

Юмористические рассказы

Книга первая

...Ибо смех есть радость, а посему сам по себе — благо.

Спиноза. «Этика», часть IV. Положение XLV, схолия II.

ВЫСЛУЖИЛСЯ

У Лешки давно затекла правая нога, но он не смел переменить позу и жадно прислушивался. В коридорчике было совсем темно, и через узкую щель притворенной двери виднелся только ярко освещенный кусок стены над кухонной плитой. На стене колебался большой темный круг, увенчанный двумя рогами. Лешка догадался, что круг этот не что иное, как тень от головы его тетки с торчащими вверх концами платка.

Тетка пришла навестить Лешку, которого только неделю тому назад определила в «мальчики для комнатных услуг», и вела теперь серьезные переговоры с протежировавшей ей кухаркой. Переговоры носили характер неприятно-тревожный, тетка сильно волновалась, и рога на стене круто поднимались и опускались, словно какой-то невиданный зверь бодал своих невидимых противников.

Разговор велся полным голосом, но на патетических местах падал до шепота, громкого и свистящего.

Предполагалось, что Лешка моет в передней калоши. Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает, и Лешка с тряпкой в руках подслушивал за дверью.

— Я с самого начала поняла, что он растяпа,— пела сдобным голосом кухарка.— Сколько раз говорю ему: коли ты, парень, не дурак, держись на глазах. Хушь дела не делай, а на глазах держись. Потому — Дуняшка оттирает. А он и ухом не ведет. Давеча опять барыня кричала — в печке не помешал и с головешкой закрыл.

Рога на стене волнуются, и тетка стонет, как эолова арфа:

— Куда же я с ним денусь? Мавра Семеновна! Сапоги ему купила, не пито, не едено, пять рублей отдала. За куртку за переделку портной, не пито, не едено, шесть гривен содрал...

— Не иначе как домой отослать.

— Милая! Дорога-то, не пито, не едено, четыре рубля, милая!

Лешка, забыв всякие предосторожности, вздыхает за дверью. Ему домой не хочется. Отец обещал, что спустит с него семь шкур, а Лешка знает по опыту, как это неприятно.

— Так ведь выть-то еще рано,— снова поет кухарка.— Пока что никто его не гонит. Барыня только пригрозила... А жилец, Петр Дмитрич-то, очень заступается. Прямо горой за Лешку. Полно вам, говорит, Марья Васильевна, он, говорит, не дурак, Лешка-то. Он, говорит, форменный адеот, его и ругать нечего. Прямо-таки горой за Лешку.

— Ну, дай ему Бог...

— А уж у нас, что жилец скажет, то и свято. Потому человек он начитанный, платит аккуратно...

— А и Дуняшка хороша! — закрутила тетка рогами.— Не пойму я такого народа — на мальчишку ябеду пущать...

— Истинно! Истинно. Давеча говорю ей: «Иди двери отвори, Дуняша»,— ласково, как по-доброму. Так она мне как фыркнет в морду: «Я, грит, вам не швейцар, отворяйте сами!» А я ей тут все и выпела. Как двери отворять, так ты, говорю, не швейцар, а как с дворником на лестнице целоваться, так это ты все швейцар...

— Господи помилуй! С этих лет до всего дошпионивши. Девка молодая, жить бы да жить. Одного жалованья, не пито, не...

— Мне что? Я ей прямо сказала: как двери открывать, так это ты не швейцар. Она, вишь, не швейцар! А как от дворника подарки принимать, так это она швейцар. Да жильцову помаду...

Трррр...— затрещал электрический звонок.

— Лешка-а! Лешка-а! — закричала кухарка.— Ах ты, провались ты! Дуняшу услали, а он и ухом не ведет.

Лешка затаил дыхание, прижался к стене и тихо

стоял, пока, сердито гремя крахмальными юбками, не проплыла мимо него разгневанная кухарка.

«Нет, дудки,— думал Лешка,— в деревню не поеду. Я парень не дурак, я захочу, так живо выслужусь. Меня не затрешь, не таковский».

И, выждав возвращения кухарки, он решительными шагами направился в комнаты.

«Будь, грит, на глазах. А на каких я глазах буду, когда никого никогда дома нет».

Он прошел в переднюю. Эге! Пальто висит — жилец дома.

Он кинулся на кухню и, вырвав у оторопевшей кухарки кочергу, помчался снова в комнаты, быстро распахнул дверь в помещение жильца и пошел мешать в печке.

Жилец сидел не один. С ним была молоденькая дама, в жакете и под вуалью. Оба вздрогнули и выпрямились, когда вошел Лешка.

«Я парень не дурак,— думал Лешка, тыча кочергой в горящие дрова.— Я те глаза намозолю. Я те не дармоед — я все при деле, все при деле!..»

Дрова трещали, кочерга гремела, искры летели во все стороны. Жилец и дама напряженно молчали. Наконец Лешка направился к выходу, но у самой двери остановился и стал озабоченно рассматривать влажное пятно на полу, затем перевел глаза на гостьины ноги и, увидев на них калоши, укоризненно покачал головой.

— Вот,— сказал он с упреком,— наследили! А потом хозяйка меня ругать будет.

Гостья вспыхнула и растерянно посмотрела на жильца.

— Ладно, ладно, иди уж,— смущенно успокаивал тот.

И Лешка ушел, но ненадолго. Он отыскал тряпку и вернулся вытирать пол.

Жильца с гостьей он застал молчаливо склоненными над столом и погруженными в созерцание скатерти.

«Ишь, уставились,— подумал Лешка,— должно быть, пятно заметили. Думают, я не понимаю! Нашли дурака! Я все понимаю. Я как лошадь работаю!»

И, подойдя к задумчивой парочке, он старательно вытер скатерть под самым носом у жильца.

— Ты чего? — испугался тот.

— Как чего? Мне без своего глазу никак нельзя. Дуняшка, косой черт, только ябеду знает, а за порядком глядеть она не швейцар... Дворника на лестнице...

— Пошел вон! Идиот!

Но молоденькая дама испуганно схватила жильца за руку и заговорила что-то шепотом.

— Поймет...— расслышал Лешка,— прислуга... сплетни...

У дамы выступили слезы смущения на глазах, и она дрожащим голосом сказала Лешке:

— Ничего, ничего, мальчик... Вы можете не затворять двери, когда пойдете...

Жилец презрительно усмехнулся и пожал плечами.

Лешка ушел, но, дойдя до передней, вспомнил, что дама просила не запирать двери, и, вернувшись, открыл ее.

Жилец, как пуля, отскочил от своей дамы.

«Чудак,— думал Лешка, уходя.— В комнате светло, а он пугается!»

Лешка прошел в переднюю, посмотрелся в зеркало, померил жильцову шапку. Потом прошел в темную столовую и поскреб ногтями дверцу буфета.

— Ишь, черт несоленый! Ты тут целый день, как лошадь, работай, а она знай только шкап запирает.

Решил идти снова помешать в печке. Дверь в комнату жильца оказалась опять закрытой. Лешка удивился, однако вошел.

Жилец сидел спокойно рядом с дамой, но галстук у него был набоку, и посмотрел он на Лешку таким взглядом, что тот только языком прищелкнул:

«Что смотришь-то! Сам знаю, что не дармоед, сложа руки не сижу».

Уголья размешаны, и Лешка уходит, пригрозив, что скоро вернется закрывать печку. Тихий полустон-полувздох был ему ответом.

Лешка пошел и затосковал: никакой работы больше не придумаешь. Заглянул в барынину спальню. Там было тихо-тихо. Лампадка теплилась перед образом. Пахло духами. Лешка влез на стул, долго рассматривал граненую розовую лампадку, истово перекрестился, затем окунул в нее палец и помаслил надо лбом волосы. Потом подошел к туалетному столу и перенюхал по очереди все флаконы.

— Э, да что тут! Сколько ни работай, коли не на глазах, ни во что не считают. Хоть лоб прошиби.

Он грустно побрел в переднюю. В полутемной гостиной что-то пискнуло под его ногами, затем колыхнулась снизу портьера, за ней другая...

«Кошка! — сообразил он.— Ишь-ишь, опять к жильцу в комнату, опять барыня взбесится, как намедни. Шалишь!..»

Радостный и оживленный вбежал он в заветную комнату.

— Я те, проклятая! Я те покажу шляться! Я те морду-то на хвост выверну!..

На жильце лица не было.

— Ты с ума сошел, идиот несчастный! — закричал он.— Кого ты ругаешь?

— Ей, подлой, только дай поблажку, так после и не выживешь,— старался Лешка.— Ею в комнаты пускать нельзя! От ей только скандал!..

Дама дрожащими руками поправляла съехавшую на затылок шляпку.

— Он какой-то сумасшедший, этот мальчик,— испуганно и смущенно шептала она.

— Брысь, проклятая! — и Лешка наконец, к всеобщему успокоению, выволок кошку из-под дивана.

— Господи,— взмолился жилец,— да уйдешь ли ты отсюда наконец?

— Ишь, проклятая, царапается! Ею нельзя в комнатах держать. Она вчерась в гостиной под портьерой...

И Лешка длинно и подробно, не утаивая ни одной мелочи, не жалея огня и красок, описал пораженным слушателям все непорядочное поведение ужасной кошки.

Рассказ его был выслушан молча. Дама нагнулась и все время искала что-то под столом, а жилец, как-то странно надавливая Лешкино плечо, вытеснил рассказчика из комнаты и притворил дверь.

— Я парень смышленый,— шептал Лешка, выпуская кошку на черную лестницу.— Смышленый и работяга. Пойду теперь печку закрывать.

На этот раз жилец не услышал Лешкиных шагов: он стоял перед дамой на коленях и, низко-низко склонив голову к ее ножкам, замер, не двигаясь. А дама закрыла глаза и все лицо съежила, будто на солнце смотрит...

«Что он там делает? — удивился Лешка.— Словно

пуговицу на ейном башмаке жует! Не... видно, обронил что-нибудь. Пойду поищу...»

Он подошел и так быстро нагнулся, что внезапно воспрянувший жилец пребольно стукнул ему лбом прямо в бровь.

Дама вскочила вся растерянная. Лешка полез под стул, обшарил под столом и встал, разводя руками.

— Ничего там нету.

— Что ты ищешь? Чего тебе, наконец, от нас нужно?—крикнул жилец неестественно тоненьким голосом и весь покраснел.

— Я думал, обронили что-нибудь... Опять еще пропадет, как брошка у той барыни, у черненькой, что к вам чай пить ходит... Третьего дня, как уходила, я, грит, Леша, брошку потеряла,— обратился он прямо к даме, которая вдруг стала слушать его очень внимательно, даже рот открыла, а глаза у нее стали совсем круглые.

— Ну, я пошел да за ширмой на столике и нашел. А вчерась опять брошку забыла, да не я убирал, а Дуняшка,— вот и брошке, стало быть, конец...

— Так это правда!—странным голосом вскрикнула вдруг дама и схватила жильца за рукав.— Так это правда! правда!

— Ей-Богу, правда,— успокаивал ее Лешка.— Дуняшка сперла, косой черт. Кабы не я, она бы все покрала. Я как лошадь все убираю... ей-Богу, как собака...

Но его не слушали. Дама скоро-скоро побежала в переднюю, жилец за ней, и оба скрылись за входной дверью.

Лешка пошел в кухню, где, укладываясь спать в старый сундук без верха, с загадочным видом сказал кухарке:

— Завтра косому черту крышка.

— Ну-у!—радостно удивилась та.— Рази что говорили?

— Уж коли я говорю, стало, знаю.

На другой день Лешку выгнали.

ПРОВОРСТВО РУК

На дверях маленького деревянного балаганчика, в котором по воскресеньям танцевала и разыгрывала благотворительные спектакли местная молодежь, красовалась длинная красная афиша:

«Специально проездом, по желанию публики, сеанс грандиознейшего факира из черной и белой магии.

Поразительнейшие фокусы, как-то: сожигательство платка на глазах, добывание серебряного рубля из носа почтеннейшей публики и прочее вопреки природе».

Из бокового окошечка выглядывала печальная голова и продавала билеты.

Дождь шел с утра. Деревья сада вокруг балаганчика намокли, разбухли, обливались серым мелким дождиком покорно, не отряхиваясь.

У самого входа пузырилась и булькала большая лужа. Билетов было продано только на три рубля.

Стало темнеть.

Печальная голова вздохнула, скрылась, и из дверей вылез маленький облезлый господин неопределенного возраста.

Придерживая двумя руками пальто у ворота, он задрал голову и оглядел небо со всех сторон.

— Ни одной дыры! Все серое! В Тимашеве прогар, в Щиграх прогар, в Дмитриеве прогар... В Обояни прогар, в Курске прогар... А где не прогар? Где, я спрашиваю, не прогар? Судье почетный билет послал, голове послал, господину исправнику... всем послал. Пойду лампы заправлять.

Он бросил взгляд на афишу и оторваться не мог.

— Чего им еще надо? Нарыв в голове или что?

К восьми часам стали собираться.

На почетные места или никто не приходил, или посылали прислугу. На стоячие места пришли какие-то пьяные и стали сразу грозить, что потребуют деньги обратно.

К половине десятого выяснилось, что больше никто не придет. А те, которые сидели, все так громко и определенно ругались, что оттягивать дольше становилось опасным.

Фокусник напялил длинный сюртук, с каждой гастролью становившийся все шире, вздохнул, перекрестился, взял коробку с таинственными принадлежностями и вышел на сцену.

Несколько секунд он стоял молча и думал:

«Сбор четыре рубля, керосин шесть гривен,— это еще ничего, а помещение восемь рублей, так это уже чего! Головин сын на почетном месте — пусть себе. Но как я уеду и что буду кушать, это я вас спрашиваю.

И почему пусто? Я бы сам валил толпой на такую программу».

— Брраво! — заорал один из пьяных.

Фокусник очнулся. Зажег на столе свечку и сказал:

— Уважаемая публика! Позволю предпослать вам предисловием. То, что вы увидите здесь, не есть что-либо чудесное или колдовство, что противно нашей православной религии и даже запрещено полицией. Этого на свете даже совсем не бывает. Нет! Далеко не так! То, что вы увидите здесь, есть не что иное, как ловкость и проворство рук. Даю вам честное слово, что никакого таинственного колдовства здесь не будет. Сейчас вы увидите необычайное появление крутого яйца в совершенно пустом платке.

Он порылся в коробке и вынул свернутый в комочек пестрый платок. Руки у него слегка тряслись.

— Извольте убедиться сами, что платок совершенно пуст. Вот я его вытряхаю.

Он вытряхнул платок и растянул руками.

«С утра одна булочка в копейку и чай без сахара,— думал он.— А завтра что?»

— Можете убедиться,— повторял он,— что никакого яйца здесь нет.

Публика зашевелилась, зашепталась. Кто-то фыркнул. И вдруг один из пьяных загудел:

— Вре-ешь! Вот яйцо.

— Где? Что? — растерялся фокусник.

— А к платку на веревочке привязал.

— С той стороны,— закричали голоса.— На свечке просвечивает.

Смущенный фокусник перевернул платок. Действительно, на шнурке висело яйцо.

— Эх ты! — заговорил кто-то уже дружелюбно. — Тебе за свечку зайти, вот и незаметно бы было. А ты вперед залез! Так, братец, нельзя.

Фокусник был бледен и криво улыбался.

— Это действительно,— говорил он.— Я, впрочем, предупреждал, что это не колдовство, а исключительно проворство рук. Извините, господа...— голос у него задрожал и пресекся.

— Ладно! Ладно!

— Нечего тут!

— Валяй дальше!

— Теперь приступим к следующему поразительному явлению, которое покажется вам еще удивительнее.

Пусть кто-нибудь из почтеннейшей публики одолжит свой носовой платок.

Публика стеснялась.

Многие уже вынули было, но, посмотрев внимательно, поспешили запрятать в карман.

Тогда фокусник подошел к головиному сыну и протянул свою дрожащую руку.

— Я мог бы, конечно, и свой платок, так как это совершенно безопасно, но вы можете подумать, что я что-нибудь подменил.

Головин сын дал свой платок, и фокусник развернул его, встряхнул и растянул.

— Прошу убедиться! Совершенно целый платок.

Головин сын гордо смотрел на публику.

— Теперь глядите. Этот платок стал волшебным. Вот я свертываю его трубочкой, вот подношу к свечке и зажигаю. Горит. Отгорел весь угол. Видите?

Публика вытягивала шею.

— Верно! — кричал пьяный.— Паленым пахнет.

— А теперь я сосчитаю до трех и — платок будет опять цельным.

— Раз! Два! Три!! Извольте посмотреть!

Он гордо и ловко расправил платок.

— А-ах!

— А-ах! — ахнула и публика.

Посреди платка зияла огромная паленая дыра.

— Однако! — сказал головин сын и засопел носом.

Фокусник прижал платок к груди и вдруг заплакал.

— Господа! Почтеннейшая пу... Сбору никакого!.. Дождь с утра... не ел... не ел — на булку копейка!

— Да ведь мы ничего! Бог с тобой! — кричала публика.

— Рази мы звери! Господь с тобой.

Но фокусник всхлипывал и вытирал нос волшебным платком.

— Четыре рубля сбору... помещенье — восемь рублей... во-о-о-осемь... во-о-о-о...

Какая-то баба всхлипнула.

— Да полно тебе! О, Господи! Душу выворотил! — кричали кругом.

В дверь просунулась голова в клеенчатом капюшоне.

— Эт-то что? Расходитесь по домам!

Все и без того встали. Вышли. Захлюпали по лужам, молчали, вздыхали.

— А что я вам скажу, братцы,— вдруг ясно и звонко сказал один из пьяных.

Все даже приостановились.

— А что я вам скажу! Ведь подлец народ нонеча пошел. Он с тебя деньги сдерет, он у тебя и душу выворотит. А?

— Вздуть! — ухнул кто-то во мгле.

— Именно что вздуть. Айда! Кто с нами? Раз, два... Ну, марш! Безо всякой совести народ... Я тоже деньги платил некрадены... Ну, мы ж те покажем! Жжива.

ПОКАЯННОЕ

Старуха нянька, живущая на покое в генеральской семье, пришла от исповеди.

Посидела минуточку у себя в уголку и обиделась: господа обедали, пахло чем-то вкусным, слышался быстрый топот горничной, подававшей на стол.

— Тьфу! Страстная не страстная, им все равно. Лишь бы утробу свою напитать. Нехотя согрешишь, прости Господи!

Вылезла, пожевала, подумала и пошла в проходную комнату. Села на сундучок.

Прошла мимо горничная, удивилась.

— И штой-то вы, няничка, тут сидите? Ровно кукла! Ей-Богу — ровно кукла!

— Думай, что говоришь-то! — огрызнулась нянька.— Эдакие дни, а она божится. Разве показано божиться в эдакие дни. Человек у исповеди был, а, на вас глядючи, до причастия испоганиться успеешь.

Горничная испугалась.

— Виновата, няничка! Поздравляю вас, исповедамшись.

— «Поздравляю!» Нынче разве поздравляют! Нынче норовят, как бы человека изобидеть да упрекнуть. Давеча наливка ихняя пролилась. Кто ее знает, чего она пролилась. Тоже умней Бога не будешь. А маленькая барышня и говорит: «Это, верно, няня пролила!» С эдаких лет и такие слова.

— Удивительно даже, няничка! Такие маленькие и так уже все знают!

— Нонешние дети, матушка, хуже акушеров! Вот они какие, нонешние-то дети. Мне что! Я не осуждаю.

Я вон у исповеди была, я теперь до завтрашнего дня маковой росинки не глотну, не то что... А ты говоришь — проздравлять. Вон старая барыня на четвертой неделе говели; я Сонечке говорю: «Поздравь бабеньку». А она как фыркнет: «Вот еще! очень нужно!» А я говорю: «Бабеньку уважать надо! Бабенька помрет, может наследства лишить». Да кабы мне эдакую-то бабеньку, да я бы каждый день нашла бы с чем поздравить. С добрым утром, бабенька! Да с хорошей погодой! Да с наступающим праздником! Да с черствыми именинами! Да счастливо откушамши! Мне что! Я не осуждаю. Я завтра причащаться иду, я только к тому говорю, что нехорошо и довольно стыдно.

— Вам бы, нянечка, отдохнуть! — лебезила горничная.

— Вот ужо ноги протяну, належусь в гробу. Наотдыхаюсь. Будет вам время нарадоваться. Давно бы со свету сжили, да вот не даюсь я вам. Молодая кость на зубах хрустит, а старая поперек горла становится. Не слопаете.

— И что это вы, нянечка! И все вас только и смотрят, как бы уважить.

— Нет, уж ты мне про уважателей не говори. Это у вас уважатели, а меня и смолоду никто не уважал, так под старость мне срамиться уж поздно. Ты вон лучше кучера пойди спроси, куды он барыню намедни возил... Вот что спроси.

— Ой, и что вы, нянечка! — зашептала горничная и даже присела перед старухой на корточки.— Куды ж это он возил? Я ведь, ей-Богу, никому...

— А ты не божись. Божиться грех! За божбу, знаешь, как Бог накажет! А в такое место возил, где шевелющих мужчин показывают. Шевелятся и поют. Простынищу расстилают, а они по ней и шевелятся. Мне маленькая барышня рассказала. Самой, вишь, мало, так она и девчонку повезла. Сам бы узнал, взял бы хворостину хорошую да погнал бы вдоль по Захарьевской! Сказать вот только некому. Разве нынешний народ ябеду понимает. Нынче каждому только до себя и дело. Тьфу! Что ни вспомнишь, то и согрешишь! Господи прости!

— Барин человек занятой, конешно, им трудно до всего доглядеть,— скромно опустив глаза, пела горничная.— Они народ миловидный.

— Знаю я барина твоего! С детства знаю! Кабы не идти завтра к причастию, рассказала бы я тебе про

барина твоего! С детства такой! Люди к обедне идут — наш еще не продрыхался. Люди из церквы идут — наш чаи с кофеями пьет. И как его только, лежебоку, дармоедину, Матерь Святая до генерала дотянула — ума не приложу! Уж думается мне: украл он себе этот чин! Где ни на есть, а украл! Вот допытаться только некому! А я уж давно смекаю, что украл. Они думают: нянька старая дура, так при ней все можно! Дура-то, может, и дура. Да не всем же умным быть, надо кому-нибудь и глупым.

Горничная испуганно оглянулась на двери.

— Наше дело, нянички, служебное. Бог с им! Пущай! Не нам разбирать. Утром-то рано в церкву пойдете?

— Я, может, и совсем ложиться не буду. Хочу раньше всех в церкву придти. Чтоб всякая дрянь вперед людей не лезла. Всяк сверчок знай свой шесток.

— Это кто же лезет-то?

— Да старушонка тут одна. Ледащая, в чем душа держится. Раньше всех, прости Господи, мерзавка в церкву придет, а позже всех уйдет. Кажинный раз всех перестоит. И хоша бы присела на минуточку! Уж мы все старухи удивляемся. Как ни крепись, а, пока часы читают, немножко присядешь. А уж эта ехида не иначе как нарочно. Статочное ли дело эстолько выстоять! Одна старуха чуть ей платок свечкой не припалила. И жаль, что не припалила. Не пялься! Чего пялиться! Разве указано, чтобы пялиться. Вот приду завтра раньше всех да перестою ее, так небось форсу посбавит. Видеть ее не могу! Стою сегодня на коленках, а сама все на нее смотрю. Ехида ты, думаю, ехида! Чтоб тебе водяным пузырем лопнуть! Грех ведь это — а ничего не поделаешь.

— Ничего, нянички, вы теперь исповедамшись, все грехи батюшке попу отпустили. Теперь ваша душенька чиста и невинна.

— Да, черта с два! Отпустила! Грех это, а должна сказать: плохо меня этот поп исповедовал. Вот когда в монастырь с тетушкой с княгинюшкой ездили, вот это можно сказать, что исповедовал. Уж он меня пытал-пытал, корил-корил, три епитимьи наложил! Все выспросил. Спрашивал, не думает ли княгиня луга в аренду сдавать. Ну, я покаялась, сказала, что не знаю. А энтот живо скоро. Чем грешна? Да вот, говорю, батюшка, какие у меня грехи. Самые старушьи. Кофий люблю да с прислугами ссорюсь. «А особых,—

говорит,— нет?» А каки таки особые? Человеку кажный свой грех особый. Вот что. А он вместо того, чтобы попытать да посрамить, взял да и отпуск прочел. Вот тебе и все! Небось деньги-то взял. Сдачи-то небось не дал, что у меня особых-то нет! Тьфу, прости Господи! Вспомнишь, так согрешишь! Спаси и помилуй. Ты чего тут расселась? Шла бы лучше да подумала: «Как это я так живу, и все не по-хорошему?» Девушка ты молодая! Вон воронье гнездо на голове завила! А подумала ли ты, какие дни стоят. В эдакие дни эдак себя допустить. И нигде от вас, бесстыдниц, проходу нет! Исповедамшись пришла, дай — думала — посижу тихонько. Завтра ведь причащаться идтить. Нет. И тут доспела. Пришла, натурчала всякой пакости, какая ни на есть хуже. Чертова мочалка, прости Господи. Ишь, пошла с каким форсом! Не долго, матушка! Все знаю! Дай срок, все барыне выпою!

— Пойтить отдохнуть. Прости Господи, еще кто привяжется!

СВОЙ ЧЕЛОВЕК

Федор Иваныч получил на службе замечание и возвращался домой сильно не в духе. Чтобы отвести душу, стал нанимать извозчика от Гостиного двора на Петроградскую сторону за пятнадцать копеек.

Извозчик ответил коротко, но сильно. Завязалась интересная беседа, вся из различных пожеланий. Вдруг кто-то дернул Федора Иваныча за рукав. Он обернулся.

Перед ним стоял незнакомый худощавый брюнет с мрачно-оживленным лицом, какое бывает у человека, только что потерявшего кошелек, и быстро, но монотонно говорил:

— А мы таки уже здесь! Разве я хотел сюда ехать? Ну, а что я могу, когда она меня затащила? За паршивые пятьсот рублей, чтобы человека водили как барана на веревке, так это, я вам скажу, надо иметь отчаяние в голосе!

Федор Иваныч сначала рассердился, потом удивился.

«Кто такой? Чего лезет?»

— Извините, милостивый государь,— сказал он,— я не имею чести...

Но незнакомец не дал договорить.

— Ну, я уже вперед знаю, что вы скажете! Так я вам прямо скажу, что у вас я не мог остановиться, потому что вы мне не оставили своего адреса. Ну, у кого спросить? У Самуильсона? Так Самуильсон скажет, что он вас в глаза не видал.

— Никакого Самуильсона я не знаю,— отвечал Федор Иванович.— И прошу вас...

— Ну, так как вы хотите, чтобы он сказал мне ваш адрес, когда вы даже и незнакомы. А Манкина купила ковер, так они уже себе воображают... Ну что такое ковер? Я вас спрашиваю!

— Будьте добры, милостивый государь,— удосужился вставить Федор Иваныч,— оставьте меня в покое!

Незнакомец посмотрел на него, вздохнул и заговорил по-прежнему быстро и монотонно:

— Ну, так я должен вам сказать, что я таки женился. Она такая рожа, на все Шавли! Говорили про нее, что глаз стеклянный, так это, нужно заметить, правда. Говорили, что имеет кривой бок, так это уж тоже правда. Еще говорили, что характер... Так это уж так верно! Вы скажете, когда же он успел жениться? Так я вам скажу, что уж давно. Дайте посчитать: сентябрь... октябрь... гм... ноябрь... да, ноябрь. Так я уже пять дней как женат. Два дня там страдал, да два дня в дороге... И кто виноват? Так вы удивитесь! Соловейчик!

Федор Иваныч действительно как будто удивился. Рассказчик торжествовал.

— Соловейчик! Абрамсон мне говорил: «Чего вы не покупаете себе аптеку? Так вы купите аптеку». Ну, кто не хочет иметь аптеку? Я вас спрашиваю. Покажите мне дурака! А Соловейчик говорит: «Идемте к мадам Целковник, у нее дочка, так уж это дочка! Имеет приданого три тысячи. Будете иметь деньги на аптеку». Я так обрадовался... ну, думаю себе, пусть уж там, если уже все было худо, так может и еще немножко быть! Поехал себе в Могилев, стрелял в большую аптеку... Что вы смотрите? Ну, не совсем стрелял, а только себе целил. Присмотрел. А мадам Целковник денег не дает и дочку прячет. Дала себе паршивые пятьсот рублей задатку. Я взял. Кто не возьмет задатку? Я вас спрашиваю! Покажите мне дурака. А Шелькин повел меня к Хасиным, у них за дочкой пять тысяч

настоящими деньгами. Хасины бал делают, гостей много... так интеллигентно танцуют. А Соловейчик выше всех скачет. Я себе думаю: возьму лучше пять тысяч и буду стрелять к Карфункелю в аптеку по самой площади. Ну, так Соловейчик говорит: «Деньги? У Хасиных деньги? Пусть у меня так не будет денег, как у них!» Вы скажете, зачем я поверил Соловейчику? Ой! Вы же должны знать, что у него две лавки и кредит; это не мы с вами. Вельможа!! Ну, прямо сказать, он таки женился на мадмазель Хасиной, а я на Целковник. Так она еще велела везти себя в Петроград на мой счет! Видели это? Ей-Богу, это такая рожа, что прямо забыть не могу! Ходил сейчас по Большому, хотел стрелять в аптеку. Ну, что там! Вот встретил вас, так уж приятно, что свой человек.

— Да позвольте же, наконец! — взревел Федор Иваныч.— Ведь мы же с вами не знакомы!

Жертва Соловейчика удивленно вскинула брови.

— Мы? Мы не знакомы? Ну, вы меня мертвецки удивляете! Позвольте! Позапрошлым летом ездили вы в Шавли? Ага! Ездили! Ходили с господином землемером лес смотреть? Ага! Так я вам скажу, что зашли вы к часовщику Магазинеру, а около двери один господин вам упредил, что Магазинер пошли кушать. Ну, так этот же господин был я, а! Ну?

В СТЕРЕО-ФОТО-КИНЕ-МАТО-СКОПО-БИО-ФОНО И ПРОЧ.-ГРАФЕ

— Пожалуйста, господин объяснитель, не перепутайте опять катушек, как в тот раз.

— Что такое в тот раз? Я вас не понимаю.

— А то, что на экране изображался Вильгельм и спуск броненосца, а вы валяли из естественной истории о какой-то там бабочкиной пыльце. Могут выйти крупные неприятности, не говоря уже о том, что платить даром деньги я не желаю. Вы — прекрасный оратор, я не спорю, и великолепно знаете свое дело, но нужно иногда поглядывать и на экран.

— Я не могу становиться спиной к публике. Это болван машинист путает,— ему и говорите.

— Можете скосить глаза, чтоб было видно. Словом, будьте осмотрительнее. Пора начинать.

Ддзз...— зашипел фонарь. Объяснитель откашлялся

и, став спиной к экрану, подставил прямо к свету свое вдохновенное лицо.

— Милостивые государи и милостивые государыни! — начал он. — Перед вами почтеннейшая река северной Америки, так называемая Амазонка, за пристрастие тамошних прекрасных дам к верховой езде. Амазонка катит свои величественные волны день и ночь, образуя водопады, истоки и притоки, под плеск которых совершаются различные события. Кусты, деревья, песок и прочие разнообразности природы окаймляют ее живописные берега.

Теперь один миг... И вот мы присутствуем при мрачных развалинах Колизея. Ужас охватывает члены и приковывает внимание. Здесь могущественный тиран демонстрировал свое жестокосердие. (Гм... меняй, что ли, не век же!..) Ну-с, теперь, как по мановению волшебного жезла, мы переносимся в дивную Грецию и останавливаемся перед статуей святой Киприды, поражающей уже много веков грацией осанки. (Ну?) А вот и почтеннейший город Венеция, превышающий своими красотами игру самого опытного соображения.

Дззз...

Вот раскопки Помпеи. Труп собаки и двое влюбленных, поза которых доказывает изумленным зрителям, что наши предки умели так же любить, как и наши потомки.

Дззз... (А? Отстаньте! Сам знаю.)

Теперь сделаем временное отступление в область естественной истории. Перед вами картина, которую можно наблюдать при помощи чудо-микроскопа, гордости двадцатого века. Он показывает мельчайшие, невидимые глазу анатомы, блоху величиною со слона и инфузорию в куске сыра. Много есть необъяснимого в природе, и люди, сами того не подозревая, носят целые миры под ногтем любого из своих пальцев.

Теперь взглянем на Везувий: что может быть величественнее этой извергающейся картины приро... (Что? А мне какое дело! Сам виноват. Не я катушки путал. Ставь следующую! О, черт!) Перед вами, милостивые государи, редкий экземпляр живородящей рыбы. Природа в своем щедром разнообра... (Зачем же Везувий, когда я начал про рыбу? Уж держи что-нибудь одно. Поправился! Я тебе поправлюсь!) Дым валит из грандиозного жерла в виде воронки и живописно вырисо-

вывается на лазурной синеве южного неба. Еще одно мановение волшебного жезла (долго будешь копаться?)... и вот мы на берегу Неаполя, дивнейшего города в мире. Тысячу раз права пословица (не перебивай!), говорящая: «Кто не пил воды из Неаполя, тот не пил ничего». (Что? ископаемое? Кто ж тебе велел! Меняй катушку, чтоб тебя!..) Прекрасны также окрестности этого уважаемого города. Вот перед нами Пигмалион, ожививший при помощи своего вдохновения (как свинья? Зачем свинья? Вечно лезете не в ту коробку! Отложите в сторону!) гм... дивную мраморную скульптуру, которую он собственноручно высек (опять! Да я же вам сказал, отложите в сторону! Вы думаете, что если покажете свинью хвостом вперед, то это уже будет Пигмалион) из тончайшего мрамора. Есть много чудес природы, но чудеса искусства от этого не делаются хуже.

Дззз...

И вот второй образец дивного творчества неизвестных рук — досточтимая всеми Венера Милосская. Причислившая свою красоту к лику богов, она, тем не менее, обнаруживает стыдливость (так я же говорил... Зачем поправлять! Нужно прямо снять и отложить в сторону. Нельзя же свинью, когда я говорю о другой катушке!), что показывает скромность, присущую древним грекам даже на самых высоких ступенях общественной лестни... (а вы таки свое! Это прямо какой-то крест на моей жизни!) лестницы. А вот еще одно мгновение... от этой группы неизвестного резца мы перекидываемся в необъятную степь нашего великого и грозного оте... (если вы хотите показывать свою свинью двенадцать раз подряд, то лучше сделать антракт, потому что публика может потребовать деньги обратно. Каждый заплатил и имеет право потребовать. Я вам говорю, лучше погасите лампу. Что? Господин директор разберет — кто!). А теперь, милостивые государи и милостивые государыни, сделаем перерыв на десять минут, после которого снова пустимся в наши далекие странствования по белу свету, которые так развивают умственные способности и душевные свойства нашей натуры, несмотря на то, что мы свершаем их, сидя на комфортабельных стульях. (Болван! Вы, вы болван!) Итак, до свидания на острове Целебесе среди местных нравов и поражающей обстановки.

КУРОРТ

Сезон умирает.

Разъезжаются дачники, закрываются ванны и купальни.

В кургаузе разговоры о железной дороге, о пароходах, о скором отъезде.

Дамы ходят по магазинам, покупают сувениры: деревянные раскрашенные вазочки, финские ножи и передники.

— Сколько стоит «митя макса»? — спрашивает дама у курносого, с белыми глазами, лавочника.

— Кольме марка,— отвечает тот.

— Кольме... гм... кольме это сколько? — спрашивает дама у спутницы.

— Три... кажется, три.

— А на наши деньги сколько?

— Три помножить на тридцать семь... гм... трижды три — девять, да трижды семь... не множится...

— Утомительная жизнь в Финляндии,— жалуется первая.— Целые дни только ходишь да переводишь с марки на рубль, да с метра на аршин, да с километра на версту, да с килограмма на пуд. Голова кругом идет. Все лето мучилась, а спроси, так и теперь не знаю, сколько в килограмме аршин, то бишь марок.

* * *

Тяжелее всех чувствует увядание жизни молодой помощник аптекаря.

Каждый четверг танцевал он в курзале бешеные венгерки с молодыми ревматичками, бравшими грязевые ванны.

Каждое утро бегал он на пристань и покупал себе свежий цветок в петличку.

Цветы привозили окрестные рыбаки прямо на лодках, вместе с рыбой, и эти дары природы во время пути любезно обменивались ароматами. Поэтому в ресторане кургауза часто подавалась щука, отдающая левкоем, а розовая гвоздика на груди аптекаря благоухала салакой.

О, незабвенные танцевальные вечера под звуки городского оркестра: скрипка, труба и барабан!

Вдоль стен на скамейках и стульях сидят маменьки, тетеньки, уже потерявшие смелость показывать пуб-

лично свою грацию, и младшие сестрицы, еще не отваживающиеся.

На стене висит расписание танцев.

Вот загудела труба, взвизгнула скрипка, стукнул барабан.

— Это, кажется, полька?—догадывается одна из сидящих маменек.

— Ах нет, мамочка, кадриль! Новая кадриль,—говорит сестричка.

— Не болтай ногами и не дергай носом,—вмешивается тетенька.—Это не кадриль, а мазурка.

Распорядитель, длинноногий студент, швед, на минутку задумывается, но, бросив быстрый взгляд на расписание, смело кричит:

— Valsons!

И вот молодой помощник аптекаря, томно склонившись, охватывает плотный стан дамы, лечащейся от ревматизма в руке, и начинает плавно вращать ее вокруг комнаты. Алая гвоздика между их носами пахнет окунем.

— Pas d'espagne!—красный и мокрый, кричит распорядитель, и голова его от натуги трясется.

Выскакивает гимназист, маленький, толстый, в пузырящейся парусиновой блузе. Перед ним, держа его за руку, топает ногами пожилая гувернантка одного из докторов. Гимназист чувствует себя истым испанцем, щелкает языком, а гувернантка мрачно наступает на него, как бык на тореадора.

Маленький кадет, обдернув блузу, неожиданно расшаркнулся перед одной из теток. Та приняла это за приглашение и пустилась плясать. К ужасу маленького кадета, тетка проявила чисто испанскую страсть и неутомимость в танцах. Она извивалась, пристукивала каблуками и посылала своему крошечному кавалеру вакхические улыбки.

Помощник аптекаря выделывал такие кренделя своими длинными ногами, что наблюдавший за танцами у дверей старый полковник даже обиделся.

— Поставить бы им солдат на постой, перестали бы безобразничать.

Распорядитель снова справляется с расписанием и призывает всех к венгерке.

Страсти разгораются. Пол, возраст, общественное положение—все стушевывается и тонет в гулком топоте ног, визгах и грохоте оркестра.

Вот женщипа-врач в гигиеническом капоте мечется с двенадцатилетним тонконогим крокетистом, вот две барышни — одна за кавалера, вот десятилетняя девочка с седообразным шведом; вот странная личность в бархатных туфлях и парусиновой паре лягается, обняв курсистку-медичку.

Ровно в час ночи оркестр замолкает мгновенно. Напрасно танцоры, болтая в воздухе ногами, поднятыми для «па де зефир», умоляют поиграть еще хоть пять минут. Музыканты мрачно свертывают ноты и сползают с хоров. Они молча проходят мимо публики, и многие вслух удивляются, как это три человека в состоянии были производить такой страшный шум.

* * *

На другое утро томный аптекарский ученик, загадочно улыбаясь, толчет в ступке мел с мятой.

Открывается дверь. Она. Дама, страдающая ревматизмом в руке.

— Bitte... Marienbad...— лепечет она, но глаза ее говорят: «Ты помнишь?»

— Искусственный или натуральный? — тихо спрашивает он, а глаза отвечают: «Я помню! Я помню!»

— Гигроскопической ваты на десять пенни,— вздыхает она («Ты видишь, как трудно уйти отсюда»).

Он достает вату, завертывает ее и потихоньку душит оппопонаксом.

В петличке у него увядшая вчерашняя гвоздика. Сегодня уже не привезли новых цветов.

Осень.

ВЗАМЕН ПОЛИТИКИ

Конст. Эрбергу

Сели обедать.

Глава семьи, отставной капитан, с обвисшими, словно мокрыми усами и круглыми, удивленными глазами, озирался по сторонам с таким видом, точно его только что вытащили из воды и он еще не может прийти в себя. Впрочем, это был его обычный вид, и никто из семьи не смущался этим.

Посмотрев с немым изумлением на жену, на дочь, на жильца, нанимавшего у них комнату с обедом и керосином, заткнул салфетку за воротник и спросил:

— А где же Петька?

— Бог их знает, где они валандаются,— отвечала жена.— В гимназию палкой не выгонишь, а домой калачом не заманишь. Балует где-нибудь с мальчишками.

Жилец усмехнулся и вставил слово:

— Верно, все политика. Разные там митинги. Куда взрослые, туда и они.

— Э нет, миленький мой,— выпучил глаза капитан.— С этим делом, слава Богу, покончено. Никаких разговоров, никакой трескотни. Кончено-с. Теперь нужно делом заниматься, а не языком трепать. Конечно, я теперь в отставке, но и я не сижу без дела. Вот придумаю какое-нибудь изобретение, возьму патент и продам, к стыду России, куда-нибудь за границу.

— А вы что же изволите изобретать?

— Да еще наверное не знаю. Что-нибудь да изобрету. Господи, мало ли еще вещей не изобретено! Ну, например, скажем, изобрету такую какую-нибудь машинку, чтобы каждое утро, в положенный час, аккуратно меня будила. Покрутил с вечера ручку, а уж она сама и разбудит. А?

— Папочка,— сказала дочь,— да ведь это просто будильник.

Капитан удивился и замолчал.

— Да, вы действительно правы,— тактично заметил жилец.— От политики у нас у всех в голове трезвон шел. Теперь чувствуешь, как мысль отдыхает.

В комнату влетел краснощекий третьеклассник гимназист, чмокнул на ходу щеку матери и громко закричал:

— Скажите: отчего гимн-азия, а не гимн-африка.

— Господи, помилуй! С ума сошел! Где тебя носит! Чего к обеду опаздываешь? Вон и суп холодный.

— Не хочу супу. Отчего не гимн-африка?

— Ну, давай тарелку: я тебе котлету положу.

— Отчего кот-лета, а не кошка-зима? — деловито спросил гимназист и подал тарелку.

— Его, верно, сегодня выпороли,— догадался отец.

— Отчего вы-пороли, а не мы-пороли? — запихивая в рот кусок хлеба, бормотал гимназист.

— Нет, видели вы дурака? — возмущался удивленный капитан.

— Отчего бело-курый, а не черно-петухатый? — спросил гимназист, протягивая тарелку за второй порцией.

— Что-о? Хоть бы отца с матерью постыдился?!..

— Петя, постой, Петя! — крикнула вдруг сестра. — Скажи, отчего говорят д-верь, а не говорят д-сомневайся? А?

Гимназист на минуту задумался и, вскинув на сестру глаза, ответил:

— А отчего пан-талоны, а не хам-купоны!

Жилец захихикал.

— Хам-купоны... А вы не находите, Иван Степаныч, что это занятно? Хам-купоны!..

Но капитан совсем растерялся.

— Сонечка! — жалобно сказал он жене. — Выгони этого... Петьку из-за стола! Прошу тебя, ради меня.

— Да что ты, сам не можешь, что ли? Петя, слышишь? Папочка тебе приказывает выйти из-за стола. Марш к себе, в комнату! Сладкого не получишь!

Гимназист надулся.

— Я ничего худого не делаю... у нас весь класс так говорит... Что ж, я один за всех отдувайся!..

— Нечего, нечего! Сказано — иди вон. Не умеешь себя вести за столом, так и сиди у себя!

Гимназист встал, обдернул курточку и, втянув голову в плечи, пошел к двери.

Встретив горничную с блюдом миндального киселя, всхлипнул и, глотая слезы, проговорил:

— Это подло — так относиться к родственникам... Я не виноват... Отчего вино-ват, а не пиво-ват?!..

Несколько минут все молчали. Затем дочь сказала:

— Я могу сказать, отчего я вино-вата, а не пиво-хлопок.

— Ах, да уж перестань хоть ты-то! — замахала на нее мать. — Слава Богу: не маленькая...

Капитан молчал, двигал бровями, удивлялся и что-то шептал.

— Ха-ха! Это замечательно, — ликовал жилец. — А я тоже придумал: отчего живу-зем, а не помер-зем. А? Это, понимаете, по-французски. Живузем. Значит «я вас люблю». Я немножко знаю языки, то есть сколько каждому светскому человеку полагается. Конечно, я не специалист-лингвист...

— Ха-ха-ха! — заливалась дочка. — А почему Дубровин, а не осина-одинакова?..

Мать вдруг задумалась. Лицо у нее стало напряженное и внимательное, словно она к чему-то прислушивалась.

— Постой, Сашенька! Постой минутку. Как это... Вот опять забыла...

Она смотрела на потолок и моргала глазами.

— Ах, да! Почему сатана... нет... почему дьявол... нет, не так!..

Капитан уставился на нее в ужасе.

— Чего ты лаешься?

— Постой! Постой! Не перебивай. Да! Почему говорят чертить, а не дьяволить?

— Ох, мама! Мама! Ха-ха-ха! А отчего «па-почка», а не...

— Пошла вон, Александра! Молчать! — крикнул капитан и выскочил из-за стола.

* * *

Жильцу долго не спалось. Он ворочался и все придумывал, что он завтра спросит. Барышня вечером прислала ему с горничной две записочки. Одну в девять часов: «Отчего обни-мать, а не обни-отец?» Другую — в одиннадцать: «Отчего руб-ашка, а не девяносто девять копеек-ашка?»

На обе он ответил в подходящем тоне и теперь мучился, придумывая, чем бы угостить барышню завтра.

— Отчего... отчего... — шептал он в полудремоте.

Вдруг кто-то тихо постучал в дверь.

Никто не ответил, но стук повторился.

Жилец встал, закутался в одеяло.

— Ай-ай! Что за шалости! — тихо смеялся он, отпирая двери, и вдруг отскочил назад.

Перед ним, еще вполне одетый, со свечой в руках стоял капитан. Удивленное лицо его было бледно, и непривычная напряженная мысль сдвинула круглые брови.

— Виноват, — сказал он. — Я не буду беспокоить... Я на минутку... Я придумал...

— Что? Что? Изобретение? Неужели?

— Я придумал: отчего чер-нила, а чер-какой-нибудь другой реки? Нет... у меня как-то иначе... лучше выходило... А впрочем, виноват... Я, может быть, обеспокоил... Так — не спалось, — заглянул на огонек...

Он криво усмехнулся, расшаркался и быстро удалился.

НОВЫЙ ЦИРКУЛЯР

Евель Хасин стоял на берегу и смотрел, как его сын тянет паром через узенькую, поросшую речонку.

На пароме стояла телега, понурая лошаденка и понурый мужичонка.

В душе Евеля шевельнулось сомнение.

— Чи взял ты з него деньги вперед?—крикнул он сыну.

Сын что-то отвечал. Евель не расслышал и хотел переспросить, но вдруг услышал по дороге торопливые шаги. Он обернулся. Прямо к нему бежала дочка, очевидно, с какой-то потрясающей новостью. Она плакала, махала руками, приседала, хваталась за голову.

— Ой, папаша! Едет! Ой, что же нам теперь делать!

— Кто едет?

— Ой, господин урядник!..

Евель всплеснул руками, взглянул вопросительно наверх, но, не найдя на небе никакого знака, укоризненно покачал головой и пустился бежать к дому.

— Гинда!—крикнул он в сенях.—Чи правда?

— Ой, правда,—отвечал из-за занавески рыдающий голос.

— В четверг наезжал, с четверга три дня прошло. Только три дня. Чи ж ты ему чего не доложила?

— Доложила, аж переложила,—рыдал голос Гинды.—Крупы положила, сала шматок урезала, курицу с хохлом...

— Может, бульбу забыла?

— И бульбу сыпала...

В хату вбежала девочка.

— Ой, папаша! Едет! Ой, близко!

— А может, он верхом приехал,—говорит Евель, и в голосе его дрожит надежда.

— Не! На дрендульке приехал. Коня к забору привязал, сам у хату идет.

В окно кто-то стукнул.

— Эй! Евель Хасин, паромщик!

Евель сделал любезное лицо и выбежал на улицу.

— И как мы себе удивились...—начал он.

Но урядник был озабочен и сразу приступил к делу.

— Ты—паромщик Евель Хасин?

— Ну, как же, господин урядник, вам должно быть известно...

— Что там известно? — огрызнулся урядник, точно ему почудились какие-то неприятные намеки.— Ничего нам не может быть известно пред лицом начальства. Так что вышел новый циркуляр. Еврей, значит, который имеет несимпатичное распространение в окружающей природе и опасно возбуждает жителей, того, значит, ф-фью! Облечен властью по шапке. Понял? Раз же я тебя считаю приятным и беспорядку в тебе не вижу — живи. Мне наплевать — живи.

— Господин урядник! Разве же я когда-нибудь...

— Молчи! Я теперь должен наблюдать. Два раза в неделю буду наезжать и справляться у окружающих жителей. Ежели кто что и так далее — у меня расправа коротка. Левое плечо вперед! Ма-арш! Понял?

— А как же не понять! Я, может, еще уже давно понял.

— Можешь идти, если нужно что похозяйничать. Я тут трубочку покурю. Мне ведь тоже некогда. Вас-то тут тридцать персон, да все в разных концах. А я один. Всех объехать дня не хватит.

Евель втянул голову в плечи, вздохнул и пошел в хату.

— Гинда! Неси что надо, положи в дрендульку. Они торопятся.

* * *

— Ой, Евель! Вставай скорей! Не слышишь ты звонков? Или у тебя сердце оглохло. Ну, я разбужу его. Знаешь, кого наш Хаим на пароме тянет? Господина станового! Станового тянет наш Хаим, везет беду на веревке прямо в наш дом.

Евель вскочил бледный, взъерошенный. Взглянул на потолок, подумал, покрутил головой.

— Это, Гинда, уже ты врешь.

— Пусть он так едет, как я вру! —зарыдала Гинда.

Тогда он вдруг понял, заметался, кинулся к окну.

— Двоська! Гони кабана в пуню. Гони скорей! Зачини двери!

— Ой, гони кабана! — спохватилась и Гинда.— Ой, Двоська, гони, двери зачини.

Было как раз время.

Толстый пристав вылезал из брички.

— Таки в бричке! — с тоской шептал Евель.— Таки не верхом!.. Гинда, поди в кладовку, вынеси гуся...

Гинда всхлипнула и полезла в карман за ключами. А Евель уже кланялся и говорил самым любезным голосом:

— Ваше превосходительство! И как мы себе удивились...

— Удивился? Чего же ты, жид, удивился? Тебе урядник новый циркуляр читал?

— Урядники-с, читали-с...

— К-каналья! Поспел...— Он минутку подумал.— Ну-с, так, значит, вполне от тебя зависит вести себя так, чтобы на месте сидеть. Ты вон паром арендуешь, доход имеешь, ты должен этим дорожить. Вон и огород у тебя... Крамолу станешь разводить — к черту полетишь. Ежели не будешь приятен властям и вообще народу... Капусту не садишь? Мне капуста нужна. Двадцать кочанов... Терентий, пойди выбери — вон у него огород. Он еще паршивых подсунет. Всем должен быть приятен и вполне безопасен. Понял? Если кто-либо заметит в тебе опасную наклонность, грозящую развращением нравов мирного населения и совращением в крамольную деятельность с нарушением государственных устоев и распространением... Это что за девчонка? Дочка? Пусть пойдет гороху нащиплет. Мне много нужно... и распространением неприятного впечатления вследствие каких бы то ни было физических, нравственных или иных свойств... Свиней держишь? Как нет? А это что? Это чьи следы? Твои, что ли? Вон и пунька за амбарчиком. Свинья?

— Ваше превосходительство! Пусть буду я так богат, как оно свинья! Ваше...

— Что ты врешь! Обалдел! С кем говоришь?! Кому врешь? Мерзавец! Ворон костей не соберет!.. Отворяй пуню. Я хочу у тебя свинью купить.

— Ваше высокое превосходительство! Я не врал. Видит Бог! Оно не свинья! Оно кабан...

— Б-болван! Скажи Терентию, пусть веревкой окрутит. Можно сзади привязать. И кабан-то какой тощий. Подлецы! Скотину держат, а пойло сами жрут. Ну ладно, не скули! Я ведь не сержусь... Деньги за мной.

* * *

Два дня Евеля трясла лихорадка.

На третий день вылез погреться на солнышке. Подошла Гинда. Стали говорить про кабана, вспоминать, какой он был.

— Он, может, пудов восемь весил...— вздыхал Евель.
— А может, и девять — и девять с половиной. Все может быть. Почему нет?
— Я бы его продал в городе за десять рублей, так у нас на каждый шабаш селедка бы была и деньги бы спрятаны были.
— А я бы его зарезала, тай посолила бы. Господину уряднику по шматочку надолго бы хватило. А теперь что я дам? Огурцов они не любят...
— А я бы продал, аренду заплатил. Жалко кабана. Хороший был. И резать жалко.
— Жалко! — согласилась Гинда.— Хороший.
Но Евель уже не слушал ее. Он весь насторожился, и волосы у него стали дыбом.
— Звонки...
— Звонки...— стонущим шепотом вторила Гинда.
— Это сам...
— Сам...
Евель на этот раз не поднимал глаз к небу. Чего там спрашивать, раз уже знаешь.
Тройка неслась прямо на них.
Не успели лошади остановиться, как в коляске что-то загудело, зарычало... Евель ринулся вперед.
— Кррамольники! Да я тебя в порошок изотру, мерррз... Циркуляр понимаешь?
— Ой, понимаю,— взвыл Евель.— Господин урядник объясняли, господин его превосходительство пристав объясняли... Понимаю! Ваше сиятельство! Хотел бы я так не понимать, как я понимаю!
— Молчать! Циркуляр разъяснили?
— Ой, как разъяснили! Все до последнего кабана разъяснили...
— Что-о? Ты что себе позволяешь? Да ты знаешь ли, что, если я захочу, так от тебя мокрого места не останется. Пойди разменяй мне двадцать рублей. Живо! Бумажка за мной.
— Ваше высокое сият...
Исправник рявкнул. Евель подогнул колени и, шатаясь, поплелся в хату.
Там уже сидела Гинда и распарывала подкладку у подола своего платья.
Евель сел рядом и ждал.
Из подкладки вылез комок грязных тряпок. Дрожащие пальцы развернули его, высыпали содержимое на колени.

— Только семнадцать рублей и восемьдесят семь копеек... Убьет!

— Еще капуста осталась... Может, они капусту кушают...

Евель поднял глаза к потолку и тихо заговорил.

— Боже праведный! Боже добрый и справедливый! Сделай так, чтобы они кушали капусту!..

МОДНЫЙ АДВОКАТ

В этот день народу в суде было мало. Интересного заседания не предполагалось.

На скамьях за загородкой томились и вздыхали три молодых парня в косоворотках. В местах для публики — несколько студентов и барышень, в углу два репортера.

На очереди было дело Семена Рубашкина. Обвинялся он, как было сказано в протоколе, «за распространение волнующих слухов о роспуске первой Думы» в газетной статье.

Обвиняемый был уже в зале и гулял перед публикой с женой и тремя приятелями. Все были оживлены, немножко возбуждены необычайностью обстановки, болтали и шутили.

— Хоть бы уж скорее начинали,— говорил Рубашкин,— голоден, как собака.

— А отсюда мы прямо в «Вену» завтракать,— мечтала жена.

— Га! га! га! Вот как запрячут его в тюрьму, вот вам и будет завтрак,— острили приятели.

— Уж лучше в Сибирь,— кокетничала жена,— на вечное поселение. Я тогда за другого замуж выйду.

Приятели дружно гоготали и хлопали Рубашкина по плечу.

В залу вошел плотный господин во фраке и, надменно кивнув обвиняемому, уселся за пюпитр и стал выбирать бумаги из своего портфеля.

— Это еще кто? — спросила жена.

— Да это мой адвокат.

— Адвокат? — удивились приятели.— Да ты с ума сошел! Для такого ерундового дела адвоката брать! Да это, батенька, курам на смех. Что он делать будет? Ему и говорить-то нечего! Суд прямо направит на прекращение.

— Да я, собственно говоря, и не собирался его приглашать. Он сам предложил свои услуги. И денег не берет. Мы, говорит, за такие дела из принципа беремся. Гонорар нас только оскорбляет. Ну я, конечно, настаивать не стал. За что же его оскорблять?

— Оскорблять нехорошо,— согласилась жена.

— А с другой стороны, чем он мне мешает? Ну, поболтает пять минут. А может быть, еще и пользу принесет. Кто их знает? Надумают еще там какой-нибудь штраф наложить, ан он и уладит дело.

— Н-да, это действительно,— согласились приятели.

Адвокат встал, расправил баки, нахмурил брови и подошел к Рубашкину.

— Я рассмотрел ваше дело,— сказал он и мрачно прибавил: — Мужайтесь.

Затем вернулся на свое место.

— Чудак! — прыснули приятели.

— Ч-черт,— озабоченно покачал головой Рубашкин.— Штрафом пахнет.

* * *

— Прошу встать! Суд идет! — крикнул судебный пристав.

Обвиняемый сел за свою загородку и оттуда кивал жене и друзьям, улыбаясь сконфуженно и гордо, точно получил пошлый комплимент.

— Герой! — шепнул жене один из приятелей.

— Православный! — бодро отвечал между тем обвиняемый на вопрос председателя.

— Признаете ли вы себя автором статьи, подписанной инициалами С. Р.?

— Признаю.

— Что имеете еще сказать по этому делу?

— Ничего,— удивился Рубашкин.

Но тут выскочил адвокат.

Лицо у него стало багровым, глаза выкатились, шея налилась. Казалось, будто он подавился бараньей костью.

— Господа судьи! — воскликнул он.— Да, это он перед вами, это Семен Рубашкин. Он автор статьи и распускатель слухов о роспуске первой Думы, статьи, подписанной только двумя буквами, но эти буквы

С. Р. Почему двумя, спросите вы. Почему не тремя, спрошу и я. Почему он, нежный и преданный сын, не поместил имени своего отца? Не потому ли, что ему нужны были только две буквы С. и Р.? Не является ли он представителем грозной и могущественной партии?

Господа судьи! Неужели вы допускаете мысль, что мой доверитель просто скромный газетный писака, обмолвившийся неудачной фразой в неудачной статье? Нет, господа судьи! Вы не вправе оскорбить его, который, может быть, представляет собой скрытую силу, так сказать, ядро, я сказал бы, эмоциональную сущность нашего великого революционного движения.

Вина его ничтожна,— скажете вы. Нет! — воскликну я. Нет! — запротестую я.

Председатель подозвал судебного пристава и попросил очистить зал от публики.

Адвокат отпил воды и продолжал:

— Вам нужны герои в белых папахах! Вы не признаете скромных тружеников, которые не лезут вперед с криком «руки вверх!», но которые тайно и безыменно руководят могучим движением. А была ли белая папаха на предводителе ограбления московского банка? А была ли белая папаха на голове того, кто рыдал от радости в день убийства фон-дер... Впрочем, я уполномочен своим клиентом только в известных пределах. Но и в этих пределах я могу сделать многое.

Председатель попросил закрыть двери и удалить свидетелей.

— Вы думаете, что год тюрьмы сделает для вас кролика из этого льва?

Он повернулся и несколько мгновений указывал рукой на растерянное, вспотевшее лицо Рубашкина. Затем, сделав вид, что с трудом отрывается от величественного зрелища, продолжал:

— Нет! Никогда! Он сядет львом, а выйдет стоглавой гидрой! Он обовьет, как боа констриктор, ошеломленного врага своего, и кости административного произвола жалобно захрустят на его могучих зубах.

Сибирь ли уготовили вы для него? Но господа судьи! Я ничего не скажу вам. Я спрошу у вас только: где находится Гершуни? Гершуни, сосланный вами в Сибирь?

И к чему? Разве тюрьма, ссылка, каторга, пытки (которые, кстати сказать, к моему доверителю почему-то не применялись), разве все эти ужасы могли бы

вырвать из его гордых уст хоть слово признания или хоть одно из имен тысячи его сообщников?

Нет, не таков Семен Рубашкин! Он гордо взойдет на эшафот, он гордо отстранит своего палача и, сказав священнику: «Мне не нужно утешения!» — сам наденет петлю на свою гордую шею.

Господа судьи! Я уже вижу этот благородный образ на страницах «Былого», рядом с моей статьей о последних минутах этого великого борца, которого стоустая молва сделает легендарным героем русской революции.

Воскликну же и я его последние слова, которые он произнесет уже с мешком на голове: «Да сгинет гнусное...»

Председатель лишил защитника слова.

Защитник повиновался, прося только принять его заявление, что доверитель его, Семен Рубашкин, абсолютно отказывается подписать просьбу о помиловании.

* * *

Суд, не выходя для совещания, тут же переменил статью и приговорил мещанина Семена Рубашкина к лишению всех прав состояния и преданию смертной казни через повешение.

Подсудимого без чувств вынесли из зала заседания.

* * *

В буфете суда молодежь сделала адвокату шумную овацию.

Он приветливо улыбался, кланялся, пожимал руки.

Затем, закусив сосисками и выпив бокал пива, попросил судебного хроникера прислать ему корректуру защитительной речи.

— Не люблю опечаток,— сказал он.

* * *

В коридоре его остановил господин с перекошенным лицом и бледными губами. Это был один из приятелей Рубашкина.

— Неужели все кончено! Никакой надежды?

Адвокат мрачно усмехнулся.

— Что поделаешь! Кошмар русской действительности!..

ВЕСЕЛАЯ ВЕЧЕРИНКА

I

Старуха Агафья успела уже убрать кухню и вычистить самовары, а Ванюшка-кучер все еще томился, ожидая возвращения барина.

— Скоро одиннадцать,— ворчала Агафья, вытирая толстые, обнаженные по локоть руки и глядя исподлобья на тоскующего парня.— Другой бы матери помог, коли время вышло, а мой только на вечерины ходить умеет да новые сапоги трепать. И в кого такой вышел! Ведь уродит же Господь!

Ванюшка молчал, хотя речь была направлена прямо против него, так как он как раз приходился Агафье родным сыном. Но ему было не до разговоров. Сегодня Танька, горничная земского начальника, устраивает бал. На балу будет только что выслуживший свой срок солдат Марковкин. Он хочет Таньку сватать, это все знают, но Ванюшка давно решил перешибить ему дорогу. Сегодня все выяснится. Отъедет солдат с поломанными ребрами!

Ванюшка мечтательно улыбается, разглядывая новые сапоги. Его белокурые волосы лоснятся от масла; под воротником голубой сатиновой рубашки красуется ярко-розовый муаровый бант, и это сочетание цветов во вкусе мадам Помпадур придает удивительно глупый вид его толстому, безусому и безбровому лицу.

— И куда пойдешь на ночь глядя? — ворчит мать, гремя посудой.— Угощенье все равно уж все съедено. Теперь парни, верно, уж драться начали, только даром шею намнут. Раньше двенадцати барин от лесничего не вернется. Пока лошадь уберешь — вот и первый час.

Сын молча вздыхает.

— Чего молчишь-то? Ты вот ленту муаровую у матери выпросил, а ты думал ли, чего эта лента матери стоила? Я ее, может, к причастию надеть и то жалела, на смертное платье берегла. Барышня-покойница да-

рила, не знала, видно, что ты в ней на вечеринках, как лошадь, ржать будешь...

Снова молчаливый вздох.

— Думаешь, ленту напялил, так за тебя Танька замуж пойдет? Нет, парень! Не нашему носу рябину клевать — это ягода нежная! Марковкин-то почище тебя.

— Еще ничего не известно,— загадочно разинув рот, ухмыльнулся Ванюшка.

— Как неизвестно? — обрадовалась Агафья, что ей, наконец, удалось вызвать сына на приятную беседу.— Все отлично известно. Ничего у тебя нету, и в кучеренках-то тебя держут потому, что мать жалеют. Не век же мне тоже в кухарках быть. Скоро ноги протяну. Без меня дня не останешься.

II

Во дворе залаяла собака.

Ванюшка вскочил и, закутав горло шарфом, чтоб не слишком поразить хозяина своим стилем Помпадур, пошел убирать лошадь.

Через десять минут, бодро подскрипывая по твердому снежному насту, бежал он к дому земского начальника.

Маленький городок давно уже успокоился. Фонари не горели, так как по календарю полагалась луна, почему-то в этот день на небесное дежурство не явившаяся.

В окнах тоже было темно. Светился только верхний этаж городского клуба и трактир с надписью: «Для приезжаю» («щих» не поместилось).

Ванюшка пересек главную улицу и, свернув влево, юркнул в ворота маленького двухэтажного домика, занимаемого земским начальником.

— Ну, куда же теперь? Тут темно, не напороться бы на что... Не то у ней кухня наверху, не то внизу. Никогда не бывавши, тоже не сразу поймешь. Хоть бы вышел кто из парней...

Он повернул вправо и налез на какую-то обледенелую кадку. Прямо стена. Налево лестница. Входную дверь он, войдя, машинально захлопнул и теперь никак не мог сообразить, с которой стороны он вошел.

Медленно, ощупывая ступеньки руками и ногами, влез он во второй этаж. Здесь тоже оказалось темно, и он долго шарил руками, не находя дверей.

— Не! — решил он.— Кухня у ней внизу. Надо было там нащупать либо выйти и в окошко постучать.

И он, стуча каблуками, боком стал спускаться с лестницы. Он был уже почти в сенях, как вдруг страшный дикий крик, раздавшийся снизу, остановил его.

— Кто здесь! Стой, черт тебя возьми, не то я буду стрелять!..

Ошеломленный Ванюшка замер на одном месте.

Послышалось шуршанье спичечной коробки. Вспыхнул огонек.

Мелькнуло испуганное свирепое лицо земского начальника.

— А-а, каналья! Попался! Я тебе покажу! Ты у меня узнаешь, где раки зимуют.

Ванюшка сделал отчаянный прыжок, пытаясь увернуться от могучих рук земского начальника, ловивших его впотьмах...

Бац! Бац! Одна рука крепко держит за шиворот голубую рубаху с помпадуровым галстуком, другая, сжавшись в кулак, дважды въехала в Ванюшкину физиономию.

— Нет, голубчик, теперь не уйдешь!

И, продолжая наколачивать своего пленника, спотыкаясь и кряхтя, он поволок его вверх по лестнице.

Ванюшка молча упирался, медленно подвигался вперед и отчаянно брыкался ногами.

III

Ступеньки трещали, каблуки звонко щелкали, и спавшей наверху супруге земского начальника почудилось, будто какая-то взбесившаяся лошадь лезет к ней по лестнице. Барыня зажгла свечку и, испуганно крестясь, сидела на кровати. Дверь в спальню с треском распахнулась.

— Машенька! Вот рекомендую! — тяжело отдуваясь, торжествовал земский начальник.

Он поставил Ванюшку перед изумленной барыней, продолжая держать его за шиворот и изредка потряхивая.

— А хорош молодец? Возвращаюсь от лесничего, смотрю, ворота настежь. Подлые девки со своими

балами совсем одурели, ни за чем не смотрят. Завтра всех к черту. Поднимаюсь по лестнице... здравствуйте! Лезет, голубчик! Я его подстерег, дал немножко спуститься да цап за шиворот. У меня не отвертишься.

— Да ты осторожней, Коленька, может быть, у него нож,— плаксиво затянула супруга.

Ванюшка, с перетянутым горлом, молчал, тяжело дыша, и только широко раскрывал рот, как рыба, которую лишили родной стихии.

— Да ведь я...— попробовал было он, но тяжелый кулак, въехав ему под самый глаз, снова отнял у него дар слова.

— Молчать! — заревел земский начальник.— Еще разговаривать! Благодари Бога, что я полицию не зову. Другой бы сгноил тебя в остроге. Марш отсюда! Чтоб духу твоего не было. И товарищам своим скажи, чтоб дорогу ко мне забыли.

И он снова собственноручно сволок Ванюшку с лестницы, вытурил на улицу и запер ворота на засов.

Оставшись один, Ванюшка пустился бежать без оглядки и только в конце улицы немножко опомнился и огляделся. Пиджак был разорван, из носу лила кровь, лицо горело и ныло. Ванюшка потер нос снегом и захныкал:

— И чего он взбесился, черт окаянный! Что человек не в ту дверь попал, так его по морде лупить? Нет, это, брат, тоже не показано! За это, брат, тоже ответить можно. Закона такого нету, чтоб народ зря калечить.

Но, вспомнив, что все равно теперь на вечеринку не попадешь — ворота заперты, да и в таком виде куда уж тут, Ванюшка снова захныкал и, грустно опустив голову, побрел домой.

IV

Двери отворила заспанная и сердитая Агафья.

— Что! Готово! Воротился! У него мать помирает, а он по балам, как лошадь, ржет. У матери поясницу ломит, а ему хоть бы что! Другой бы хоть колбасы кусок с гостей-то принес бы. Нате, мол, вам, мамаша, покушайте. Отец-то, покойник, бывало...— Она зажгла лампочку и, взглянув сыну в лицо, даже присела от изумления.

— Батюшки светы! Родители вы мои долгоногие! Да кто же это тебя так? Тут уж, видно, не один, тут трое либо четверо работало! Эко тебя качает. Ну, и нахлестался! Да скажи хоть слово.

Но Ванюшка молча стянул с себя сапоги и, не раздеваясь, лег в постель.

На другой день он проснулся поздно. В печке трещали дрова, Агафья стучала ножом, а косоротая баба, разносившая по городу булки и сплетни, оживленно что-то рассказывала. Ванюшка, не вставая, стал прислушиваться.

— Они, видишь, девки-то, как пошли на вечерину, ворота-то, стало быть, и не заперли. Под вечерину-то у Картонихи комнату нанимали, земский-то в доме и не позволил.

— Ч-черт! — чуть не вскрикнул Ванюшка.

— Ну, стало быть, разбойнику-то это и на руку. Он наверх-то пролез, все до чистика обобрал, только, значит, барыню собрался резать, а сам-то тут как тут!

«Ишь ты,— думает Ванюшка.— Это, видно, уж после меня кто-нибудь залез!»

— Господи помилуй! — шепчет Агафья.— И какой ноне отчаянный народ пошел!

— Ну, земский его колошматил, колошматил, однако тот вырвался и убежал.

— Уж верно, их где-нибудь целая шайка, запрятавшись, была. Один не пойдет,— додумалась Агафья.

— Земский Егорку кучера и Таньку обоих вон выгнал. Ну, да ей что! Ее вчера за солдата Марковкина просватали...

Со стороны кровати послышался тихий вой.

— Это что же? — удивилась торговка.

— Ванюшка с перепою,— хладнокровно ответила Агафья.

— Разве уж так напился?

— И-и! И не видывала никогда таких пьяных. Что ни спросишь, молчит. Покойник муж, бывало, на четвереньках домой придет, а за словом в карман не полезет.

— А ты бы его керосинцем бы помазала.

— Нешто полегчает от керосину-то?

— Еще как! Старуха, Аннушкина мать, что у головихи в няньках, все керосином лечится. Не нахвалится. Как, говорит, натрусь да отхлебну маненько, так меня

всю как огнем запалит. Прямо терпенья нет. Всякую боль отшибает. Ничего уж тут не почувствуешь. На Рождестве ее головиха чуть вон не выгнала за керосин-то. Потерлась это она (простудившись была) и сидит в кухне на печке. А головиха все ходит да принюхивается. Вошла в кухню, ну и поняла, в чем дело. Ругалась, ругалась! Вы меня, говорит, подлые, под кнуты подведете, я еще через вас Сибири нанюхаюсь. Упадет, говорит, на старуху спичка, ее как синь-порох взорвет. А я отвечай. Зверь — головиха-то.

— И как ему всю рожу разделали,— с плохо скрытой материнской гордостью говорит Агафья.— Это уж никто, как солдат. Я сразу солдатову руку узнала. Губища — во! Прямо до полу свисла. Под глазом сиводтек!

— Поди, по Таньке-то реветь будет,— не без злорадства вставляет торговка, Агафья иронически фыркает:

— Очень нужно! Важное кушанье Танька-то ваша! Персона! Только и умеет, что господские тарелки лизать. Мой парень захочет жениться, так лучше найдет. Эдакий парень — ягода наливная!

V

За дверью, со стороны хозяйских комнат, послышался треск и какое-то глухое рычанье.

— Это у вас что же? — любопытствует торговка.

— Это барин чудит,— спокойно объясняет Агафья.— Верно, вчера у лесничего в карты проигрался. Он всегда так, как проиграется. Потому перед барыней ему стыдно, вот он и оказывает себя.

Рычание приблизилось, сделалось похожим на хриплый лай. Наконец дверь распахнулась, и на пороге показалась озверелая, всклоченная фигура хозяина дома.

— Послать ко мне Ваньку-дармоеда,— залаял он,— я ему покажу, как лошадь без овса оставлять!

Тррах — дверь захлопнулась, и вскочившая Агафья лопочет в пустое пространство:

— Ванюшка хворый лежит!.. Точно так-с! Он за водой ушедши!.. Точно так-с! Сейчас его кликну.

Ванюшка испуганно натягивает сапоги, не попадая в них ногами.

— Господи! — ахает торговка.— Личико-то! Личико-то. Харю-то евонную посмотри!

Ванюшка ринулся во двор.

— Ишь, каким козырем,— ворчала вслед ему Агафья.— На мать и не взглянул. Другой бы земляной поклон сделал. Простите, мол, маменька, что вы меня свиньей на свет родили.

Дверь с треском отворилась, и Ванюшка неестественно скоро вбежал в кухню. Он растерянно оглядывался запухшими глазами и растирал рукой затылок.

— Хым! Хым,— хмыкал он,— на старые-то дрожжи! Очень мне нужно твое место. Я местов сколько угодно найду. Не дорожусь.

— Мати Пресвятая Богородица! — заголосила Агафья.— Прогнал его барин, пьяницу, лежебоку-дармоедину! Куда ж я с ним теперь... За что же он тебя выгнал-то?

— Да, грит, зачем по балам шляюсь и зачем морду изувечил. На козлы, грит, страм посадить,— гнусит Ванюшка, тупо смотря в землю.

Торговка радостно волнуется и суетится, как репортер на пожаре.

— Так зачем же ты дал эдак себя наколотить? — допытывается она.— Нешто можно столько человек на одного? Али уж очень выпивши был на вечеринке-то?

VI

Ванюшка вдруг быстро-быстро захлопал глазами и, низко оттянув углы распяленного рта, жалобно всхлипнул:

— И нигде я не был... И на вечеринке не был...

— Господи! Наваждение египетское! Так с кем же ты дрался-то?

— И ни с кем не дрался... На земского напоролся!..

— Молчи! — строго цыкнула Агафья.— За эдакие слова знаешь куда?! Что тебе земский — тын аль частокол? Как ты на него напороться мог, дурак ты урожденный.

И она уже занесла было свою карающую длань, но торговка властно остановила ее и, указав на Ванюшку, многозначительно постукала себя пальцем по лбу.

— Ишь ты,— опешила Агафья.— Отец-то покойни-

чек тоже пивал. Только к нему все больше эти, с хвостиками, приходили. А земский нет. Земским его не морочило.

— Вот что, парень,— с деловым тоном начала торговка.— Ты ляг себе да отлежись. Вон матка тебя керосинцем потрет. А уж я твое дело улажу. В ножки поклонишься. Да мне не нужно, я ведь не гонюсь. Без места, стало, не останешься. Земчиха меня сегодня просила, муж-то ейный Егорку-то из-за вора с кучеров прогнал, так вот, значит, не найду ли я ей парня, чтоб за лошадью умел ходить. Я-то ведь еще не знала, что тебя выгонят. А вот теперь пойду да и предоставлю, что ты, мол, желаешь.

Успокоившийся было Ванюшка вдруг дико взвыл и, выпучив в ужасе подбитые синяками глаза, вскочил на ноги.

Бабы шарахнулись в сторону и, подталкивая друг друга, вылетели во двор.

— Не! Тут керосин не поможет,— озабоченно разводя руками, решила торговка.— Беги, матушка, к головихе, у ейной старухи четверговая соль, дай ему с хлебцем понюхать.

Агафья охала и чесала локти.

— Пойтить рассказать,— задумчиво прошептала торговка и, повертев головой, как ворона на подоконнике, пустилась вдоль улицы.

ИГРА

Старому Берке Идельсону денег за работу не выдали, а велели прийти через час.

Тащиться с Песков на Васильевский и опять через час возвращаться — не было расчета, и Берка решил обождать в скверике.

Сел на скамеечку, осмотрелся кругом.

День был весенний, звонкий, радостный. Молодая трава зеленела, как сукно ломберного стола. Справа у самой дорожки распушился маленький желтый цветочек.

Берка был усталый от бессонной ночи и сердитый, но, взглянув раза два на желтенький цветочек, немножко отмяк.

— Сижу, как дурак, и жду, а денег все равно не заплатят. Будут они платить, когда можно не платить!

Около скамейки играли дети. Два мальчика и девочка. Рыли ямку и обкладывали ее камушками. Работал младший, худенький, черненький мальчик; старший командовал и только изредка, вытянув коротенькую, толстую ногу, утаптывал дно ямки. Девочка была совсем маленькая, сидела на корточках и подавала камушки, изредка лизнув наиболее аппетитные.

Подлетел воробей, попрыгал боком и улетел.

Берка усмехнулся, оттянул вниз углы рта.

«Дети так уж дети,— подумал он,— и природа вообще — чего же вы хотите!»

Ему захотелось принять участие в этом молодом веселом празднике.

Он сдвинул брови и притворно сердитым голосом обратился к детям:

— А кто вам разрешил производить анженерские работы? Я прекрасно вижу, что вы делаете. А разве показано производить анженерские работы? И здесь городское место.

Дети покосились на него и продолжали играть.

— И я знаю, что это не показано. Анженерские работы производить не показано.

Толстый мальчик надулся, покраснел.

— Нам сторож позволил.

Берка обрадовался, что мальчик откликнулся. Эге! Игра таки завязалась.

— Сторо-ож? Ну, так не много ваш сторож понимает. И какой у него образовательный ценз? Уж там, где на еврея три процента, там на сторожа ни одного нет.

Маленькая девочка, втянув голову в плечи, заковыляла через дорожку, уткнула голову в нянькин передник и громко заревела.

Берка подмигнул мальчикам.

— Разве показано? Начальство узнает — беда будет. Каторжные работы. Сибирь.

Толстый мальчик засопел носом, взял брата за руку и пошел к няньке.

Берка встал за ними.

Нянька сморкала девочку и ворчала:

— Чего надо? Чего к детям приметываешься?

Но Берка уже разыгрался вовсю.

— Разве показано производить анженерские работы? — подмигивал он няньке.— Это не показано.

— Нам сторож позволил,— заревел вдруг толстый мальчик.

— Сторо-ож? И где его ценз?

Берка подмигнул желтенькому цветочку.

— Господи помилуй! — удивлялась нянька.— Никогда того не было! Уж ребенок не смей песком играть! Указчик какой выискался! Скажите пожалуйста! Никогда никто не запрещал...

Подошел сторож.

— Что случилось? Вам, господин, чего надоть?

— Помилуй Бог! Дети, так они дети. Разве показано анженерские работы на городском месте! Не показано.

Он подмигнул сторожу.

— Ты чего мигаешь? — озлился сторож.— Ты мне не смей мигать. Я тебе так помигаю...

Берка слегка опешил, но, взглянув на желтенький цветочек, сейчас же понял, что сторож шутит.

— Я мигаю? И зачем бы я имел мигать, когда мне известны законы военной империи.

— К детям приметывается! Никому от него покою нету... Рад со свету сжить...— пела нянька.— Говорят ему: сторож позволил. Нет, все ему мало. Сторож, вишь, не начальство.

— Вот как! — сказал сторож.— Ну, ладно же. Я ему покажу, кто здесь начальство.

Он подошел к решетке и свистнул.

Берка смотрел на приближающихся к нему городового и дворника и говорил:

— Куды это они идут — несчастный служащий народ? Может, облава на какого мошенника? Только извините, господин сторож, я уже пойду, мне уже некогда. Поигрался себе с детьми, а теперь должен идти на печальное дело. Ну... и почему вы меня держите за локоть? Господин сторож! Почему?

СЕМЕЙНЫЙ АККОРД

В столовой, около весело потрескивающего камина, сидит вся семья.

Отец, медленно ворочая языком, рассказывает свои неприятные дела.

— А он мне говорит: «Если вы, Иван Матвеевич, берете отпуск теперь, то что же вы будете делать

в марте месяце? Что, говорит, вы будете делать тогда, если вы берете отпуск теперь?» Это он мне говорит, что, значит, почему я...

— Я дала задаток за пальто,— отвечает ему жена, шлепая пасьянс,— и они должны сегодня пальто прислать. Не поспеть же мне завтра по магазинам болтаться, когда я утром на вокзал еду. Это надо понимать. Это каждый дурак поймет. Вот выйдет пасьянс, значит, сейчас привезут.

— И если я теперь не поеду,— продолжает отец,— то, имея в виду март месяц...

Дочка моет чайные ложки и говорит, поворачивая голову к буфету:

— С одной черной шляпой всю зиму! Покорно благодарю. Я знаю, вы скажете, что еще прошлогодняя есть. В вас никогда не было справедливости...

— Десятка, пятерка, валет... Вот, зачем пятерка! Не будь пятерки,— валет на десятку, и вышло бы. Не может быть, чтоб они, зная, что я уезжаю, и, опять-таки, получивши задаток...

— А Зиночка вчера, как нарочно, говорит мне: «А где же твоя шляпка, Сашенька, что с зеленым пером? Ведь ты, говорит, хотела еще с зеленым купить?» А я молчу в ответ, хлопаю глазами. У Зиночки-то у самой десять шляп.

— Так и сказал: «Если вы, Иван Матвеич, надумали взять отпуск именно теперь, то что именно будете вы...»

— Одна шляпка для свиданий, одна для мечтаний, одна для признаний, одна для купаний — красная. Потом с зеленым пером, чтоб на выставки ходить.

— Врут карты. Быть не может. Разложу еще. Вон сразу две семерки вышли. Десятка на девятку... Туз сюда... Вот этот пасьянс всегда верно покажет... Восьмерка на семерку... Да и не может быть, чтоб они, получивши задаток, да вдруг бы... Двойку сюда...

— А когда Зиночкина мать молода была, так она знала одну тетку одной актрисы. Так у той тетки по двадцати шляп на каждый сезон было. Я, конечно, ничего не требую и никого не попрекаю, но все-таки можно было бы позаботиться.

Она с упреком посмотрела на буфет и задумалась.

— Но, с другой стороны,— затянул глава,— если бы я не взял отпуска теперь, а отложил бы на март месяц...

— Я знаю,— сказала дочь, и голос ее дрогнул.— Я знаю, вы опять скажете про прошлогоднюю шляпу. Но поймите же наконец, что она была с кукушечьим пером! Я знаю, вам все равно, но я-то, я-то больше не могу.

— Опять валетом затерло!

— Довольно я и в прошлом году намучилась! Чуть руки на себя не наложила. Пошла раз гулять в Летний сад. Хожу тихо, никого не трогаю. Так нет ведь! Идут две какие-то, смотрят на меня, прошли мимо и нарочно громко: «Сидит, как дура, с кукушечьим пером!» Вечером маменька говорит: «Ешь простоквашу». Разве я могу? Когда у меня, может быть, все нервы сдвинулись!..

— А в марте, почем я знаю, что может быть? И кто знает, что может в марте быть? Никто не может знать, что вообще в мартах бывает. И раз я отпуск...

— Вам-то все равно!.. Пожалеете, да поздно будет! Кукушечье перо... Еду летом из города, остановился наш поезд у станции, и станция-то какая-то самая дрянная. Прямо полустанок какой-то. Ей-Богу. Даже один пассажир у кондуктора спросил, не полустанок ли? И весь вокзал-то с собачью будку. А у самого моего окна станционный телеграфист стоит. Смотрит на меня и говорит другому мужчине: «Гляди. Едет, как дура, с кукушечьим пером». Да нарочно громко, чтобы я слышала. А тот, другой, как зафыркает. Умирать буду, вспомню. А вы говорите — шляпка. И вокзал-то весь с собачью бу-д-ддку!

Дочка горько заплакала.

— Постой, постой! Вот сейчас, если король выйдет... Вечно лезут с ерундой, не дадут человеку толком пасьянса разложить. Мне внимание нужно. Вот куда теперь тройка делась? Хорошо, как в колоде, а как я пропустила, тогда что? Ведь если я сегодня пальто не получу, мне завтра ни за что не выехать. Вот тройка-то где... Опять-таки пренебречь я не могу. Этакие холода, чтó я там без пальто заведу. Разве вы о матери подумаете! Вам все равно, хоть... пятерка на четверку.

— А он мне сам сказал: поезжайте, Иван Матвеич. Так и сказал. Я не глухой. А если он насчет моего отпуска...

— Я всегда говорила, что у всех людей есть родители, кроме меня. Ни одного человека не было на свете без родителя. Попробовали бы сами два года

кукушкой ходить, коли вы такой добрый, папенька! Так небось! Не любо!

— Пойди посмотри... валета сюда... Кто-то в кухню стучится... Две двойки сразу...

Дочка уходит.

— Маменька,— кричит она из кухни.— Пальто вам принесли.

— Валет сюда... Подожди, не ори... Дама так... Должна же я докончить. Туз... Нужно же узнать наверное про пальто... Пусть подождет на кухне. Тройка... Опять не вышло. Разложу еще раз!

ДАРОВОЙ КОНЬ

Николай Иваныч Уткин, маленький акцизный чиновник маленького уездного городка, купил рублевый билет в губернаторшину лотерею и выиграл лошадь.

Ни он сам, ни окружающие не верили такому счастью. Долго проверяли билет, удивлялись, ахали. В конце концов отдали лошадь Уткину.

Когда первые восторги поулеглись, Уткин призадумался.

«Куда я ее дену?—думал он.—Квартира у меня казенная, при складе, в одну комнату да кухня. Сарайчик для дров махонький, на три вязанки. Конь же животное нежное, не на улице же его держать».

Приятели посоветовали попросить у начальства квартирных денег.

— Откажись от казенной. Найми хоть похуже, да с сарайчиком. А отказывать станут,—скажи, что, мол, семейные обстоятельства, гм... приращение семейства.

Начальство согласилось. Денег выдали. Нанял Уткин квартиру и поставил лошадь в сарай. Квартира стоила дорого, лошадь ела много, и Уткин стал наводить экономию: бросил курить.

— Чудесный у вас конь, Николай Иваныч,—сказал соседний лавочник.—Беспременно у вас этого коня сведут.

Уткин забеспокоился. Купил особый замок к сараю.

Заинтересовалось и высшее начальство Николая Иваныча.

— Эге, Уткин! Да вы вот какой! У вас теперь и лошадь своя! А кто же у вас кучером? Сами, что ли, хе-хе-хе!

Уткин смутился.

— Что вы, помилуйте-с! Ко мне сегодня вечером обещал прийти один парень. Все вот его и дожидался. Знаете, всякому доверять опасно.

Уткин нанял парня и перестал завтракать.

Голодный, бежал он на службу, а лавочник здоровался и ласково спрашивал:

— Не свели еще, лошадку-то? Ну, сведут еще, сведут! На все свой час, свое время.

А начальство продолжало интересоваться:

— Вы что же, никогда не ездите на вашей лошадке?

— Она еще не объезжена. Очень дикая.

— Неужели? А губернаторша на ней, кажется, воду возила. Странно! Только, знаете, голубчик, вы не вздумайте продать ее. Потом, со временем, это, конечно, можно будет. Но теперь ни в каком случае! Губернаторша знает, что она у вас, и очень этим интересуется. Я сам слышал. «Я,—говорит,—от души рада, что осчастливила этого бедного человека, и мне отрадно, что он так полюбил моего Колдуна». Теперь понимаете?

Уткин понимал и, бросив обедать, ограничивался чаем с ситником.

Лошадь ела очень много. Уткин боялся ее и в сарай не заглядывал. «Еще лягнет, жирная скотина. С нее не спросишь».

Но гордился перед всеми по-прежнему.

— Не понимаю, как может человек, при известном достатке, конечно, обходиться без собственных лошадей. Конечно, дорого. Но зато удобство!

Перестал покупать сахар.

Как-то зашли во двор два парня в картузах, попросили позволения конька посмотреть, а если продадут, так и купить. Уткин выгнал их и долго кричал вслед, что ему за эту лошадь давно тысячу рублей давали, да он и слышать не хочет.

Слышал все это соседний лавочник и неодобрительно качал головой.

— И напрасно, вы их только пуще разжигаете. Сами понимаете, какие это покупатели!

— А какие?

— А такие, что воры. Конокрады. Пришли высмотреть, а ночью и слямзют.

Затревожился Уткин. Пошел на службу, даже ситника не поел. Встретился знакомый телеграфист. Узнал, потужил и обещал помочь.

— Я,— говорит,— такой аппарат поставлю, что, как, значит, кто в конюшню влезет, так звон-трезвон по всему дому пойдет.

Пришел телеграфист после обеда, работал весь вечер, приладил все и ушел. Ровно через полчаса затрещали звонки.

Уткин ринулся во двор. Один идти оробел. Убьют еще. Кинулся в клетушку, растолкал парня Ильюшку. А звонок все трещал да трещал. Подошли к сараю. Смотрят — замок на месте. Осмелели, открыли дверь. Темно. Лошадь жует. Осмотрели пол.

— Ска-тина! — крикнул Уткин.— Это она ногой наступила на проволоки. Ишь, жует. Хоть бы ночью-то не ела. У нас, у людей, хоть какой будь богатый человек, а уж круглые сутки не позволит себе есть. Свинство. Прямо не лошадь, а свинья какая-то.

Лег спать. Едва успел задремать — опять треск и звон. Оказалось — кошка. На рассвете опять.

Совершенно измученный, пошел Уткин на службу. Спал над бумагами.

Ночью опять треск и звон. Проволоки, как идиотки, соединялись сами собой. Уткин всю ночь пробегал босиком от сарая к дому и под утро захворал. На службу не пошел.

«Что я теперь? — думал он, уткнувшись в подушку.— Разве я человек? Разве я живу? Так — пресмыкаюсь на чреве своем, а скотина надо мной царит. Не ем и не сплю. Здоровье потерял, со службы выгонят. Пройдет моя молодость за ничто. Лошадь все сожрет!»

Весь день лежал. А ночью, когда все стихло и лишь слышалась порой трескотня звонка, он тихо встал, осторожно и неслышно открыл ворота, прокрался к конюшне и, отомкнув дверь, быстро юркнул в дом.

Укрывшись с головой одеялом, он весело усмехался и подмигивал сам себе.

— Что, объела? А? Недолго ты, матушка, поцарствовала, дромадер окаянный! Сволокут тебя анафемские воры на живодерню, станут из твоей шкуры, чтоб она лопнула, козловые сапоги шить. Губернаторшин блюдолиз! Вот погоди, покажут тебе губернаторшу.

Заснул сладко. Во сне ел оладьи с медом.

Утром крикнул Ильюшку, спросил строгим голосом: все ли благополучно?

— А все!

— А лошадь... цела?—почти в ужасе крикнул Уткин.

— А что ей делается.

— Врешь ты, мерзавец! Конский холоп!

— А ей-Богу, барин! Вы не пужайтесь, конек ваш целехонек. Усё сено пожрал, теперь овса домогается.

У Уткина отнялась левая нога и правая рука. Левой рукой написал записку:

«Никого не виню, если умру. Лошадь меня съела».

ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

Петя Тузин, гимназист первого класса, вскочил на стул и крикнул:

— Господа! Объявляю заседание открытым!

Но гул не прекращался. Кого-то выводили, кого-то стукали линейкой по голове, кто-то собирался кому-то жаловаться.

— Господа!—закричал Тузин еще громче.—Объявляю заседание открытым. Семенов-второй! Навались на дверь, чтобы приготовишки не пролезли. Эй, помогите ему! Мы будем говорить о таких делах, которые им слышать еще рано. Ораторы, выходи! Кто записывается в ораторы, подними руку. Раз, два, три, пять. Всем нельзя, господа; у нас времени не хватит. У нас всего двадцать пять минут осталось. Иванов-четвертый! Зачем жуешь? Сказано—сегодня не завтракать! Не слышал приказа?

— Он не завтракает, он клячку жует.

— То-то, клячку! Открой-ка рот! Федька, сунь ему палец в рот, посмотри, что у него. А? Ну, то-то! Теперь, прежде всего, решим, о чем будем рассуждать. Прежде всего, я думаю... ты что, Иванов-третий?

— Плежде всего надо лассуждать пло молань,—выступил вперед очень толстый мальчик, с круглыми щеками и надутыми губами.—Молань важнее всего.

— Какая молань? Что ты мелешь?—удивился Петя Тузин.

— Не молань, а мораль!—поправил председателя тоненький голосок из толпы.

— Я и сказал, молань!—надулся еще больше Иванов-третий.

— Мораль? Ну, хорошо, пусть будет мораль. Так, значит,—мораль... А как это, мораль... это про что?

— Чтобы они не лезли со всякой ерундой,— волнуясь, заговорил черненький мальчик с хохлом на голове.— То не хорошо, другое не хорошо. И этого нельзя делать, и того не смей. А почему нельзя — никто не говорит. И почему мы должны учиться? Почему гимназист непременно обязан учиться? Ни в каких правилах об этом не говорится. Пусть мне покажут такой закон, я, может быть, тогда и послушался бы.

— А почему тоже говорят, что нельзя класть локти на стол? Все это вздор и ерунда,— подхватил кто-то из напиравших на дверь.— Почему нельзя? Всегда буду класть...

— И стоб позволили зениться,— пискнул тоненький голосок.

— Кричат: «Не смей воровать!» — продолжал мальчик с хохлом.— Пусть докажут. Раз мне полезно воровать...

— А почему вдруг говорят, чтоб я муху не мучил? — забасил Петров-второй.— Если мне доставляет удовольствие...

— А мама говорит, что я должен свою собаку кормить. А с какой стати мне о ней заботиться? Она для меня никогда ничего не сделала...

— Стоб не месали вступать в блак,— пискнул тоненький голосок.

— А кроме того, мы требуем полного и тайного женского равноправия. Мы возмущаемся и протестуем. Иван Семеныч нам все колы лепит, а в женской гимназии девчонкам ни за что пятерки ставит. Мне Манька рассказывала...

— Подожди, не перебивай! Дай сказать! Почему же мне нельзя воровать? Раз это мне доставляет удовольствие.

— Держи дверь! Напирай сильней! Приготовишки ломятся.

— Тише! Тише! Петька Тузин! Председатель! Звони ключом об чернильницу — чего они галдят!

— Тише, господа! — надрывается председатель.— Объявляю, что заседание продолжается.

Иванов-третий продвинулся вперед.

— Я настаиваю, чтоб лассуждали пло молань! Я хочу пло молань говолить, а Сенька мне в ухо дует! Я хочу, чтоб не было никакой молани. Нам должны все позволить. Я не хочу увазать лодителей, это унизительно! Сенька! Не смей мне в ухо дуть! И не буду

слушаться сталших, и у меня самого могут лодиться дети... Сенька! Блось! Я тебе в молду!

— Мы все требуем свободной любви. И для женских гимназий тоже.

— Пусть не заплещают нам зениться! — пискнул голосок.

— Они говорят, что обижать и мучить другого не хорошо. А почему не хорошо? Нет, вот пусть объяснят, почему не хорошо, тогда я согласен. А то эдак все можно выдумать: есть не хорошо, спать не хорошо, нос не хорошо, рот не хорошо. Нет, мы требуем, чтобы они сначала доказали. Скажите пожалуйста — «не хорошо». Если не учишься — не хорошо. А почему же, позвольте спросить,— не хорошо? Они говорят: «дураком вырастешь». Почему дурак не хорошо? Может быть, очень даже хорошо.

— Дулак, это холосо!

— И по-моему, хорошо. Пусть они делают по-своему, я им не мешаю, пусть и они мне не мешают. Я ведь отца по утрам на службу не гоняю. Хочет, идет, не хочет — мне наплевать.

Он третьего дня в клубе шестьдесят рублей проиграл. Ведь я же ему ни слова не сказал. Хотя, может быть, мне эти деньги и самому пригодились бы. Однако смолчал. А почему? Потому что я умею уважать свободу каждого ин-ди... юн-ди... ви-ди-ума. А он меня по носу тетрадью хлопает за каждую единицу. Это гнусно. Мы протестуем.

— Позвольте, господа, я должен все это занести в протокол. Нужно записать. Вот так: «Пратакол засе... «Засе» или «заси»? Засидания. Что у нас там первое?

— Я говорил, чтоб не приставали: локти на стол...

— Ага! Как же записать?.. Не хорошо — локти. Я напишу «оконечности». «Протест против запрещения класть на стол свои оконечности». Ну, дальше.

— Стоб зениться...

— Нет, врешь, тайное равноправие!

— Ну, ладно, я соединю: «Требуем свободной любви, чтоб каждый мог жениться, и тайное равноправие полового вопроса для дам, женщин и детей». Ладно?

— Тепель пло молань.

— Ну, ладно. «Требуем переменить мораль, чтоб ее совсем не было. Дурак — это хорошо».

— И воровать можно.

— «И требуем полной свободы и равноправия для воровства и кражи, и пусть все, что не хорошо, считается хорошо». Ладно?

— А кто украл, напиши, тот совсем не вор, а просто так себе, человек.

— Да ты чего хлопочешь? Ты не слимонил ли чего-нибудь?

— Караул! Это он мою булку слопал. Вот у меня здесь сдобная булка лежала: а он все около нее боком... Отдавай мне мою булку!.. Сенька! Держи его, подлеца! Вали его на скамейку! Где линейка?.. Вот тебе!.. Вот тебе!..

— А-а-а! Не буду! Ей-Богу, не буду!..

— А, он еще щипаться!..

— Дай ему в молду! Мелзавец! Он делется!..

— Загни ему салазки! Петька, заходи сбоку!.. Помогай!..

Председатель вздохнул, слез со стула и пошел на подмогу.

ПОЛИТИКА ВОСПИТЫВАЕТ

Собрался он к нам погостить на несколько дней и о приезде своем известил телеграммой.

Пошли на вокзал встречать. Смотрим во все стороны, как бы не проглядеть — давно не виделись и не узнать легко.

Вот, видим, вылезает кто-то из вагона бочком. Лицо перепуганное, в руке паспорт. Кивнул головой.

— Дядюшка! Вы?

— Я! я! — говорит.— Только вы, миленькие, обождите, потому — я еще не обыскался.

Пошел прямо к кондуктору, мы за ним.

— Будьте любезны,— говорит,— укажите, где мне здесь обыскаться?

Тот глаза выпучил, молчит.

— Ваше дело, ваше дело. Я предлагал, тому есть свидетели.

Дяденька, видимо, обиделся. Мы взяли его под руки и потащили к выходу.

— Разленился народ,— ворчал он.

Привезли мы дядюшку домой, занимаем, угощаем. Объявил он нам с первого слова, что приехал развлекаться. «Закис в провинции, нужно душу отвести».

Стали мы его расспрашивать, как, мол, у вас там, говорят, будто бы...

— Все вздор. Все давно вернулись к мирным занятиям.

— Однако ведь во всех газетах было...

Но он и отвечать не пожелал. Попросил меня сыграть на рояле что-нибудь церковное.

— Да я не умею.

— Ну, и очень глупо. Церковное всегда надо играть, чтоб соседи слышали. Купи хоть граммофон.

К вечеру дяденька совсем развинтился. Чуть звонок, бежит за паспортом и велит всем руки вверх поднимать.

— Дяденька, да вы не больны ли?

— Нет, миленькие, это у меня от политического воспитания. Оборотистый я стал человек. Знаю, что, где и когда требуется.

Лег дяденька спать, а под подушку «Новое Время» положил, чтоб худые сны не снились.

Наутро попросил меня свести его в сберегательную кассу.

— Деньги дома держать нельзя. Если меня дома грабить станут — непременно убьют. А в кассе грабить станут, так убьют не меня, а чиновника.

— Поняли? Эх вы, дурашки!

Поехали мы в кассу. У дверей городовой стоит. Дяденька засуетился.

— Милый друг! Ради Бога, делай невинное лицо. Ну, что тебе стоит! Ну, ради меня, ведь я же тебе родственник!

— Да как же я могу? — удивляюсь я.— Ведь я же ни в чем не виновата.

Дядюшка так и заметался.

— Погубит! Погубит! Смейся, хоть, по крайней мере, верещи что-нибудь...

Вошли в кассу.

— Фу! — отдувался дяденька.— Вывезла кривая. Бог не без милости. Умный человек везде побывать может: и на почте, и в банке, и всегда сух из воды выйдет. Не надо только распускаться.

В ожидании своей очереди дяденька неестественно громким голосом стал рассказывать про себя очень странные вещи.

— Эти деньги, друг мой,— говорил он,— я в клубе наиграл. День и ночь дулся, у меня еще больше было,

да я остальное пропил. А это вот, пока что, спрячу здесь, а потом тоже пропью, непременно пропью.

— Дяденька!—ахала я.—Да ведь вы же никогда карт в руки не брали! Да вы и не пьете ничего!..

Он в ужасе дергал меня за рукав и шипел мне на ухо:

— Молчи! Погубишь! Это я для них. Все для них. Пусть считают порядочным человеком.

Из сберегательной кассы отправились домой пешком. Прогулка была невеселая. Дяденька во все горло кричал про себя самые скверные вещи. Прохожие шарахались в сторону.

— Ладно, ладно,—шептал он мне.—Уж буду не я, если мы благополучно до дому не дойдем. Умный человек все может. Он и в банке побывает, и по улице погуляет, и все ему как с гуся вода.

Проходя мимо подворотного шпика, дяденька тихо, но с неподдельным чувством пропел: «Мне верить хочется, что этих глаз сиянье!..»

Мы были уже почти дома, когда произошло нечто совершенно неожиданное. Мимо нас проезжал генерал, самый обыкновенный толстый генерал, на красной подкладке. И вдруг мой дяденька как-то странно пискнул и, мгновенно повернувшись спиной к генералу, простер к небу руки. Картина была жуткая и величественная. Казалось, что этот благородный седовласый старец в порыве неизъяснимого экстаза благословляет землю.

Вечером дяденька запросился в концерт. Внимательно изучив программу удовольствий, он остановил свой выбор на благотворительном музыкально-вокальном вечере.

Поехали.

Запел господин на эстраде какое-то «Пробуждение весны». Дяденька весь насторожился: «А вдруг это какая-нибудь эдакая аллегория. Я лучше пойду покурю».

Кончилось пение. Началась декламация. Вышла барышня, стала декламировать «Письмо» Апухтина. Дяденька сначала все радовался: «Вот это мило! Вот молодец девица. И комар носу не подточит». Хвалил, хвалил, да вдруг как ахнет. Схватил меня за руку да к выходу.

— Дяденька! Голубчик! Что с вами!

— Молчи,—говорит,—молчи! Скорей домой. Дома все скажу.

Дома потребовал от меня входные билеты с концерта, сжег их на свечке и пепел в окно бросил. Затем стал вещи укладывать. Мы просили, уговаривали. Ничто не помогло.

— Да вы хоть скажите, дяденька, что вас побудило?

— Да не притворяйся,— говорит,— сама слышала, что она сказала. Отлично слышала.

Насилу уговорили рассказать. Закрыл все двери.

— Она,— говорит,— сказала: «Воспоминанье гложет, как злой палач, как милый властелин».

— Так что же из этого? — удивляюсь я.— Ведь это стихи Апухтина.

— Что из этого? — говорит он жутким шепотом.— Что из этого? «Гложет, как милый властелин». Статья 121, вот что это из этого. Пятнадцать лет каторжных работ, вот что из этого. Идите вы, если вам нравится, а я, миленькие, стар стал для таких штук. Мне и здоровье не позволит.

И уехал.

СЕМЬЯ РАЗГОВЛЯЕТСЯ

— Поедемте к нам,— упрашивали знакомые, когда стали расходиться из церкви.— Поедемте, вместе разговеемся.

Но Хохловы поблагодарили и с достоинством отказывались.

— Нет уж, мы всегда дома! Уж это такой праздник — сами понимаете... Вся семья должна быть в сборе. Мы всегда дома разговляемся, все вместе, сами понимаете... И детки ждать будут, как же можно?..

Радостно, торжественно.

Колокола гудят, на улицах толпа народа.

Радостно, торжественно.

Хохлов говорит жене:

— Швейцару пять, старшему дворнику пять...

— Посмотри, какой красивый вензель на подъезде,— перебивает жена.— Надо шесть. Прибавь рубль, а то сразу начнет с квартирными приставать.

— Все равно, рублем не замажешь... Для фрейлейн что купила?

— Браслетку,— вздохнула жена.— За шесть рублей, дутая, но очень миленькая. И потом, я на

коробочку попросила другую цену наклеить. Приказчик очень симпатичный, написал — двенадцать с полтиной. По-моему, это даже еще естественнее, чем, например, просто тринадцать или двенадцать. Не правда ли? Но до чего я устала со всеми этими дрязгами! Обо всех нужно подумать, а ведь я одна. Поручить некому, а у всех претензии. Глаша (вообрази себе нахальство!) подходит ко мне на днях и заявляет: «Будете для меня подарок покупать — купите коричневого бордо на платье». Каково! И ведь прекрасно знает, что я сама коричневое ношу!

— Распущенность! Сама виновата. Не надо распускать.

Приехали.

Швейцар торжественно распахнул двери.

— Христос Воскресе! С праздником, ваша милость!

Эту радостную весть первых христиан он произнес так спокойно и почтительно, словно докладывал: «Тут без вас господин приходили».

А Хохлов молча вытянул из-под отворота шубы бумажник, нахмурившись, вынул пять рублей и отдал их швейцару.

— Началось! — вздохнула жена.

Поднялись по лестнице.

На звонок отворила горничная и неестественно оживленно поздравила.

— Подарок после отдам,— сказала барыня и подумала: «И чего эта дура радуется? Воображает, кажется, что я ей коричневого купила».

В столовой ждали две девочки.

— Мама! — сказала одна.— Катя от большого кулича изюмину выколупала. Теперь там дырка.

— А Женя пасху руками трогала.

— Очень мило! Очень мило! — запела мать.— Вот как вы встречаете родителей. Вместо того чтобы похристосоваться и поздравить с праздником, вы вот как... А где ваша фрейлейн? Куда она девалась?

— Фрейлейн в гостиной, в зеркало смотрится,— отвечали девочки дуэтом.

— Час от часу не легче! Жалованье платишь, подарки покупаешь, а уйдешь из дому лоб перекрестить — и детей оставить не на кого. Фрейлейн Эмма! Где же вы?

Вошла фрейлейн с напряженно-праздничным лицом. В волосах кокетливо извивалась старая, застиранная лента.

Фрейлейн сделала полупоклон, полуреверанс, то есть, склонив голову, слегка лягнула ногой под юбкой, и сказала:

— Ich gratuliere...[1]

— Это очень хорошо, моя милая,— перебила ее хозяйка,— но вы также не должны забывать свои обязанности. Дети шалят, портят куличи...

У немки сразу покраснел носик.

— Я гавариль Катенько, а Катенько отвешаль, что кулиш не святой. Я не знаю русски обышай, што я могу?

— Ну, перестаньте! Об этом потом поговорим. А где Петя?

— Петя пошел к заутрени во все церкви сразу,— отвечал дуэт.— Я говорила, что мама рассердится, а он говорит, что он не просил вас, чтобы вы его рождали, и что вы не имеете права вмешиваться.

— Ах, дрянь эдакая! Ох, бессовестный! — закудахтала мать.

— В чем дело? — спросил, входя, Хохлов.— Вот вам подарок. Фрейлейн, вам браслетка. А вам, дети,— крокет.

Дети надулись.

— Какой же подарок! Крокет вовсе не подарок. Крокет еще в прошлом году обещали без всякого праздника.

— Цыц! Вон пошли! Сидите смирно или убирайтесь вон из комнаты! Не дадут отцу-матери разговеться спокойно. Где Петька?

— Во все церкви пошел... не имеете права вмешиваться... он не просил,— отвечал дуэт.

— Что такое? Ничего не понимаю. Вот я ему уши надеру, как вернется. Будет помнить! Не давать ему ни кулича, ни пасхи! Эдакая дрянь!

Хохлов сел за стол.

— Это что? Поросенок? Чего ты там в него натыкала? И к чему было фаршировать, когда я ничего фаршированного в рот не беру! Только добро портят. Муж горбом выколачивает гроши, а вы хоть бы подумали, легко ли это ему дается. Вы только сидите да

---

[1] Я поздравляю... *(нем.)*

фаршируете! Эдак, матушка, ты хоть миллион профаршируешь, раз в тебе нет никакой самокритики. Так тоже нельзя! Ну, к чему здесь, спрашивается, огурец лежит? Ну, кого ты думала огурцом удивить?

— Да я думала, что, может быть, Август Иванович разговеться заедет.

— Август Иваныч! Очень ты его огурцом удивишь! Одна фанаберия. Передай сюда яйца.

Хохлов треснул яйцом об край тарелки. Жидкий желток брызнул ему на жилетку и пошел по пальцам.

— Это что? А? Всмятку! Позвать сюда Мавру! Позвать сюда мерзавку, которая на Пасху яйца всмятку варит. А? Каково? Двенадцать рублей жалованья, яиц сварить не умеет!

Вошла кухарка, встала у дверей.

— Это что? А? Это крутое яйцо? А?

— Виновата-с! К нему в нутро тоже не влезешь. Кто его знает, отчего оно не сварилось... Я ведь тоже не Свят Дух!..

— Скажи лучше, что ты мне с жилеткой сделала! У меня жилет тридцать рублей стоит; я его десять лет ношу, а ты мне его в один миг уничтожила! С меня подарков требуешь, а сама меня по миру норовишь пустить! Вон! Чтоб духу твоего... Кто там звонит? Ага, Петя! Тебя-то мне и нужно! Ты как смел без спросу в церковь уйти? А? Отвечай!

— Да что ж, когда вы не пускаете! Я ведь тоже человек. У меня религиозная потребность...

— Ах ты, поросенок! Скажите пожалуйста, какие он отцу слова говорит! Отец на них работает, отец их воспитывает, одевает, обувает, ночей не спит да думает, как бы им хорошо было...

— А где подарки?

— Слушаться не хотят, а о подарках не забудут. Тебе мать коньки купила, только я их тебе не дам! Нет, братец! Ты воображаешь...

— Не надо мне ваших коньков! Кто ж к лету коньки дарит! Все только нарочно!

— Сам же всю осень ныл, что коньков нет!..

— Так это осенью было! А теперь я же вам намекал, что мне удочка нужна. Если вы отец, так вы и должны относиться по-родительски.

— Ах ты, поросенок! Вон отсюда! Ничего не получишь! Не давать ему ничего! Ни кулича, ни пасхи! Ничего!

— А, так вот же вам!

Петя шлепнул ладонью по пасхе и удрал в свою комнату.

— Пойду, отдам прислуге подарки,— сказала Хохлова и встала из-за стола.

Муж остался один и долго молча жевал.

— Ну что, рады небось? — спросил он, когда жена вернулась.

— Разве их чем-нибудь обрадуешь? Даже не поблагодарили... Глаша говорит, что фрейлейн плачет.

— Чего она?

— Браслетка не нравится. Не к лицу.

— Вот дура!

— Такая миленькая браслетка. И два сердечка подвешены. Им все мало!

— Ну, вот и разговелись. Теперь можно и на боковую. Слышишь? Что это там за треск? А?

— Ничего. Это девчонки крокет ломают.

— Эдакие дряни! Вот я им ужо!!

НЯНЬКИНА СКАЗКА ПРО КОБЫЛЬЮ ГОЛОВУ

— Ну, а вы какого мнения относительно совместного воспитания мальчиков и девочек? — спросила я у своей соседки по five o'clock'у.

— Как вам сказать!.. Если бы дело шло о воспитании меня самой, то, конечно, я была бы всецело на стороне новых веяний. Ах, это было бы так забавно. Маленькие романы... Сцены ревности за уроками чистописания, самоотверженная подсказка... Да, это очень увлекательно! Но для своих дочерей я предпочла бы воспитание по старой методе. Как-то спокойнее! И, знаете ли, мне кажется, все-таки неприятно было бы встретиться где-нибудь в обществе с господином, который когда-то при вас спрягал: «Nous avons, vous avons, ils avont» [1] ... или еще того хуже! Такие воспоминания очень расхолаживают.

— Все это вздор! — перебила ее хозяйка дома.— Не в этом суть! Главное, на что должно быть обращено внимание родителей и воспитателей,— это развитие в детях фантазии.

— Однако? — удивился хозяин и пожевал губами, очевидно собираясь сострить.

[1] Мы имеем, вы имеете, они имеют *(фр.)*.

— Finissez![1] Никаких бонн и гувернанток! Никаких. Нашим детям нужна русская нянька! Простая русская нянька — вдохновительница поэтов. Вот о чем прежде всего должны озаботиться русские матери.

— Pardon! — вставила моя соседка. — Вы что-то сказали о поэтах... Я не совсем поняла.

— Я сказала, что русская литература многим обязана няньке. Да! Простой русской няньке! Лучший наш поэт, Пушкин, по его же собственному признанию, был вдохновлен нянькой на свои лучшие произведения. Вспомните, как отзывался о ней Пушкин:

«Голубка дряхлая моя... голубка дряхлая моя... сокровища мои на дне твоем таятся...»

— Pardon, — вмешался молодой человек, приподняв голову над сухарницей, — это, как будто, к чернильнице...

— Что за вздор! Разве чернильница может нянчить. А все эти дивные произведения! «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин», — ведь всему этому научила его нянька!

— Неужели и «Евгений Онегин»? — усомнилась моя соседка.

— Удивительно! — мечтательно сказал хозяин дома, — такая дивная музыка... И все это нянька!

— Finissez! Только теперь я и чувствую себя спокойно, когда взяла к детям милую старушку. Она каждый вечер рассказывает детям свои очаровательные сказочки.

— Да, но, с другой стороны, излишняя фантазия тоже вредна! — заметила моя соседка. — Я знала одного дантиста... Так он ужасно много о себе воображал... То есть я не то хотела сказать...

Она слегка покраснела и замолчала.

— А сколько возни было с этими боннами! Была сначала швейцарка. Боже мой, как она нас замучила! Иван Андреич до сих пор без содрогания о ней вспомнить не может. Представьте себе, чем она нас донимала? Аккуратностью. Каждое утро все оконные стекла зубной щеткой чистила. Порядки завела прямо необыкновенные. Заставила в три часа обедать, а ужинать совсем запретила. Иван Андреич стал в клуб ездить, а я, потихоньку, к Филиппову бегала пирожки есть. Теперь положительно сама не понимаю, как

[1] Перестаньте! *(фр.)*

она такую власть над нами забрала. Прямо пикнуть не смели!

— Говорят, есть такие флюиды...— вставил хозяин, сделав умное лицо.

— Finissez! Наконец избавились от нее. Взяла немку. Все шло недурно, хотя она сильно была похожа на лошадь. Отпустишь ее с детьми гулять, а издали кажется, будто дети на извозчике едут. Не знаю, может быть, другим и не казалось, но мне, по крайней мере, казалось. Каждый может иметь свое мнение. Тем более, я — мать.

Мы не спорили, и она продолжала:

— Прихожу я раз в детскую, вижу — Надя и Леся укачивают кукол и какую-то немецкую песенку напевают. Я сначала даже обрадовалась успеху в немецком языке. Потом, как прислушалась,— Господи, что такое! Ушам своим не верю. «Wilhelm schlief bei seiner neuen Liebe!»[1] — выводят своими тоненькими голосками. Я прямо чуть с ума не сошла.

В комнату вошла горничная и что-то доложила хозяйке дома.

— А-а! Вот и отлично! Теперь шесть часов, и няня сейчас начнет рассказывать детям сказку. Если хотите, господа, полюбоваться на эту картинку в жанре... в жанре... как его? Их еще два брата...

— Карл и Франц Мор,— подсказал молодой человек.

— Да,— согласилась было хозяйка, но тотчас спохватилась: — Ах нет, на «Д»...

— Решке, что ли? — помог муж.

— Finissez! В жанре... в жанре Маковского.

— Так вот — картинка в жанре Маковского. Я всегда обставляю это так фантастично. Зажигаем лампадку, няня садится на ковер, дети вокруг. C'est poétique[2]. Так что же,— пойдемте?

Мы согласились, и хозяйка повела нас в кабинет мужа и, тихонько приоткрыв дверь в соседнюю комнату, знаком пригласила нас к молчанию и вниманию.

В детской действительно было полутемно. Горела только зеленая лампадка. И тихо. Скрипучий старушечий голос прорывался сквозь шамкающие губы и тягуче рассказывал:

---

[1] Вильгельм спит у своей новой возлюбленной! *(нем.)*

[2] Это так поэтично *(фр.)*.

— «В некотором царстве, да не в нашем государстве, жил-был старик со старухой, старые-престарые, и детей у них не было.

Вот погоревал старик, погоревал, да и пошел в лес дрова рубить.

Рубит, рубит, вдруг, откуда ни возьмись, выкатилась из лесу кобылья голова.

— Здравствуй,— говорит,— папаша!

Испугался мужик, однако делать нечего.

— Какой,— говорит,— я тебе, кобылья голова, папаша!

— А такой, что веди меня к себе в избу жить.

Потужил мужик, потужил, однако видит, делать нечего. Повел он кобылью голову к себе домой.

Подкатилась кобылья голова под лавку, три года жила, пила, ела, мужика папашей звала.

Как на третий год выкатилась кобылья голова из-под лавки и говорит мужику:

— Папаша, а папаша, я жениться хочу!

Испугался мужик, однако делать нечего.

— На ком же ты,— спрашивает,— кобылья голова, жениться хочешь?

— А так что,— говорит,— иди ты во дворец и сватай за меня царскую дочку.

Потужил мужик, потужил, однако делать нечего. Пошел во дворец.

А во дворце царская дочка жила. Красавица-раскрасавица. Носик у ей востренький, а глаза маленькие, что серпом прорезаны.

И живет она богато-богатеюще.

Все-то у нее есть, что только ее душеньке угодно. Пьет она вино шампанское, ест она масло параванское, пряником непечатным закусывает. А платье на ней с тремя оборками и манчестером отделано.

А во дворце-то палаты огромные, ни пером описать. Сам царь от стула до стула на тройке ездит.

А и слуг во дворце видимо-невидимо. В каждом углу по пятьсот человек ночует.

Стал старик царскую дочку за кобылью голову сватать.

Потужил царь, потужил, однако видит, делать нечего. Отдал дочку за кобылью голову.

Стали свадьбу играть, пошел пир горой. Поставил царь и соленого, и моченого, и жареного, и вареного, а старику подарил со своего царского плеча лапотки

новехонькие да кафтан золоченый на бумазее стеганый, и палаты каменны, и пирога кромку.

Пошел старик к своей старухе. Стали они жить-поживать да детей наживать. По усам текло, а в рот не попало!»

— C'est fantastique[1]! — хрюкнул молодой человек, зажав рот рукой.

— Тсс! Revenons[2] в гостиную!

СТРАШНЫЙ УЖАС

(Рождественский рассказ)

Кто не знает страшных рождественских метелей, когда завывание ветра смешивается со свистом бури, когда облака как будто хотят сесть на землю, когда все богатое торжествует на елках, а бедняки замерзают у дверей своих обеспеченных соседей, причиняя этим им неприятность!..

Самый яркий вымысел рождественского фельетониста, сдобренного хорошим авансом, бледнеет перед действительностью.

Николай Коньков! Маленький ребенок — Коля Коньков, замерзший и занесенный снегом в лютую рождественскую ночь!

О нем хочу я вам рассказать.

Николай Коньков был ребенком (кто из нас не был ребенком?).

Он был, собственно говоря, даже более чем ребенок, так как ему было уже тридцать пять лет, когда он приехал в Петербург в одну из вышеописанных ужасных рождественских ночей.

Правда — ни мороза, ни метели в эту ночь не было, так как дело происходило в середине июля месяца.

Да и ночи, собственно говоря, тоже никакой не было: поезд пришел ровно в 10 утра.

Но что же из этого?

---

[1] Это фантастично! *(фр.)*

[2] Вернемся *(фр.)*.

Приехал он из своего имения освежиться. В городе есть особая свежесть, которой в деревне ни за какие деньги не достанешь.

Коньков ездил обыкновенно за свежестью в Москву, в Петербурге же был новичком и потому с девственной беспечностью доверился извозчику.

Тот привез его в меблированные комнаты на Пушкинской. Коньков сунул швейцару свой чемодан и побежал искать парикмахерскую.

Он был франт.

Вышел из парикмахерской и шел домой, насвистывая, ровно ничего не подозревая.

А домой-то он и не попал!

В Петербурге каждому ребенку известно, что вся Пушкинская сплошь состоит из меблированных комнат, до такой степени друг на друга похожих, что самый опытный глаз легко может их перепутать. А неопытный и того пуще.

У Конькова глаз был неопытный и завел его не в те номера. Коридорный выяснил ошибку и вывел его на улицу.

Коньков осмотрелся и пошел в дом, что напротив.

— Вам кого? — спросил швейцар.

— Господин Коньков не здесь ли остановился?

— Нет-с. У нас таких нет.

Коньков завернул в соседний подъезд.

— Не здесь ли господин Коньков?

— А какие они из себя будут?

— Да такой... симпатичный, — с чувством ответил Коньков. — Симпатичный, среднего роста. Вроде меня.

— Нет, такого не видали!

— Гм... а ведь он у вас паспорт оставил...

Коньков упал духом.

«И так еще хорошо, дом запомнил!.. Подъезд, а слева ворота, а у ворот мальчик стоит».

Он сунулся еще в один подъезд, но швейцар сказал ему сухо:

— Как вы туточа уже два раза были, так я един дух дворников крикну. А в участке живо разберут, кто кому Коньков.

Есть натуры, которые не теряются в минуты самой грозной опасности.

Не растерялся и Коньков. Он нанял извозчика и поехал к Палкину завтракать.

Народу в ресторанах было мало. Рядом за столиком сидел толстый господин и, поглядывая на Конькова, с чувством повторял:

— Ч-черт!

Заметив это, Коньков, как человек воспитанный, встал и представился.

— Чучело! — завопил господин. — Да ведь я Данилов! Мишка Данилов! Вместе в полку служили.

— А! И давно ты здесь?

— Да уж третий год.

— Третий год у Палкина? Ну, и штучка же ты!

— В Петербурге третий год, а не у Палкина. Вместе обедать будем?

— Не могу. Занят по горло. Еду в адресный стол узнавать, где я живу.

Рассказал свое горе. Данилов помог советом. Утешал и успокаивал:

— Ты, братец, не торопись. Все равно за это время они все твои вещи раскрали. А ночуй у меня. Третья рота, дом 5, квартира 73.Сам я вернусь поздно, а ты располагайся. Скажи прислуге, чтоб тебе в кабинете постелили.

В три часа ночи изрядно освежившийся Коньков разыскал пятый дом в третьей роте.

— Б-барин велел постелить в каб-бинете... — пролепетал он перед изумленной горничной.

Спал хорошо. Проснулся около двенадцати.

В доме было тихо. В приотворенную дверь высматривало круглое бритое стариковское лицо с седоватыми усами. Под лицом виднелась военная тужурка.

— А! Вы проснулись! — сказало лицо и вошло в комнату.

— Как видите, — зевнул Коньков и закурил папиросу.

Гость подошел и как-то сконфуженно присел на кончик кровати. Конькову захотелось подбодрить его.

— А вы что же... Тоже здесь ночевали?

— Да-с... и я тоже. Я здесь уже четвертый месяц... ночую...

— Ишь! И не гонит он вас, ха-ха?

— Кто?

— Да хозяин.

— Зачем же ему гнать? Ведь я плачу. Шестьдесят пять рублей...

— Шестьдесят пять? Вот выжига! Столько драть! Он эдак скоро разбогатеет.

— У него и так два дома,— сказал старичок.

— Два дома! А он молчит! Я, признаюсь, сам заметил, когда он еще селедку ел. Что-то такое, эдакое... А ведь все-таки он болван! Ведь болван — Мишка Данилов? А?

Старичок словно обиделся:

— Ну, знаете, уж об этом судить не берусь.

Коньков знал людей и подумал:

«Лебеза, подлиза приживальная! Знаем мы вас!» — И спросил:

— А что, он уже встал?

— Кто?

— Да хозяин.

— А я-то почем знаю!

— И чудак же вы! В одном доме живете и ничего не знаете!

— И вовсе не в одном доме. Он на Сергиевской живет.

— Мишка Данилов?

Старичок чуть не заплакал.

— Да не Мишка, Господи! Домовладелец мой на Сергиевской живет. Купец Каталов. Господи! Страдаю исключительно от своей деликатности!

Коньков усмехнулся и стал одеваться.

— Это вы-то?

— Ну, а я! Другой выгнал бы вас давно! Залез в чужой дом и спит! И спи-ит!

— Па-азвольте! Меня сам Данилов пригласил...

Старичок похлопал его по плечу и той же рукой показал наверх.

— Там Данилов! Там! Поняли?

— Умер? — догадался Коньков и сразу взял себя в руки, чтоб не малодушничать...

— Наверху он! — надрывался старичок.— Наверху живет. В третьем этаже. А я Карасев в отставке. Карасе-ев! Господи!

* * *

Страшно в рождественскую ночь, когда смерть, обнявшись с бурей, танцует и гикает, взвиваясь снежным вихревым костром... В рождественскую ночь вспомним о бесприютных.

ЗА СТЕНОЙ

Кулич положительно не удался. Кривой, с наплывшей сверху коркой, облепленный миндалинами, он был похож на старый, гнилой мухомор, разбухший от осеннего дождя. Даже воткнутая в него пышная бумажная роза не придала ему желанной стройности. Она низко свесила свою алую головку, словно рассматривая большую заплатку, украшавшую серую, чайную скатерть, и еще более подчеркивала кособокость своего пьедестала.

Да, кулич не удался. Но все точно молча сговорились не придавать значения этому обстоятельству. Да оно и вполне понятно: мадам Шранк, как хозяйке дома, невыгодно было бы указывать на недостатки своего угощения, мадам Лазенская была гостьей, приглашенной разговляться, и, как водится, должна была все находить превосходным. Что же касается кухарки Аннушки, то уж ей положительно не было никакого расчета обращать внимание на свою собственную оплошность.

Прочее же угощение не оставляло желать ничего лучшего: нарезанная маленькими кусочками ветчина, чередуясь с ломтиками копченой колбасы, изображала на тарелке двухцветную звезду. Жареная курица, раскинувшись в самой беззащитной позе, показывала, что она начинена рисом. Маленькая сырная пасха была на вид довольно неказиста, но зато так благоухала ванилью, что нос мадам Лазенской сам собой поворачивался в ее сторону. Выкрашенные в яркие цвета яйца оживляли всю картину.

Мадам Лазенская уже давно была не прочь приступить к закуске. Она старалась из приличия не смотреть на стол, но все ее маленькое острое личико со взбитыми жиденькими волосами и грязной лиловой ленточкой на сморщенной шее выражало напряженное ожидание. Приподняв безволосые, подчерненные спичкой брови, она то с интересом разглядывала покрытую вязаной салфеткой этажерку, которую видела ежедневно в продолжение девяти лет, то, опустив глаза и собрав в комочек беззубый рот, скромно теребила обшитый рваным кружевом носовой платочек.

Хозяйка, толстая брюнетка, с отвисшими, как у сердитого бульдога, щеками, важно ходит вокруг стола, разглаживая серый, вышитый передник на

своем круглом животе. Она прекрасно понимает состояние мадам Лазенской, питавшейся весь пост печеным картофелем без масла, но напускное равнодушие сердит ее,и она нарочно томит свою гостью.

— Еще рано,— гудит ее могучий бас.— Еще в колокол не ударили.

Она говорит с сильным немецким акцентом, выставляя вперед толстую верхнюю губу, украшенную черными усиками.

Гостья молча теребит платочек, затем заводит разговор на посторонние темы.

— Завтра, наверно, получу письмо от Митеньки. Он мне всегда на Пасху присылает денег.

— И глупо делает. Все равно на духи растранжирите. Кокетка!

Мадам Лазенская заискивающе смеется, сложив рот трубочкой, чтобы скрыть отсутствие передних зубов.

— Хю-хю-хю! Ах, какая вы насмешница!

— Я правду говорю,— гудит поощренная хозяйка.— К вам в комнату войдешь — как палкой по носу. И банки, и склянки, и флаконы, и одеколоны — настоящая обсерватория.

— Хю-хю-хю! — свистит гостья, бросая кокетливый взгляд на этажерку.— Женщина должна благоухать. Тонкие духи действуют на сердце... Я люблю тонкие духи! Нужно понимать. Вербена — запах легкий и сладкий; амбр-рояль — густой. Возьмите две капельки амбре, одну капельку вербены и получите дух настоящий... настоящий,— она пожевала губами, ища слова,— земной и небесный. А то возьмите основной дух Трефль инкарнат, пряный, точно с корицей, да в него на три капли одну белого ириса... С ума сойдете! Прямо с ума сойдете!

— Зачем мне с ума сходить,— иронизирует мадам Шранк.— Я лучше схожу к Ралле, куплю цветочный одеколон.

— Или возьмите нежную Икзору,— не слушая, продолжает фантазировать мадам Лазенская,— а к ней подлейте одну каплю тяжелого Фужеру...

— Я всяко ж больше всего люблю ландыш,— перебивает ее густой бас хозяйки, решившей, что пора наконец показать, что и она кое-что в духах смыслит.

— Ландыш? — удивляется гостья.— Вы любите ландыш? Хю-хю-хю! Ради Бога никому не говорите, что

вы любите ландыш! Ах, Боже мой! Да вас засмеют! Хю-хю-хю! Ландыш! Пошлость какая!

— Ах, ах! Какие нежности! — обижается мадам Шранк.— Как все это важно! Ума большого не вижу, чтобы морить себя голодом — на духи деньги копить! Ужасная прелесть,— аромат на три комнаты, а лицо с кулачок.

Мадам Лазенская, низко нагнув голову, отчищает ногтем какое-то пятнышко на своей кофточке. Видны только большие ярко-малиновые уши.

— Пора,— заявляет наконец хозяйка, усаживаясь за стол,— Аннушка! Тащи кофей!

Мадам Шранк звонков в комнатах не признавала. Голос ее гудел, как китайский гонг, и был слышен одинаково хорошо во всех углах и закоулках маленькой квартирки. Часто случалось, что она, прибирая в передней, ворчит, а кухарка из кухни подает ей во весь голос реплики. Для того чтобы разговаривать с мадам Шранк, вовсе не нужно было находиться с ней в одной комнате.

— Тащи скорей!

Вдали раздался грохот упавшей кочерги, визг собачонки, и в дверях показалась мощная фигура Аннушки, в ярко-красной кофте, стянутой старым офицерским поясом. Натертые ради праздника свеклой круглые щеки соперничали колоритом с лежавшими на блюде пасхальными яйцами. Волосы грязно-серого цвета были жирно напомажены и взбиты в высокую прическу, увенчанную розеткой из гофрированной зеленой бумажки с аптечного пузырька. Скромно опустив глаза, словно стыдясь своей собственной красоты, поставила Аннушка поднос с кофейником и чашками.

— Надень передник, чучело! — мрачно загудела мадам Шранк.— Кто тебе позволил воронье гнездо на голове завивать? Взгляните, мадам Лазенская, как она себе щеки нащипала! Га-га-га!

— Хю-хю-хю! — свистит птицей мадам Лазенская.

— И неправда, и не думала щипать,— оправдывается Аннушка, осторожно водя по лицу рукавом платья.— Ей-Богу! вон образ-то на стене... Ей-Богу, от жары. Кулич пекла, куру жарила... В кухне такое воспаление.

Она уходит, сердито хлопнув дверью.

— Каково! — возмущается хозяйка.— Нельзя слова сказать! Это называется прислуга! Накрасится, волосы

размочалит, и не подступись к ней. И каждое воскресенье так. Как все уйдут — сейчас щеки намажет, офицерский кушак напялит и давай обедню петь. А я нарочно вернусь, открою дверь своим ключом и все в передней слушаю. Часа два поет во все горло: «Господи помилуй! Господи помилуй!» Ревет, как бык. Прямо у меня все нервы трещат. Еще какой-нибудь дурак-квартирант подумает, что это я так пою...

— Жалко Дашу,— вставляет мадам Лазенская,— та была гораздо скромнее.

— Н-ну! Каждый день новый уважатель. Все у них уважатели на уме!

Мадам Лазенская мнется и молчит.

— Удивительное дело,— продолжает хозяйка, разрезывая курицу.— Все у них уважатели. Ну, Аннушка, та, по крайней мере, со двора не ходит...

— Завтра пойду,— раздается вопль из кухни.— Хоть зарежьте, пойду... Перед людьми стыдно! И так старший дворник проходу не дает. Когда же ты, говорит, ведьма, со двора пойдешь? Первый раз, говорит, такого черта вижу, что никогда со двора не ходит.

— Каково! — удивляется хозяйка.— Куда же ты пойдешь, у тебя здесь никого нет?

— Мало ли куда... На кладбище пойду на какое-нибудь. У нас в деревне, как праздник, все на кладбище идут. Нашли тоже дуру,— не знаю я, куда идти! Почище других знаю!

— Перестань орать, у меня от тебя нервы трещат!

Мадам Шранк подходит к буфету и, повернувшись спиной к мадам Лазенской, что-то переставляет, тихо звеня рюмками. Затем слегка откидывает голову назад и, заперев буфет, возвращается на место, смущенно покашливая. Гостья все время внимательно рассматривает этажерку.

Она давно знакома с этим маленьким маневром и знает, что, проделав его, мадам Шранк становится необыкновенно патриотичной и любит говорить о Германии, которую никогда и в глаза не видала, так как родилась и выросла в Петербурге. Мадам Лазенская в таких случаях немножко обижается за Россию и старается замять разговор. Противоречить она не смеет, чувствуя себя всегда немножко виноватой перед своей усатой собеседницей. Дело в том, что, занимая у мадам Шранк крошечную комнатку, она часто не может

заплатить за нее в срок, и мадам Шранк снисходительно допускает рассрочку.

— Подобной прислуги в Берлине не бывает,— укоризненно говорит хозяйка, отправляя в рот большой кусок ветчины.

Гостья молчит, подбирая вилкой рис.

Мадам Шранк долго придумывает, что бы ей сказать неприятного:

— Вы что молчите? Верно, мечтаете, какие духи на Митенькины деньги покупать будете? Охота ему посылать! Есть еще на свете глупые сыновья! После вас ведь ему ничего не останется. А что от отца осталось, то вы в три года успели фю-ю по ветру...

Лицо мадам Лазенской покрывается пятнами.

— Знаете, мадам Шранк,— быстро перебивает она.— Я сегодня видела красное сукно, точно такого цвета, как у меня амазонка была. Помните, я вам рассказывала? Ну, точь-в-точь, точь-в-точь...

— Еще бы вам не знать амазонку, когда вы в три года двадцать тысяч с офицерами верхом проскакали.

— Хю-хю-хю! — лебезит гостья, желая умилостивить обличительницу.

— Вы чего смеетесь?

— Так, я вспомнила смешное,— пугается мадам Лазенская,— вы вчера рассказали про того старика...

Лицо мадам Шранк медленно растягивается в улыбку; глаза щурятся, углы рта глубоко въезжают в мягкие щеки.

— Го-го-го! «Позвольте, сударыня, вас проводить...» Оборачиваюсь: Господи! Ножки тоненькие, еле стоит, обеими руками за палку держится... Нос синий — весь бровь седой... «Вы? Меня провожать? Вам нужно скорей домой бежать». Он на меня глаза выпучил, ничего не понимает... «Бегите, говорю, домой — вам умирать пора, скорей бегите!» Га-га-га! А он как заплевался, га-га-га! — ужасно рассердился.

— Ох, перестаньте! Хю-хю-хю! Ох, вы меня уморите! Хю-хю-хю! Ах, уж эта мне мадам Шранк, всегда что-нибудь!..

— Скорей, говорю, торопитесь. Всяко ж неприятно, если на улице...

— Ох! Хю-хю-хю!..

— Ну, перестаньте, мадам Лазенская! С вас вся пудра обсыпалась.

Обе дамы, несмотря на десятилетнее совместное сожительство, никогда не звали друг друга по имени. Как-то одна из родственниц мадам Шранк спросила у нее, как имя ее жилички, и та, к своему собственному удивлению, призналась, что никогда не полюбопытствовала узнать об этом.

— Ах, эти мужчины! — томно вздыхает мадам Лазенская.— Мне Лизавета Ивановна рассказывала...

— Все врет ваша Лизавета Ивановна,— вдруг вспыхивает порохом хозяйка.— И ничего она рассказывать не может на своем чухонском языке. Сегодня увязалась со мной в мясную, руками машет, кричит, мне перед прохожими стыдно. Переходим через улицу, я говорю: «Идите скорее», а она как завизжит: «Не могу скорей, на меня лошади наступили». Прямо срам! Ну, сказала бы: «Извините, мадам Шранк, я нахожусь в большом толпа лошадей». Столько лет живет в Петербурге, говорить не умеет. Чухонка!

Мадам Лазенской очень хочется попробовать колбасы, но она боится заявить о своем желании, когда хозяйка так расстроена, и снова меняет тему разговора.

— Да, эти мужчины, прямо такие... такие...

Мадам Шранк настораживается, как дрозд, которому подсвистнули знакомый мотив.

— Скушайте колбасы! Что вы так мало? Всяко ж мужчины презабавный народ. Был у меня один нахлебник — молодой, красивый, адмирала сын. Он сам из Харькова, в Петербург приехал экзамен на генерала держать на штатского... У вас, говорит, мадам Шранк, на щеках розьи лепестки...

— Он при мне, кажется, не приходил?

— Нет, он года за два до вас был. Га-га!.. Розьи лепестки!

— Чудное средство от морщин — помада крем-симон,— некстати вставляет мадам Лазенская.— Вы попробуйте, мадам Шранк. Это прямо удивительно, как она действует на кожу! Я всю жизнь ничего, кроме крем-симон, не употребляла. Каждое утро и каждый вечер немножко на ватку и потом вот так втирать... Вы непременно должны...

— Га-га-га! — добродушно колышется хозяйка.— Если бы вы мне не сказали, что вы ее употребляете, может быть, я бы и попробовала. А уж как предупредили,— покорно благодарю. Уж больше морщин,

как на вашем лице, никогда в жизни не видывала! Ей-Богу, мадам Лазенская, уж вы не обижайтесь,— никогда в жизни!

Гостья краснеет и криво улыбается.

— И всяко ж вы транжирка,— продолжает хозяйка.— Деньги нельзя на всякие там симоны да ликарноны тратить. Деньги нужно копить. Вот когда муж был жив да у меня в ушах бриллианты с кулак болтались, поверьте, совсем иначе ко мне люди относились. Что ни скажу — все умно было. Теперь небось никто не кричит про мой ум, а как вспомню, так и тогда все одни глупости говорила. Деньги — великое дело. Будь у вас деньги, вы бы тоже умнее всех были, и полковники бы у вас в гостях сидели, и приз бы за красоту получили.

Мадам Лазенская, расцветая кокетливо-смущенной улыбкой, оправляет на шее лиловую ленточку, а мадам Шранк снова подходит к буфету и звенит рюмками...

— У нас, в Берлине, умеют деньги ценить. У нас в Берлине все умеют. Откуда на Невском электрические фонари? От немцев! Откуда дома большие? Немцы выстроили. И материи, и шелк, и всякие науки — история, география — все от немцев, все они выдумали!

Мадам Лазенская краснеет и бледнеет. Ей хочется возразить, но она не знает, что сказать, и, кроме того, она еще не попробовала пасхи, а после политических споров приличие требовало удалиться в свою комнату.

— Как у вас искусно сделана эта розочка в куличе, прямо хочется понюхать,— говорит она дрожащими губами.

Мадам Шранк, зловеще помолчав, вдруг сообщает:

— Лизаветы Ивановны жилец читал в газетах, что в Берлине было большое землетрясение. Очень большое. У русских никогда не бывает землетрясения.

Это было слишком много даже для мадам Лазенской. Она вдруг вся задрожала и покрылась красными пятнами.

— Неправда! Неправда! — закричала она тоненьким, прерывающимся визгом.— В России несколько раз было землетрясение. В Верном было...

— Это не считается,— деланно спокойным басом говорит хозяйка,— это за Балканским морем, это уже не натуральная Россия...

— Неправда! — судорожно трясет кулачком мадам Лазенская.— Это вы нарочно... Вы думаете, что

я бедная, так у меня нет отечества!.. Стыдно вам! Все знают, что у русских было землетрясение! Это нечестно! Вы все врете! Вы про старика уж пятый год рассказываете и всегда говорите, что это на днях было. Стыдно вам!

Она вскочила и, быстро затопав каблучками, натыкаясь на стулья, побежала в свою каморку и заперлась на крючок.

В каморке было тихо, и через открытую форточку вместе с крепким и влажным запахом весны протяжно вливался тихий гул пасхального благовеста. Он томил и тревожил душу, как отзвук далекой чужой радости, и тихо колебал воздух глубокими тяжелыми волнами.

За окном — стена, начинающаяся где-то далеко внизу, уходила высоко в тусклое небо, бесконечная, гладкая, серая...

В каморке было тихо, и никто не мешал мадам Лазенской выплакаться. Она плакала долго, низко опустив голову и упершись локтями в подоконник. Потом, когда слезы иссякли и чувство острой обиды притупилось и успокоилось, она встала, подошла к комоду и, выдвинув верхний ящик, вытащила завернутый в шелковую тряпочку флакон. Она осторожно вынула пробку и медленно потянулась носом вперед, вдыхая содержимое вздрагивающими ноздрями. Затем снова заботливо завернула флакон и тихо и ласково, словно спеленутого ребенка, уложила его на прежнее место.

Медленно, еще дрожащей после волнения рукой, придвинула она коробочку с пудрой и, обтерев пуховкой лицо, развесила на спинке стула мокрый носовой платочек, тщательно расправив рваные кружевца.

— Аннушка,— загудел вдали голос мадам Шранк,— скажи мадам Лазенской, пусть идет пить кофе, когда у нее дурь пройдет. Я не могу всю ночь ждать. Здесь вот пасхи кусок. Остальное снесу на холод. Я спать иду. У меня у самой нервы трещат.

Сердце мадам Лазенской громко застучало. Она знает, что Аннушка давно спит и что хозяйка говорит нарочно для того, чтобы она, Лазенская, услышала.

Она тихонько подкрадывается к двери и прислушивается, выжидая ухода мадам Шранк, чтобы выйти в столовую.

Стена за окном чуть-чуть розовеет под первыми алыми лучами восходящего солнца. Рассветный живой ветерок дерзко стукнул форточкой и, пробежав легкой струйкой, колыхнул сохнувший на стуле платочек.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Настроение в классной комнате какое-то натянутое. Второй день не дерутся.

Павлику не по себе. Он сидит над книгой и тихо похныкивает, глядя на лампу, подвешенную высоко «от греха подальше».

Борька, толстый, безбровый, хмурит лоб и зубрит по бумажке.

— Р. С.-Д. Р. П., Д. К. и Р. Д. ... Нет, не Д. К., а К.-Д., К.-Д., К.-Д.

— Хм! — хнычет Павлик.— И чего ты бесишься. Все равно все знают, что у нас в приготовительном самые трудные предметы. У нас все предметы начинаются, а у вас все только повторяют. Это всем известно.

— К.-Д., К.-Д., К.-Д.,— кудахтает Борька.

— Хм! Хм! Меня завтра из батюшки спросят, а я ничего не могу выучить. Вчера спросили, я все великолепно знал, а он кол влепил.

— Р. С.-Д. Р. П., Р. С.-Д. Р. П. А что же тебя спрашивали? — с легким налетом презрения кидает Борька.

— Спросили про двунадесятые праздники. Я ему почти все назвал: Пасху назвал, Вознесенье назвал, Елку назвал, Введенье назвал, Масленицу назвал...

— Дурак! Масленица не двунадесятая. Р. С.-Д. Р. П.

— Я ему все назвал, и Илью назвал, а он...

— Перестань скулить! Р. П. С.-Р. ... У меня революция на носу. Большевик, меньшевик, фракция, фракция, фракция... Большевик, меньшевик...

Павлик уныло посмотрел на маленький круглый Борькин нос, на котором была революция, и захныкал дальше.

— Хм! Заповеди все знаю, а он нарочно сбивает, чтобы...

— Врешь,— неожиданно обрывает Борька.— Не можешь ты всех заповедей знать.

— Нет, знаю.

— Ну, скажи, какую знаешь.

— Все знаю. И третью знаю.

— Ну, скажи, про что в третьей говорится?

— Про родителей.

— А что про родителей?

— «Да не прелюбо да сотворите» говорится. Я все знаю. А ты ничего не знаешь, ты ерунду зубришь. Латинскую азбуку.

— Эх ты, курица! Это не латинская азбука. Это мне Паша Коромысленников записал. Это, братец ты мой, фракция, а не ерунда. Паша Коромысленников не такой человек, чтоб ерундой заниматься. Он, братец ты мой...

— А что такое фракция?

— Это, братец ты мой, тебе еще рановато знать. Вот перейдешь в следующий класс, тогда... Паша Коромысленников светлая личность!

Борька глубокомысленно хмурит то место, где должны быть брови, и, понизив голос, продолжает:

— У Паши Коромысленникова чудный револьвер! Браунинг. Великолепный! Маузеровской работы. Он несколько тысяч стоит, и то без пуль. Пули покупаются отдельно. Тоже несколько тысяч. Но мы будем сами пули лить. Своего отлива прочнее. Будем копить свинец из-под Гала-Петер. Этого, конечно, мало... Ну, да там видно будет. Мне тоже придется обзавестись оружием.

— А тебе зачем?—криво усмехается Павлик. Он уже давно почувствовал уважение к брату, но еще совестно показать это.

— Я, видишь ли, братец ты мой, сделал маленькую оплошность. Может быть, ты и не заметил, но кое-кто, наверное, намотал себе на ус. Дело в том, что я вчера за обедом брякнул во всеуслышание, что я социал-демократ. Теперь Паша Коромысленников советует мне спать с оружием. Пример Герценштейна служит ярким доказательством того, что черная сотня не пощадит никого из нас...

Павлик уже не усмехается. Глаза у него стали круглые.

— Да-с, братец ты мой,—продолжает Борька.— Дело—табак! Конечно, я мог бы, например, завтра же за обедом заявить, что я не социал-демократ, а что я принадлежу к фракции союза активных крамол, то есть борьбы (ты ведь все равно не понимаешь). Этим я бы себя спас. Но Борис Сухарев не таков, братец ты мой! Ты еще узнаешь, что такое Борис Сухарев. А теперь—засохни! Не мешай. Р.С.-Д. Р.П., Р.С.-Д. Р.П., Р.С.-Д.Р.П.

Некоторое время Павлик молча и сосредоточенно рисует чернилами рожи у себя на ногтях.

Разрисовал всю левую руку—на каждом ногте по роже. Мрачно полюбовался. Принялся за правую руку.

Здесь дело не налаживалось. Павлик не умел рисовать левой рукой. Опять стало скучно. Пришлось захныкать.

— Хм... хм... Все равно хоть все на память вызубри, а он кол влепит. Я ему все Вознесенье хорошо ответил; все правильно рассказал, только заглавие спутал, сказал, что это Сретенье, а он... А Петя говорит, что если я из батюшки срежусь, так меня на второй год засадят.

— Засохни! П.П.С., П.Н.С. ... У меня теперь трудное пошло. П.П.С., П.Н.С. ...

— Из русского разбор задал, а я не могу...

— Что ты не можешь, курица?

— Не могу пустынника.

— Какого пустынника?

— Задано «Пустынник гулял в пустыне». Пустыня — имя существительное, нарицательное... А пустынник... а пустынник — глагол?

— Глагол? — задумывается Борька. — Ну, это ты, братец, того... Как же тогда второе лицо?

— Ты пустынник... — безнадежно тянет Павлик.

— Нет, это ты, братец мой, путаешь. Это так кажется, что глагол, потому что пустынник предмет воодушевленный. А ты возьми предмет невоодушевленный. Например, стол. Что такое — стол?

— Глаго-ол...

— Вот курица! Как же будущее время, если глагол?

— Столу-у, хм...

В соседней комнате часы бьют восемь. Борька в отчаянии хватается за голову.

— Сейчас чай пить позовут, а я ни в зуб ногой. Будь товарищем, спроси меня вот по этой бумажке, только не подсказывай, я сам...

Павлик берет бумажку и, мрачно насупившись, начинает:

— Что такое К.-Д.?

— Да ты не по порядку! Ты вразбивку спрашивай. По порядку и дурак скажет.

— Что такое максималисты?

— Ну, это легко. Это те, которые в Фонарном переулке. Валяй дальше!

— Что такое П.Д.Р.?

— П.Д.Р.... П.Д.Р. ... Постой, ты, верно, не так спрашиваешь. Да, П.Д.Р. Партия демократических реформ, правей К.-Д., левей С.-Д.

— Что такое Р. С.-Д. Р.П.?

— Гм... Как?

— Р.С.-Д. Р.П.

— Ты, верно, опять спутал.

— Р.С.-Д. Р.П.— настойчиво тянет Павлик.

— Пошел к черту! Мекеке! Мекеке! Туда же берется спрашивать. Сказано, курица — ну и молчи! Давай сюда записку!

В столовой зазвенели ложки. Сейчас позовут чай пить. Скучно Павлику и тревожно. Что-то завтра будет из батюшки... И разве пустынник наверное глагол?..

Борька отдувается и фыркает: «Фракция, фракция, фракция...»

Молодчина Борька. Хорошо быть большим и умным!..

УТЕШИТЕЛЬ

Мишеньку арестовали.

Маменька и тетенька сидят за чаем и обсуждают обстоятельства дела.

— Пустяки,— говорит тетенька.— Мне сам господин околоточный надзиратель сказал, что все это ерунда. Добро бы, говорит, студент, а то гимназист-третьеклассник. Пожучат, да и выпустят.

— Пожучить надо,— покорно соглашается маменька.

— А потом тоже, и пистолет-то ведь старый, его и зарядить нельзя. Это всякий может понять, что, не зарядивши, не выпалишь.

— Ох, Мишенька, Мишенька! Чуяло твое сердце. Он, Верушка, как эту пистоль-то завел, так сам три ночи заснуть не мог. Каждую минутку встанет да посмотрит, как эта пистоль-то лежит. Не повернулась ли, значит, к нему дыркой. Я ему говорю: «Брось ты ее, отдай, у кого взял». И бросить нельзя — товарищи велели.

— Так ведь оно незаряжено?

— Незаряжено-то оно незаряжено, да Мишенька говорит, что в газетах читал, быдто как нагреется пистоль от солнца, так и выстрелит; и заряживать, значит, не надо. В Америке быдто нагрелась, да ночью целую семью и ухлопала.

— Да солнца-то ведь ночью не бывает,— сомневается тетенька.

— Мало что не бывает. За день разогреется, а ночью и палит.

— Не спорю, а только много и врут газеты-то. Вот намедни Степанида Петровна тоже в газете вычитала, быдто на Петербургской стороне продается лисья шуба за шестнадцать рублей. Ну, статочное ли дело? Чтобы лисья шуба...

— Врут, конечно, врут. Им что!.. Им все равно. Что угодно напишут.

Дверь неожиданно с треском распахивается. Входит гимназист — Мишин товарищ. Щеки у него пухлые, губы надуты, и выражение лица зловещее.

— Здравствуйте! Я зашел... Вообще считаю своим долгом успокоить. Волноваться вам, в сущности, нечего. Тем более что вы, наверно, были подготовлены...

У маменьки лицо вытягивается. Тетенька продолжает безмятежно сплевывать вишневые косточки.

— Можете, значит, отнестись к факту спокойно. Климат в Сибири очень хорош, особенно полезен для слабогрудных. Это вам каждая медицина скажет.

Тетенька роняет ложку. У маменьки глаза делаются совсем круглыми, с белыми ободочками.

— Вот видите, как вы волнуетесь,— с упреком говорит гимназист.— Можно ли так... из-за пустяков. Скажите лучше, были ли найдены при обыске компром... прометирующие личность вещи?

— Ох, Господи,— застонала маменька,— пистоль эту окаянную да еще газетку какую-то!

— Газету? Вы говорите: газету? Гм... Осложняется... Но волноваться вам совершенно незачем.

— Может быть, газета-то и не к тому...— робко вмешивается тетенька.— Потому он на газету-то только глазом метнул, да и завернул в нее пистолет. Может быть...

Гимназист криво усмехнулся, и тетенька осеклась.

— Гм... Ну, словом, вы не должны тревожиться. Газета. Гм... Тем более что тюремный режим очень хорошо действует на здоровье. Это даже в медицине написано. Замкнутый образ жизни, отсутствие раздражающих впечатлений — все это хорошо сохраняет... сохраняет нервные волокна... Каледонские каторжники отличаются долговечностью. Михаил может дотянуть до глубокой старости. Вам, как матерям, это должно быть приятно.

— Голубчик,— вся затряслась маменька,— голубчик! Не томи! Говори, говори все, что знаешь. Уж лучше сразу!..

— Сразу! Сразу,— всхлипнула тетенька.— Не надо нас готавливать... Мы тверды...

— Говори, святая владычица.

Гимназист пожал плечами.

— Я вас положительно не понимаю. Ведь ничего же нет серьезного. Нужно же быть рассудительными. Ну, газета, ну, револьвер. Что за беда! Револьвер, гм... Вооруженное сопротивление властям при нарушении судебной обязанности... В прошлом году, говорят, расстреляли одного учителя за то, что тот очки носил. Ей-Богу! Ему говорят: «снимите очки». А он говорит: я, мол, ничего не могу невооруженным глазом. Вот его за вооружение глаз и расстреляли. Что же касается Михаила, то, само собой разумеется, что револьвер будет посерьезнее очков. Да и то, собственно говоря, пустяки, если принять во внимание процент рождаемости...

Маменька, дико вскрикнув, откидывается на спинку дивана. Тетенька хватается за голову и начинает громко выть.

В дверь просовывается голова кухарки.

— Ну, разве можно так волноваться! Ай, как стыдно! — ласково журит гимназист.

Кухарка голосит: и на ко-го ты нас...

— Ну-с, я вечерком опять зайду,— говорит гимназист и, взяв фуражку, уходит с видом человека, удачно исполнившего тяжелый долг.

КОРСИКАНЕЦ

Допрос затянулся, и жандарм почувствовал себя утомленным; он сделал перерыв и прошел в свой кабинет отдохнуть.

Он уже, сладко улыбаясь, подходил к дивану, как вдруг остановился, и лицо его исказилось, точно он увидел большую гадость.

За стеной громкий бас отчетливо пропел: «Марш, марш вперед, рабочий народ!..»

Басу вторил, едва поспевая за ним, сбиваясь и фальшивя, робкий, осипший голосок: «ря-бочий наред...»

— Эт-то что? — воскликнул жандарм, указывая на стену.

Письмоводитель слегка приподнялся на стуле.

— Я уже имел обстоятельство доложить вам на предмет агента.

— Нич-чего не понимаю! Говорите проще.

— Агент Фиалкин изъявляет непременное желание поступить в провокаторы. Он вторую зиму дежурит у Михайловской конки. Тихий человек. Только амбициозен сверх штата. Я, говорит, гублю молодость и лучшие силы свои истрачиваю на конку. Отметил медленность своего движения по конке и невозможность применения выдающихся сил, предполагая их существование...

«Крявавый и прявый...» — дребезжало за стеной.

— Врешь! — поправлял бас.

— И что же — талантливый человек? — спросил жандарм.

— Амбициозен даже излишне. Ни одной революционной песни не знает, а туда же лезет в провокаторы. Ныл, ныл... Вот, спасибо, городовой, бляха № 4711... Он у нас это все, как по нотам... Слова-то, положим, все городовые хорошо знают, на улице стоят, — уши не заткнешь. Ну, а эта бляха и в слухе очень талантлива. Вот взялся выучить.

— Ишь! «Варшавянку» жарят, — мечтательно прошептал жандарм. — Самолюбие вещь не дурная. Она может человека в люди вывести. Вот Наполеон — простой корсиканец был... однако достиг, гм... кое-чего.

«Оно горит и ярко рдеет.

То наша кровь горит на нем», — рычит бляха № 4711.

— Как будто уж другой мотив, — насторожился жандарм. — Что же он, всем песням будет учить сразу?

— Всем, всем. Фиалкин сам его торопит. Говорит, быдто какое-то дельце обрисовывается.

— И самолюбьище же у людей!

«Семя грядущего...» — заблеял шпик за стеной.

— Энергия дьявольская, — вздохнул жандарм. — Говорят, что Наполеон, когда еще был простым корсиканцем...

Внизу с лестницы раздался какой-то рев и глухие удары.

— А эт-то что? — поднимает брови жандарм.

— А это наши, союзники, которые на полном пансионе в нижнем этаже. Волнуются.

— Чего им?

— Пение, значит, до них дошло. Трудно им...

— А, ч-черт! Действительно, как-то неудобно. Пожалуй, и на улице слышно, подумают, митинг у нас.

— Пес ты окаянный! — вздыхает за стеной бляха.— Чего ты воешь, как собака? Разве ревоционер так поет! Ревоционер открыто поет. Звук у него ясный. Кажное слово слышно. А он себе в щеки скулит, да глазами во все стороны сигает. Не сигай глазами! Остатний раз говорю. Вот плюну и уйду. Нанимай себе максималиста, коли охота есть.

— Сердится! — усмехнулся письмоводитель.— Фигнер какой!

— Самолюбие! Самолюбие,— повторяет жандарм.— В провокаторы захотел. Нет, брат, и эта роза с шипами. Военно-полевой суд не рассуждает. Захватят тебя, братец ты мой, а революционер ты или честный провокатор, разбирать не станут. Подрыгаешь ножками.

«Нашим потом жиреют обжо-ры»,— надрывается городовой.

— Тьфу! У меня даже зуб заболел! Отговорили бы его как-нибудь, что ли.

— Да как его отговоришь-то, если он в себе чувствует эдакое, значит, влечение. Карьерист народ пошел,— вздыхает письмоводитель.

— Ну, убедить всегда можно. Скажите ему, что порядочный шпик так же нужен отечеству, как и провокатор. У меня вон зуб болит...

«Вы жертвою пали...» — жалобно заблеял шпик.

— К черту! — взвизгнул жандарм и выбежал из комнаты.— Вон отсюда! — раздался в коридоре его прерывающийся, осипший от злости голос.— Мерзавцы. В провокаторы лезут, «Марсельезы» спеть не умеют. Осрамят заведение! Корсиканцы! Я вам покажу корсиканцев!..

Хлопнула дверь. Все стихло. За стеной кто-то всхлипнул.

МОРСКИЕ СИГНАЛЫ

Мы катались по Неве.

Нева — это огромная река, которая впадает сразу в две стороны — в Ладожское озеро и в Балтийское море. Поэтому плавать по ней очень трудно. Но с нами был Нырялов, бывший моряк, который справлялся

и не с такими задачами. Он греб все время один и болтал веслами в разные стороны. Таким образом, лодка стояла на одном месте, и было скучно, но у моряков, кажется, это очень ценится. Называется это у них «зашкваривать» или что-то в этом роде.

Пели по обычаю «Вниз по матушке по Волге». На воде всегда поют «Вниз по матушке по Волге». Но едва затянули «На носу сидит хозяин», как увидели большое судно, стоящее у берега.

— Это оно отшвартовалось,— сказал бывший моряк.

Мне не хотелось показать, что я не поняла слова, и я только заметила:

— Само собой разумеется! Но как вы это узнаете?

— Что «это»?

— Да что это с ним произошло. Именно это, а не другое?

Но моряк уже не слушал меня, а всматривался в какие-то белые лоскутки, развевавшиеся на мачтах.

— Эге! — сказал он.— Любопытно! Ведь они сигнализируют. В море сигналы всегда делаются посредством небольших флагов.

— А что же значит этот сигнал? — спросили мы.

— Это? Гм... Два слева... один выше... Это значит: «Мы на мели».

— Ай-ай-ай! Несчастные!

— Что же делать? Мы, во всяком случае, помочь им не можем. Придется подождать. Скоро другие суда заметят и придут на помощь.

Мы остановились, причалили к берегу и стали наблюдать. Через несколько минут на корабле появились еще два флага. На этот раз оба были цветные.

— Это что же?

Моряк заволновался.

— Два пестрых... два белых... «Голодаем».

— Несчастные!

— Вот еще один флаг!

— Три пестрых, два белых... «Нет воды».

— Какой ужас!

— Еще флаги! Сразу четыре.

— Позвольте! Не кричите! Дайте разобраться. Вы думаете, это так просто? Теперь уже девять флагов. Может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что это значит «сдаемся без боя».

— Значит, это иностранное судно?

— А кто его разберет! Очень близко подойти опасно. Они могут дать залп.

— Чего ради?

— Как чего ради! Люди в таком опасном положении. Нервы напряжены до крайности! Каждая минута дорога, и все кажется зловещим. Вы не понимаете психологии гибнущего в море. Да они вас в клочки разорвут!

Мы притихли.

А количество страшных флагов все увеличивалось.

Моряк уже не объяснял нам значение каждого сигнала. Он только безнадежно махал руками и лишь изредка бросал отдельные слова:

— «Свирепствует зараза!»

— «Пухнем с голода!»

— «Сдаемся без выстрела!»

Мы молча предавались ужасу.

— Какая величественная картина,— шепнул кто-то из нас.— Точно громадный зверь погибает.

— Ужасно! Ужасно!

— «Идем ко дну!» — завопил вдруг моряк.— Все кончено — они идут ко дну! Мы должны немедленно отплыть подальше! Иначе нас затянет в воронку, и мы утонем вместе с ними. Гребите скорее!

Мы схватились за весла. Моряк уже не греб, а только дирижировал. Он даже забыл про то, что Нева сразу впадает в два конца, и не препятствовал нам болтать веслами в одну сторону.

Отплыли, завернули за берег.

— Посмотрите, виден ли он еще. Я сам не могу, мне слишком тяжело...

— Виден!

— Несчастные! Как они медленно погружаются!

Отъехали еще немножко.

— Виден?

— Виде-ен!

— О Господи! Минуты-то какие!

Вдруг, смотрим, идут по берегу два матроса. Так что-то в сердце и ёкнуло...

— Братцы, вы откуда? Вы куда?

— А из городу. Идем на энтот самый.

Тычут большими пальцами прямо в сторону гибнущего корабля.

— Да что вы! Да вы посмотрите, что там делается-то! Али вам с берега не видать?

— Как не видать! Видать!

— А что на мачтах-то висит? А? Несчастные вы!

— А ничего! Пущай себе висит! Это наша команда рубахи стирала, так вот повесила. Не извольте пужаться. Оно к вечеру подсохнет.

СТРАШНЫЙ ПРЫЖОК

Посвящаю Герману Бангу и прочим авторам рассказов об акробатках, бросившихся с трапеции от несчастной любви

1

Многие думали, что Ленора не любит его.

Может быть, считали его, толстого, краснощекого и спокойного, неспособным вызвать нежное чувство в избалованной успехом девушке? Может быть, не знали, что любовь такая птица, которая может свить себе гнездо под любым пнем? Может быть. Но какое нам дело до того, что думали многие?

2

Каждый вечер сидел он на своем обычном месте в первом ряду кресел.

Его цилиндр блестел.

Тихо, под звуки печального вальса, качалась разубранная цветами трапеция.

Гибкая, стройная, то прямая, как стрела, то круглая, как кольцо, то изогнутая, как не знаю что, кружилась Ленора.

«Я люблю тебя!» — шептали ее длинные, шуршащие волосы.

«Я люблю тебя!» — говорили ее напряженно-дрожащие руки.

«Я люблю тебя!» — кричали ее вытянутые ноги.

Вот она скользнула с трапеции и, держась за канат одной рукой, повисла, дрожа и сверкая, как слеза на реснице.

Amour! Amour!
Jamais! Toujours! —[1]

пели скрипки.

---

[1] Любовь! Любовь!
Всегда! Каждый день! *(фр.)*

3

Он вспоминал их первую встречу и ту веточку ландышей, которую он подарил ей в первый вечер.

Где хранила Ленора засохший цветок?

Где?

Кажется, в комоде.

4

Четыре года блестел его цилиндр в первом ряду кресел.

Но вот однажды, в дождливый осенний вечер (о, зачем дождь идет осенью, когда и без того скверная погода!) он не пришел.

Тихо шуршали волосы Леноры, шуршали, шептали и звали.

И плакали скрипки:

Amour! Amour!
Jamais! Toujours!

5

Он пришел через два дня.

Кажется, цилиндр его потускнел немножко. Не знаю.

Он приходил только пять дней. Затем пропал на две недели.

Ленора молчала. Никто не слыхал ее жалоб, но все знали, что он изменил и что она все знает.

6

Она прокралась ночью к его окну и стояла до утра под дождем, градом и снегом (в эту ночь было все зараз) и прислушивалась, как блаженствует он в объятиях ее соперницы.

7

Она страдала молча, но скрыть страданий не могла, и зрители даже самых отдаленных рядов, куда дети и нижние чины допускаются за двадцать копеек, замечали, как она худеет у них на глазах.

Директор цирка, разузнав все подробно, решил, что пора дать ей бенефис.

А скрипки продолжали, как заладили:

Amour! Amour!
Jamais! Toujours!

8

День бенефиса приближался. Ленора готовилась. Никто не знал, какое упражнение разучивает она, потому что она работала одна и никого в это время к себе не допускала.

Старый клоун пробовал подслушать, но за дверью было так тихо. Слышались только заглушенные вздохи.

Так не готовятся к бенефису, но, может быть, так готовятся к смерти?

9

Старый клоун встретил Ленору у дверей конюшни и вкрадчиво спросил ее, дрессируя слона:

— Ленора! Отчего не слышно, как вы упражняетесь, готовясь к своему бенефису?

— Чудак! — ответила она, усмехнувшись. — Вы хотите слышать, как летают по воздуху?

— Ленора! — умоляюще воскликнул он: — Ленора! Откройте мне, какую штуку вы готовите?

Она подняла свои побледневшие брови и, жутко отчеканивая, сказала:

— Головоломную.

Он долго вспоминал это слово. Какое-то странное дуновение пробежало по воздуху, колыхнуло волосы.

Может быть, слон вздохнул?

10

День бенефиса приближался.

Уже готова была гигантская афиша, на которой было написано огромными буквами, красными, как кровь, и черными, как смерть: «Мадемуазель Ленора, вопреки всяким законам тяготения, перелетит по воздуху через весь цирк.

Цены бенефисные. Без сетки».

Последние два слова относились к полету, а не к ценам, и были написаны в конце по ошибке и недосмотру. Но тем мучительнее было производимое ими впечатление, и странно переплетались буквы, красные, как кровь, и черные, как смерть. Без сетки.

11

Утром, в день бенефиса, директор позвал к себе бледную Ленору и сказал ей:

— Ленора! Цены я назначил тройные. Сбор в твою пользу. Но если что-нибудь... словом, в случае твоей смерти сбор целиком поступает ко мне.

И он улыбнулся. Улыбка смерти... Ленора молча кивнула головой и вышла.

Она надела плащ и, закутав голову в черный платок, пошла на окраину города, к вдове портного, живущей в хорошеньком домике с огородом, приносящим пользу и удовольствие.

Она недолго пробыла там, и о чем говорила с вдовой портного, неизвестно. Но вышла она с просветленным лицом.

12

Наступил вечер. Зажгли лампы и фонари. Темная масса народа прихлынула к дверям цирка и стала медленно вливаться в его открытые двери, напоминавшие пасть странного чудовища, у которого внутри светло.

Поднимали головы, смотрели на красные и черные буквы и улыбались, как нероновские тигры, которым дали понюхать христианина. Волнуясь и торопясь, рассаживались по местам.

У самой арены толпились репортеры, поздравляли друг друга. Один из них, молоденький новичок, задорно усмехнувшись, сказал странные слова:

— А я, признаться сказать, уже сдал заметку вперед. Написал, что подробности после.

Товарищи взглянули на него завистливо.

13

Началось представление.

Публика была рассеянна и равнодушна. Ждали последнего номера, обещанного красными и черными буквами. Смертью и кровью.

Вот вышел любимец публики, старый клоун.

Но ни одна шутка не удалась ему. Что-то волновало и мучило его, и он не заслужил аплодисментов, несмотря на то, что дважды задел честь мундира околоточного надзирателя.

Вернувшись в конюшню, он вытащил какой-то черный ящик и стал прилаживать к нему крышку.

14

Она вышла бледная и спокойная. Прост был ее наряд. На груди, у сердца, была приколота засохшая ветка ландыша. Это было единственным ее украшением. В остальном, повторяю, наряд ее был чрезвычайно прост.

Скрипки (что им делается!) зарядили свое:

Amour! Amour!
Jamais! Toujours!

Она тихо повела глазами, осматривая толпу. Вздрогнула и замерла.

В первом ряду, на обычном месте, тускло блестел и переливался цилиндр.

Она склонила голову.

— Ave Caesar! [1]

И медленно поднялась наверх, под самый купол цирка.

Сейчас! Сейчас!

Зрители вскочили с мест, беспорядочно толпясь у самой арены, боясь пропустить малейшее движение там, наверху.

Музыка смолкла. Толпа замерла. Чуть слышно скрипели сухие перья репортеров.

Вот мелкой дробью забил барабан.

Барабан? К чему барабан? Разве хоронят генерала? И уместен ли барабан на похоронах человека, не имеющего военного чина?..

Ленора вытянулась, высвободила обе руки, она не держится больше за канат. Она взяла ветку ландышей, приложила ее к губам и бросила вниз. Долетит ли эта легкая сухая ветка до земли, прежде чем...

Ленора подалась вперед, вытянула руки. Взметнулись на воздух ее длинные волосы... Раздался нечеловеческий крик...

---

[1] Здравствуй, Цезарь! *(лат.)*

15

Это кричал толстый господин в цилиндре.

16

Это кричал толстый господин в цилиндре, которому в толпе отдавили ногу.

17

На другой день Ленора, получив тройной сбор за бенефис, купила у вдовы портного хорошенький домик с огородом, приносящим пользу и удовольствие.

ПАТРИОТ

Дело было часов в шесть утра на станции Чудово. Я дожидалась лошадей, чтобы ехать в деревню, пила чай и скучала.

Большая, скверно освещенная зала. Где-то, за стеной, визжат и гулко хлопают двери. За стойкой звенит ложками и бренчит чашками невыспавшийся буфетчик. Он поминутно смотрит на часы и зевает, как лев в клетке.

Тоска свыше меры!

Вдруг, смотрю, за противоположным столом что-то зашевелилось. Послышалось кряканье, и с дивана медленно поднялся толстый бритый старик, в круглой вязаной шапочке, как носят грудные младенцы. Кроме шапочки, на нем была полосатая фуфайка, серенький пиджачок, а на ногах гетры.

Старик протер глаза, поманил лакея, показал ему рубль и, отрицательно покачав головой, постукал по пустой пивной бутылке, стоявшей на столе.

Лакей тоже отрицательно покачал головой и отошел прочь. А старик вынул засаленную книжечку с отваливающимися листами и поцарапал в ней что-то.

— Что это за человек?—спросила я лакея.

— Это, сударыня, немец какой-то. Пришел вечером пешком и все пиво пьет, а денег не платит, только вот один рубль покажет и опять в карманчик. Буфетчик не велели больше отпускать.

— Да вы, верно, не понимаете, что он говорит.

— Никак нет, не понимаем.

В эту минуту немец встал и, подойдя ко мне, в чем-то извинился.

Оказался он французом, путешествующим пешком вокруг света. Он обошел уже всю Африку, Америку, Австралию и Европу. Теперь идет через Россию в Азию. Вышел из дому четыре года тому назад.

— Зачем же вы это делаете? Что вам за охота?— удивилась я.

— Для славы своего отечества. Из чувства патриотизма.

— Несколько лет тому назад один член нашего кружка обошел весь свет в три года. Я сказал, что обойду скорее. Вот иду уже пятый год, а обошел только половину. Значит, тот солгал.

— Но ведь он тоже был французом, так при чем же тут ваш подвиг?

— О! Madame рассуждает легкомысленно. Madame не понимает, что каждый француз желает лично прославить свое отечество. К тому же я путешествую без денег.

— А как же я видала у вас рубль в руках?

— Ах, это только для того, чтобы объяснить, что у меня нет денег. Покажу рубль, покачаю головой, они и понимают.

— Удивительно. Ну, а чем же вы докажете, что вы действительно шли, а не сидели где-нибудь в Вержболове?

— О, madame! Я во всех больших городах беру свидетельства от мэров, что я проходил. Кроме того, я веду дневник, записки, которые будут изданы для славы моей родины.

Он вытащил свою засаленную книжечку и, любезно осклабившись, указал мне последний листок.

— Здесь кое-что о вашем родном уголке. О! Я ничего не пропускаю.

Я прочла каракули:

«Женщины губернии Чудово (du governement de Tchoudovo) имеют белокурые волосы и носят кожаные сумки через плечо».

Я бросила беглый взгляд на соседний листочек. Там было французскими буквами написано «pivo» и «Zacussie».

— О, madame!—продолжал француз, деликатно вынимая из моих рук свою книжечку.—О! Я могу вам

показать массу интересного. Я покажу вам письма моей жены и ее портрет.

Он сунул мне в руку пачку истрепанных писем и, не удовольствовавшись этим, начал читать одно из них вслух.

«Мой обожаемый друг,— писала эта замечательная женщина.— Иди вперед! Иди, несмотря на все лишения и трудности твоего пути. Работай для славы нашей дорогой родины, а я буду ждать тебя долгие, долгие годы и участвовать в твоем подвиге своей молитвой».

Потом он вынул маленькую фотографическую карточку и несколько минут глядел на нее, и, умиленно покачивая головой, тихо пропел:

Et tra-là-là-là-là.
Et tra-là-là-là-là
Roulait dans du galà»[1].

Песенка несколько удивила меня, но, взглянув на карточку, я перестала удивляться. На ней изображалась молодая особа в кэпи и в короткой юбке и отдавала честь ногой.

— Ваша жена, вероятно... певица,— пробормотала я, не зная, что сказать.

— Почему вы так думаете?

— Так... видно по лицу, что у нее хороший голос,— додумалась я.

— О, вы правы! Это великая артистка! Имя ее будет греметь по всему свету. Сам великий Коклэн предсказал ей громкую славу. И она работает... О! Как она работает для своего отечества! Она и меня ободряет. Вот, в другом письме, она говорит, чтобы я не смел возвращаться, пока не закончу своей задачи. Бедная! Она так страдает без меня, но она жертвует всем pour notre chère patrie[2]. Это святая женщина,— прибавил он и взглянул на меня строго.

Не зная, что сказать, я спросила, как ему понравилась Африка.

— О! C'est de la chaleur![3] — ответил он и безнадежно махнул рукой.

---

[1] И тра-ля-ля-ля-ля
И тра-ля-ля-ля-ля
Покатили на праздник *(фр.)*.

[2] Ради нашей дорогой родины *(фр.)*.

[3] Жара! *(фр.)*

* * *

Я уже садилась в почтовую коляску, как вдруг ямщик, укладывавший мои вещи, показал рукой в сторону и, отвернувшись, фыркнул, как лошадь. Я оглянулась.

Около полотна железной дороги, по скользкой и липкой тропинке шел мой патриот.

«Бедный! — подумала я.— Чем заплатит тебе неблагодарное отечество за то, что ты во славу его месишь своими гетрами нашу новгородскую грязь?»

Он узнал меня издали и поспешил подойти, делая самые удивительные приветственные жесты.

Он долго желал мне всяких благополучий, а под конец поверг меня в радостное изумление, пообещав, что непременно напишет от меня поклон своей жене.

— Это святая женщина,— прибавил он и отошел, тихо напевая, очевидно, тесно связанное с воспоминанием о ней:

Et tra-là-là-là-là
Et tra-là-là-là-là
Roulait dans du galà.

ИЗ ВЕСЕННЕГО ДНЕВНИКА

...А природа, как уже давно дознано археологами, все делает назло человеку. Недаром говорится: «Гони природу в дверь, она вернется в окно».

Вот и теперь: дача не нанята — солнце во все лопатки. В прошлом году переехали рано, начались майские морозы и продолжались вплоть до сентября. Двести рублей за дачу заплатили, на шестьдесят дров извели. А еще уверяют, что человек — царь природы. Очень и очень ограниченный монарх, во всяком случае.

Я лично не люблю природы. По-моему, это — одна фантазия и расход. И всегда простудишься в конце концов. Но вчера утром Жан настроился совсем по-весеннему. Посмотрел на барометр, на термометр Цельсия, на Реомюра, на Фаренгейта, помножил Реомюра на Цельсия, разделил барометр на Фаренгейта и решил, что погода весь день будет великолепная, и нужно ехать подышать свежим воздухом. На мои протесты он ответил, что если человек работает всю неделю, как бешеная собака, то он имеет право в воскресенье насладиться природой.

Я поняла, что действительно было бы глупо иметь право и не пользоваться им. Непрактично.

И мы поехали.

Увязался с нами и beau-frère[1] Васенька. Я не люблю с ним ездить. Он ужасно моветонный и легко может скомпрометировать.

Он и на этот раз стал что-то очень глупо острить насчет моего зонтика, но Жан сразу поставил его на место (конечно, Васеньку, а не зонтик), и мы поехали наслаждаться воздухом.

Ехали на конке.

Beau-frère Васенька уронил в щель две копейки и всю дорогу выковыривал их тросточкой. Это было очень неприятно. Соседи могли подумать, что для нашей семьи такую важную роль играют две копейки.

Вдобавок он всю зиму сохранял летнее пальто в нафталине, а для поездки обновил его, и я очень страдала при каждом Васенькином движении. Жан сидел с другой стороны, и от него пахло пачулями, нюхательным табаком и перцем. От этой смеси издохнет не только моль, но и любое млекопитающее. Мне было очень скверно. С одной дамой-визави сделался легкий обморок. Но Жан поставил ее на место, и она вылезла на полном ходу.

Около Черной речки у меня зазеленело в глазах, и мы вышли на площадку. Там было легче дышать, но очень тесно стоять. Beau-frère Васенька болтал ногой в воздухе, и Жан никак не мог поставить его на место. А нафталин пах, и ветер дул как раз на меня.

На площадке стояли какие-то личности, которые, по-видимому, не прочь были завязать разговор. Чтобы поставить их на место, Жан начал говорить о загранице. Они сразу поняли, кто перед ними, и замолчали.

— Посмотри, Нинет, как этот мост похож на... на площадь Согласия в Лондоне,— говорил он.

Я за границей не бывала, но соглашалась, что похож. Может быть, и правда похож — чего же без толку спорить.

— Когда я поднимался на Риги... Ригикульм...

Все слушали с завистью, а beau-frère Васенька вдруг загоготал, как дикий вепрь, и говорит: «Врешь, Ванька, никогда ты в Риге не бывал».

---

[1] Свояк *(фр.)*.

Вышло ужасно глупо. Все стали ухмыляться, а Васенька начал подпевать: «Вре-ешь, вре-ешь»...

Жан, чтобы поставить его на место, сказал, что в обществе не принято петь, когда стоишь на коночной площадке. Но тут вмешался кондуктор.

— Како тако обчество? Мы уже второй год, как в город перешедчи. Не обчество, стало, а городские.

— Я говорю о высшем обществе,— поставил его на место Жан.— О высшем, а не о конно-железнодорожном.

У Черной речки мы вылезли и решили взять извозчика до ресторана.

Но извозчик нашелся только один и до того пьяный, что его нельзя было даже поставить на место.

Пришлось идти пешком.

Ветер дул с Васенькиной стороны, и я все время думала, как дохнет моль.

Должно быть, ужасные страдания!..

На набережной сидела целая дивизия свежемобилизованных хулиганов и делилась впечатлениями на наш счет. Это было неприятно.

У входа в ресторан Жан долго умилялся картиной природы и говорил, что весной пробуждается жизнь.

— Какая красота! — твердил он.— Река точно серебро! Берега точно изумруд! Небо точно бирюза!.. Горизонт — точно золото!

Он говорил очень поэтично, хотя несколько ювелирно.

— А этот чудный аромат распускающихся почек!..

Beau-frère Васенька потянул носом и с уважением произнес:

— Ну! И нюх же у тебя! Действительно, на веранде кто-то почки в мадере уплетает.

Мы прошли на веранду, и лакей спросил, что мы желаем на ужин. Но Жан сразу поставил его на место, заказав три стакана морсу.

Откушав, мы наняли лодку и поехали к взморью.

Я сидела на руле и на какой-то корявой палке. Было очень неловко, но палку вытащить было нельзя. Жан говорил, что лодка при этом перевернется.

Beau-frère Васенька болтал веслами, языком и ногами и кричал, что задел веслом рыбу. Жан вспоминал, что был знаком с одним графом, членом яхт-клуба, и показывал, как этот граф рассказывал, как греб один князь. Лодка при этом ползла боком и тыкалась кормой в берега.

Рядом с нами плыли на ялике какие-то нахалы и веселились на наш счет. Они не слышали, что Жан рассказывает, и не понимали, что так гребет князь по рассказу графа, а думали, должно быть, что это Жан сам не умеет.

Чтобы поставить их на место, Жан велел мне спеть что-нибудь по-французски. Мне было неловко, и я отказывалась.

Но в это время нас обогнала лодка.

В ней сидела дама с офицером и имела такой гордый вид, точно она только что Порт-Артур сдала.

Я не выдержала и запела: «Si tu m'aimais!»[1]

Офицер покосился на мой голос, а дама со злости повернула нос не в ту сторону, а ткнула нас рулем.

Мы выехали на Стрелку. Закат, как поется в романсе, «пылал бобровой полосой».

На самом горизонте, там, где небо целует землю, стояли три мужика и пили поочередно из бутылки.

Налево от ресторана несло свежераспустившимися почками. Нафталин относило в сторону. Преобладали табак и перец.

На обратном пути Васенька напоролся на крупную рыбу и потерял весло. Пришлось ставить лодочника на место, потому что он запросил за весло очень дорого.

Корявая палка, на которой я сидела, оказалась моим же собственным зонтиком, только сломанным пополам.

У Жана раздавился котелок, а у Васеньки пропал без вести галстук.

Ехали назад опять на конке. Пассажиры смотрели на нас двусмысленно. Жан, чтобы поставить их на место и оправдать несвежесть наших костюмов, рассказывал о значении спорта в жизни великих людей и известных политических деятелей.

Нафталин и табак отсырели, стали острее, резче и навязчивее.

ДАЧА

Серое небо... серое море...

Серый воздух дрожит тонкими дождевыми нитями...

По липко-скользким дорожкам, гуськом, бродят

---

[1] Если бы ты меня любила! *(фр.)*

первые дачники. Бродят они медленно, по три-четыре человека. Дети впереди, старики за ними. Если один отстает, все останавливаются и ждут его, долго и покорно, не поворачивая головы.

Они не разговаривают, даже не вздыхают, и о приближении их можно узнать только по тихому всхлипыванию калош...

Вот они прошли лесной дорожкой, по которой ходить строго воспрещается; подошли к парку, в который вход «воспрыщён» строго-настрого, через «ь». Посмотрели на деревья, которые нельзя ломать, на траву, которой нельзя рвать. Подошли к берегу, с которого серая доска позволяет купаться только «женщинам», и то в кавычках. Взглянули на скамейку, недоступную «посторонним лицам»... и тихо повернули опять на лесную дорожку, по которой ходить строго воспрещается. Дети впереди, старики за ними.

* * *

Дачник — происхождения доисторического, или, уж во всяком случае,— внеисторического. Ни у одного Иловайского о нем не упоминается.

Несколько народных легенд касаются слегка этого предмета.

Не буду приводить их дословно, воздержусь также от сохранения стиля и колорита, так как имею для этого особые причины. Передам только сущность.

Первый дачник пришел с запада. Остановился около деревни Укко-Кукка, осмотрелся, промолвил «бир тринкен» и сел. И вокруг того места, куда он сел, сейчас же образовались крокетная площадка, ломберный стол и парусиновая занавеска с красной каемочкой. Так просидел первый дачник первое лето.

На второе лето он вернулся опять. Принес с собой две удочки и привел четырех детенышей на тоненьких ножках, в беленьких кепи. И образовался вокруг него зеленый заборчик, переносный ледник и кудрявые березки, которые дачник подрезывал и при помощи срезанных ветвей воспитывал своих детенышей. Так просидел первый дачник второе лето.

На третье лето вернулся снова и принес с собой гамак, флаг и привел восемь детенышей на тоненьких ножках, в беленьких кепи и одного, почти безлобого, велосипедиста с большим кадыком. И образовался

вокруг него дачный дворник и потребовал вид на жительство. Но первый дачник не понял его. Тогда пришел полицейский и, узнав, что первый дачник по-русски не говорит, припомнил иностранные языки и сказал: «Позвольте ваш пейзаж». Потом они поняли друг друга, и первый дачник пустил первые корни.

Вокруг него образовался палисадник, граммофон и разносчики.

И стал первый дачник плодиться, размножаться, наполнять собой Озерки, Лахту, Лесное, Удельную и все Парголова.

И стало так.

* * *

Дачный дворник — существо особое, от обыкновенного дворника отличное.

Лицо у него круглое, с неискоренимым, вероятно, наследственно глупым выражением.

Существует он только летом. Где он находится и что делает зимой — никто до сих пор не знает. Вероятно, зимует там же, где раки. Знаю, что это определение не совсем ясное, но, к стыду моему, должна признаться, что до сих пор не осведомлена с точностью о рачьей резиденции. Многие обещают друг другу сделать это разъяснение, но, кажется, еще никто этого обещания не исполнил.

Как бы то ни было, но как только «за весной, красой природы» наступит лето и пригреет солнцем дачный палисадник,— тотчас около забора, в позе херувима Сикстинской Мадонны, подпершись обоими локтями — залоснится лик дачного дворника.

Деятельность дачного дворника велика и многообразна.

Встает он не позже пяти-шести часов и тотчас принимается за дело: притащит к самым окошкам какую-нибудь старую доску и начинает вколачивать в нее гвозди. Иногда доска бывает с железкой, и тогда она очень хорошо дребезжит. Колотит дачный дворник по доске до тех пор, пока с дикими воплями не высунутся из окон озверело-всклокоченные головы дачников. Тогда дворник идет отдыхать. Но утренний сон, как известно, бывает крепок, и если дворник честный работяга, то ему приходится иногда тру-

диться не менее получаса, чтобы достигнуть вожделенного конца.

Выждав время, когда озверелые дачники придут в себя и, одевшись и успокоившись, выползут на веранды и палисадники наслаждаться утренним зефиром, дачный дворник берется за метлу и начинает пылить. Пылит он долго и систематически. Там, где земля затвердела, подсыпает сухонького песку — сил своих не жалеет. И когда истомленные дачники, задыхающиеся и покорные, разбегаются по полям, лесам и оврагам, он снова уходит на отдых.

Затем, вплоть до вечера, ему «недосуг». Он сидит в своей сторожке и смотрит одним глазом в осколок зеркала, прилепленный к стенке.

Вечером он стоит у калитки и чешет левую лопатку оттопыренным пальцем правой руки. В то же самое время он не отказывает себе в удовольствии нанести посильный ущерб дачниковским делам. Он уверяет приехавших к ним друзей, что дачи стоят пустые, или что все съехали, или что не переехали, или что их выселили. Почтальонов направляет в другой конец, куда-нибудь за полотно железной дороги или в лес, откуда им потом трудно будет выбраться. Телеграмм не принимает никогда, а если не сможет отвертеться, то не передает или уж, в лучшем случае, вручит через три дня. Короче срока не бывает.

Ночью дачный дворник не спит и все время подсвистывает собакам, чтобы те лаяли и не давали спать дачникам.

Раза два в неделю делает визиты квартирантам, позволяя им выражать свою благодарность денежными знаками.

* * *

Дачным часам никто не верит. Живут по поездам, по пароходам, по мороженщику и по чиновникам. Иногда, конечно, это приводит к некоторым неудобствам. Вы, например, привыкли обедать по рыжему чиновнику с кривой кокардой. Видите, что он бежит с поезда, значит — пора садиться за стол. А вдруг у чиновника винт или еще того хуже — вечернее заседание, которое, по свидетельству его собственной жены, продолжается иногда часов до шести утра!

Вот и сидите без обеда.

А если вы, например, привыкли пить чай по пятичасовому поезду. И вдруг, к ужасу своему, видите, что ровно в половине пятого летит поезд. Вам тревожно. Вы собираете домашний совет, причем одни говорят, что это опоздавший трехчасовой, другие — что поторопившийся пятичасовой. Одни советуют пить чай, другие настаивают, что следовало бы потерпеть. В семье разлад. Жизнь испорчена.

Я не говорю уже о пароходах. За ними уследить трудно, а проклятые деревенские мальчишки выучились так искусно трубить по-пароходному, что один коллежский асессор, неиспорченный и доверчивый человек, позавтракал четыре раза подряд. И дорого за это поплатился — мяснику и зеленщику.

Чиновники, отправляющиеся ежедневно в город на службу, тоже живут друг другом.

Вот длинная улица, упирающаяся в вокзал. На ней — два ряда дач. Перед утренним девятичасовым поездом в одном из окошек каждой дачи появляется встревоженная физиономия и следит. Появилось вдали облачко пыли...

— Кто? Кто? — проносится по всей улице.

— Нет, это еще только полковник,— спокойно говорят одни. Но рыжий чиновник с кривой кокардой, живущий по полковнику, срывается с места и, прихватив портфель, бежит на вокзал.

Завидев его, начинает колыхаться толстый акцизный и, засунув два бутерброда в карман пальто, выползает на дорогу.

По акцизному живут два учителя, по учителям — дантист, по дантисту — банковский чиновник, по банковскому чиновнику — студент-репетитор, по студенту — музыкальная барышня, по барышне — конторщик в желтых башмаках, по конторщику — докторшин жилец, по жильцу — господин с двумя мопсами.

Каждый твердо знает свой указатель и следит только за ним. В первую голову всегда идет полковник.

Раз случилась катастрофа: полковник проспал. И вся вереница дачников, живущих друг по другу, опоздала на поезд. Проскочила только одна музыкальная барышня, и та забыла папку с надписью «musique» и сошла с ума.

* * *

Бродят первые дачники. Дети впереди, старики за ними. Бродят от одного столбика с дощечкой к другому столбику с дощечкой, и останавливаются, и читают о том, что им делать воспрещается.

Серое небо... серое море...

ЗАБЫТЫЙ ПУТЬ

Софья Ивановна подобрала платье и с новой энергией стала взбираться на насыпь. Каблуки скользили по траве, шляпа лезла на глаза, зонтик валился из рук. Наверху стоял железнодорожный сторож и развлекался, глядя на страдания молодой туристки. Каждый раз, поднимая глаза, встречалась Софья Ивановна с его равнодушно-любопытным взглядом и чувствовала, как взгляд этот парализует ее силы. Но все равно — отступать было поздно; бо̀льшая часть пути пройдена, да и стоит ли обращать внимание на мужика, «qui ne comprend rien»[1], как говорилось в пансионе, где три года тому назад окончила она свое образование.

Жаркое июльское солнце палило немилосердно. Софья Ивановна остановилась на минуту перевести дух и вытянула из-за пояса часики: уже четверть первого. К пяти вернется муж, а у нее еще и обед не заказан! Опять будет история! Она с грустью посмотрела на оборванное кружево юбки, тянувшееся за ней по траве, как большая раздавленная змея, и, вздохнув, собралась идти дальше, но при первом же ее движении свернутый зонтик, выскочив из рук, плавно пополз вниз по насыпи, пока не остановился, упершись в какую-то кочку. Софья Ивановна в отчаянии всплеснула руками. Ничего не поделаешь, нужно теперь вернуться за зонтиком!.. Однако спускаться оказалось еще труднее, чем подыматься; не успела она сделать и двух шагов, как потеряла равновесие и опустилась на траву. Зонтик был уже близко. Она попробовала достать его ногой, потянулась еще немножко вниз... «Ах!» — едва дотронулась кончиком башмака, как зонтик вздрогнул и, весело подпрыгивая, поскакал дальше. Софья Ивановна с ожесточением перевернулась лицом к траве и попыталась ползти на четвереньках.

---

[1] Который ничего не понимает *(фр.)*.

Увидя этот новый способ передвижения, сторож вдруг исчез и вернулся через минуту с какой-то толстой бабой; оба нагнулись и молча, с тупым любопытством смотрели на Софью Ивановну; затем баба обернулась назад и стала манить к себе кого-то рукой...

Это уж чересчур! Быть посмешищем целой банды бездельников. Слезы выступили на глазах Софьи Ивановны.

Красная, растрепанная, злая, уселась она насколько могла удобнее и решила ждать.

— Ведь есть же у него какое-нибудь дело,— думала она,— не может же он весь день тут стоять. Увидит, что я сижу спокойно, и уйдет.

И она, приняв самую непринужденную позу, делала вид, что превосходно проводит время; любовалась природой, рвала одуванчики и даже стала напевать «Уста мои молчат». Через несколько минут, осторожно, скосив глаза, она взглянула наверх — «Нахал!».

Сторож не верил ее беззаботности и продолжал стоять все на том же месте, словно ожидая от нее чего-то особенного.

Напускная бодрость покинула Софью Ивановну. Она присмирела, закрыла лицо руками и стала нетерпеливо ждать.

— Божественная!..— долетел до нее тягучий голос.

— Ах, нахал! — вздрогнула от негодования Софья Ивановна.— Он смеет еще заговаривать!

— Божественная! Я чувствовал ваше присутствие здесь... Меня влекло сюда!..

Нет, это не он — голос снизу. Софья Ивановна опустила руки: «Господи! Только этого не хватало! Опять проклятый декадент! Опять сцена от Петьки!»

Грациозно откинув длинноволосую голову, держа шляпу в горизонтально вытянутой руке, стоял у подножия насыпи маленький худощавый господин, в клетчатом костюме, с развевающимися концами странного зеленого галстука, и не смотрел, а созерцал растерявшуюся Софью Ивановну.

— Я помешал вам мечтать,— загнусавил он снова.— Я поднимусь к вам! Мне так хочется подслушать ваши грезы!..

И, не дождавшись ответа, он взмахнул руками, с видом птицы, собравшейся взлететь, и стал быстро подниматься.

«Вот ведь влезают же люди,— с горечью думала Софья Ивановна, глядя на него,— почему же я такая несчастная!»

У ваших ног лежат, синьора,
И я, и жизнь, и честь, и меч!—

продекламировал «декадент», садясь у ее ног и восторженно глядя на нее белесоватыми глазками.

— Это ваше?

— Мм... Почти.

— Что это значит: «почти»?

— Значит, что это стихотворение Толстого, но я его переврал,— мечтательно отвечал тот.— О, как я рад, что мы снова вместе!.. Я хотел так много, так бесконечно много сказать вам...

— Очень приятно, только я тороплюсь домой.

— Странная манера торопиться, сидя на одном месте. И зачем вам домой?

— К пяти часам вернется Петр Игнатьевич...

— Кто вернется?

— Петр Игнатьевич.

— Петр Игнатьевич?— «Декадент» презрительно прищурил глаза.— Кто это такой, этот Петр Игнатьевич?

— Как кто?— обиженно удивилась Софья Ивановна.— Мой муж! Странно, что вы две недели тому назад были у нас в доме и не знаете, как зовут хозяина.

— Простите!.. Я рассеян... Я страдал... Но мы не будем говорить об этом, не расспрашивайте меня, я не хочу — слышите?— Он повелительно сдвинул брови и замолк на несколько минут, потом, видя, что Софья Ивановна все-таки не начинает расспрашивать «об этом», сказал тоном человека, искусственно меняющего тему разговора:— Итак... где же ваш муж?

— Он уехал с восьмичасовым в «Контики»; там сортируют вагоны или что-то в этом роде, не умею вам объяснить. А теперь помогите мне, ради Бога, слезть отсюда,— прибавила она смущенно.— Я оттого и сижу здесь так долго, что никак не могу одна...

«Декадент» пришел в восторженное умиление.

— О! Как это женственно! Беспомощно-женственно. Дайте мне ваши руки, я донесу вас.

— Я не могу вам дать руки, потому что наступлю тогда на платье и упаду,— понимаете?

— Платье можно подколоть булавками.— И, к великому удивлению Софьи Ивановны, он, отвернув

бортик своего клетчатого пиджака, вытащил несколько булавок, воткнутых в него.

— Какой вы странный! Зачем вы носите с собой булавки?

— Не спрашивайте... Это символ!..

Наконец платье подколото, декадент с безумным видом, схватив ее за обе руки и выставив вперед каблучок своего желтенького башмачка, поскакал вниз. Софья Ивановна спотыкалась, падала, подымалась, отбивалась, вырывалась,— но он крепко впился в ее руки и выпустил их только тогда, когда она, испуганная и запыхавшаяся, стояла внизу и, не смея поднять голову, думала о стороже: «Видел или не видел?..»

— Какое блаженство,— шептал декадент, с трудом переводя дыхание и утирая лоб платком,— какое блаженство этот бешеный полет! Но скажите, как вы сюда попали?— прибавил он, подавая ей зонтик.

— Я думала, что скорее попаду домой, если пойду верхом. Я ходила в деревню узнать насчет телятины.

— Как вы сказали?

— Что как сказала?..

— Вы произнесли какое-то слово...— он, мечтательно сощурив глаза, глядел на облако.

— Я сказала, что ходила за телятиной... Какой вы странный!

— Простите! Мне послышалось, что вы сказали что-то по-итальянски. Те-ля-ти-на... Те-ля-ти-на...— прошептал он.

— Хорошо же вы, должно быть, знаете итальянский язык...

— Я не могу знать его плохо. Понимаете? Не могу знать его плохо, потому что не знаю совсем.

Софья Ивановна замолчала и стала придумывать, как бы ей поделикатнее отвязаться от своего спутника. Ей очень не хотелось, чтобы их увидели вместе, так как бедный «декадент» был почему-то особенно несимпатичен ее ревнивому мужу. Петр Игнатьевич не ответил ему на визит и, когда встретил его с Софьей Ивановной на музыке в городском саду, немедленно увел жену домой и закатил ей сцену, какой, как говорится, и «старожилы не запомнят». После этой истории Софья Ивановна старательно избегала опасного поэта, терпеливо ожидая осени, когда он уберетс к себе в Петербург. Мужа, положим, теперь на станции нет — он в «Конти-

ках», но все равно, ему насплетничают... А с другой стороны, нельзя же его прогнать сразу — все-таки человек услугу оказал. А и некрасив же он, голубчик, взглянула она искоса. Петух не петух... черт знает что!..

— Я знаю, о чем вы сейчас подумали,— прервал он ее мысли.

— О чем? — испугалась Софья Ивановна.

— Вы подумали о том, что жизнь наша бесцветна и тосклива... Зачем вы здесь живете? Разве вы не чувствуете, что созданы блистать в свете?

Софья Ивановна успокоилась.

— Действительно, скучно, но мужу обещали скоро большую станцию. Тогда будет веселее.

— Вы постоянно сводите разговор на мужа: это прямо какой-то «незримый червь»!

Софья Ивановна хотела обидеться, но мелькнувший вдали красный зонтик отвлек ее внимание.

— Ой, ой, ой! Ведь это Курина!.. Жена помощника! — она стала торопливо приглаживать волосы, оправлять платье...— Ведь нужно же, как на грех... мерзкая сплетница! Перейдемте скорее на ту сторону полотна, на запасный путь, пока она нас не заметила.

Они быстро свернули налево и, перепрыгнув через проволоку семафора, приблизились к длинным рядам товарных вагонов, бесконечной цепью тянувшихся к станции, темная крыша которой выделялась тусклым пятном на сверкающей синеве южного неба.

— Скорей! Скорей! — торопила Софья Ивановна.— На крайний путь; там никого не встретим.

Тяжело гремя спущенными цепями, прошел мимо паровоз, обдав их целым клубом затхлого дыма, и, тревожно свистнув несколько раз, остановился. Стрелочник, помахивая красным флагом, вылез из-под вагона и, скосив глаза на Софью Ивановну, затрубил в рожок.

«Должно быть, он знает, кто я»,— подумала Софья Ивановна и как страус, втянула голову в плечи, закрываясь зонтиком.

Они обогнули первый ряд вагонов, пролезли между колесами второго, кое-как протискались между расцепленными буферами третьего и тут только вздохнули свободно, чувствуя себя в безопасности. Здесь не было ни души. Издали доносилась перекличка локомотивов да отвечающий им меланхолический рожок

стрелочника. Порой, далеко за крышами вагонов, быстро проносилось гигантское облако белого пара, протяжный свист разрезал воздух, затем опять все стихало. Да, здесь никто не видит. Кругом одни вагоны.

Софья Ивановна обмахивалась платком, сдувая падавшие на глаза растрепанные волосы.

— Так вот этот забытый путь! — говорил «декадент», глядя на поросшие травой рельсы, уставленные товарными вагонами, с открытыми, зияющими, как черные пасти, входами, с беспомощно повисшими цепями.— Забытый путь! Как это красиво звучит! В этом слове целая поэма. Забытый путь!.. Я чувствую какое-то странное волнение, повторяя это слово... Я вдохновляюсь!..— он зажмурился, втянул щеки и открыл рот, как дети, когда они представляют покойника.

Скажи когда-нибудь «забудь».
Но никогда тебя я не забуду,
Забытый путь!..

Он медленно открыл глаза.

— Я разработаю это в поэму и посвящу вам.

— Мерси. Только рифмы у вас не хватает.

— Так вам нужна рифма? О! Как это банально! Вам нравятся рифмы! Эти пошлые мещанки, ищущие себе подобных, гуляющие попарно. Я ненавижу их! Я заключаю свободную мысль в свободные формы, без граней, без мерок, без...

— Ах, Боже мой!.. Смотрите, там идут! — прервала его Софья Ивановна, указывая на группу рабочих, шедших в их сторону.— И, кажется, Петин помощник с ними!.. Куда нам деться?!

— Спрячемся в пустой вагон и обождем, пока они уберутся,— предложил находчивый поэт.

— Я его не боюсь,— продолжала Софья Ивановна, топчась в волнении на одном месте,— только я такая растрепанная... и не могу же я ему объяснить при рабочих, что лезла на насыпь... Господи! Как это все глупо!

— Серьезно, самое лучшее — переждать в вагоне.

— Да как же я туда попаду? Тут и подножки нет.

— Позвольте, я подсажу вас. Только поторопитесь, а то они нас заметят.

Софья Ивановна кое-как влезла, оборвав окончательно кружевную оборку и запачкав платье обо что-то очень скверное. За нею следом вскочил и дека-

дент, обнаружив необычайную ловкость и розовые чулочки с голубыми крапинками.

— Теперь встанем в тот угол. У, как здесь темно и прохладно. Все это напоминает мне милую, старую сказку... И жутко... и сладко.

— Ах, да замолчите же, они сейчас подойдут,— просила Софья Ивановна.

— Забытый путь! — не унимался декадент.

Но никогда тебя он не забудет,
Забытый путь!

Он вдруг замолк, прижав палец к губам и таинственно приподняв брови. К вагону подходили: послышались шаги, голоса... Остановились около...

— Этот последний вагон, что ли?

«Помощник! Петин помощник! — думала Софья Ивановна, замирая от страха.— Господи! Как все это глупо! Зачем я сюда залезла!.. Ведь это совсем скандал, если нас увидят!..»

— Отцепили? — спросил тот же голос.

— Го-то-во! — прокричал кто-то.

Дверь вагона, двигаемая чьей-то рукой, с грохотом захлопнулась... Тихо простонал рожок стрелочника, где-то недалеко отозвался свистком паровоз, и вдруг вагон, дрогнув, как от сильного толчка, весь заколыхался и, тихо покачиваясь, мерно застучал колесами.

— Господи, Боже мой!.. Да что же это?..— шептала Софья Ивановна.— Они, кажется, повезли нас куда-то?

— Да, мы как будто едем,— растерянно согласился поэт.

— Вероятно, наш вагон переводят на другой путь...

— Уж это вам лучше знать. Вы жена начальника станции, а я не обязан понимать этих маневров.

— Не злитесь, сейчас остановимся и вылезем, когда рабочие уйдут.

— И какая атмосфера ужасная! Грязь! Какие-то корки валяются, даже присесть некуда.

— Здесь, должно быть, перевозили собак!..

Колеса застучали ровнее и шибче, очевидно, поезд прибавлял ходу.

— Не могу понять, в какую сторону мы едем: к «Лычевке» или «Контикам»? — голос Софьи Ивановны дрожал.

— Я сам не понимаю. Попробую немножко открыть дверь.

— Напрасно! Я слышала, как задвинули засов.

Декадент схватился за голову.

— Это, наконец, черт знает что такое! Нет! Я узнаю, куда они меня везут! — Он вынул из кармана перочинный ножик и стал сверлить в стене дырочку, но дерево было твердое и толстое, и попытка не дала никаких результатов. Тогда он присел и стал буравить пол. Тоже пользы мало. Он кинулся к стене и принялся за нее с другого конца.

— Ах! Да полно вам! — злилась Софья Ивановна.— Ну, что вы глупости делаете!.. Только раздражаете!

— Так это вас раздражает?! Благодарю покорно! — вскинулся на нее поэт.— Человек впутался из-за вас в глупейшую историю, а вы же еще и раздражаетесь.

— Как из-за меня? — возмутилась Софья Ивановна.— Кто посоветовал залезть в вагон? Я бы сама никогда такой глупости не придумала... идиотства такого...

— Вы, кажется, желаете ругаться? Предупреждаю вас, что совершенно не способен поддерживать разговор в таком тоне.

— А, тем лучше! Не желаю вовсе разговаривать с вами...

— Прекрасно,— декадент помолчал минуту и затем стал обращаться непосредственно к Богу.

— Господи! — восклицал он, хватаясь за голову.— За что? За что мне такая пытка?! Разве я сделал что-нибудь дурное?

Софья Ивановна тихо стонала в своем углу.

— За что наказуеши? — взвыл декадент, решив, что к Богу удобнее адресоваться по-славянски.— Наказуеши за что?!

Душно было в полутемном вагоне. Через пробитое под самой крышей маленькое окошечко, вернее, отдушину, слабо мерцал дневной свет, озаряя невеселую картину: Софья Ивановна, в позе самого безнадежного отчаяния, поникнув головой, беспомощно опустив руки, прижалась в уголок, с ненавистью следя за своим спутником.

Декадент метался, упрекал Бога и сверлил вагон перочинным ножичком.

А поезд все мчался, все прибавлял ходу, весело гремя цепями, соединяющими звенья его гигантского тела, и не чувствовал, какая страшная драма разыг-

рывается в самых недрах его. Но вот колеса застучали глуше, толчки сделались сильнее и реже. Софья Ивановна заметила, как мимо окошечка проплыла большая розовая стена: подходили к станции. Загудел свисток паровоза; еще несколько толчков, и поезд остановился.

Софья Ивановна подошла к двери и стала прислушиваться. Декадент, вынув из кармана зеркальце и гребешок, приводил в порядок прическу.

«Вот идиот! Точно не все равно, в каком он виде будет вылезать из собачьего вагона!»

— Что же теперь прикажете делать?—спросил поэт таким тоном, словно все, что происходило, было придумано самой Софьей Ивановной и вполне от нее зависело.

— Нужно постучать... Господи, как все это глупо!.. Рабочие... смеяться будут... Все равно, я не могу дольше ехать... Я измучилась!..—и она горько заплакала.

К вагону подходили.

— Мало что не поспеть! Ты торопись. Сейчас тронется!—проворчал кто-то за дверью.

Софья Ивановна робко стукнула и вдруг, набравшись смелости, отчаянно забарабанила руками и ногами.

— Ах, подлецы!—закричал странно знакомый голос.— Не выгрузивши свиней, отправлять вагон! Я вам покажу, мерррзавцы! Отворить!

Засов с грохотом отодвинулся.

— Петин голос!.. Петя!.. Господи, помоги! Скажу, что нарочно к нему... Заждалась с обедом... беспокоилась... Боже мой! Боже мой!

Тррах!.. Дверь открыта. Удивленные лица железнодорожных служащих... вытаращенные глаза Петра Игнатьевича...

Она забыла все, что приготовилась сказать, и, напряженно улыбаясь, со слезами на глазах, неожиданно для себя самой пролепетала: «Пора обедать!»

— Спасибо за сюрприз,— мрачно ответил муж, помогая ей слезть и пристально всматриваясь в темный угол вагона, где, затаив дыхание, неподвижно замер бедный «декадент». Вдруг ноздри Петра Игнатьевича дрогнули, шея налилась кровью...

— Пломбу!—скомандовал он, обращаясь к кондуктору, и, собственноручно задвинув одним ударом

сильной руки тяжелую дверь вагона, надписал на ней мелом: «В Харьков, через Москву и Житомир».

— Готово!

Приложили пломбу. Кондуктор свистнул, вскакивая на тормоз. Стукнули буфера, звякнули цепи, глухо зарокотали колеса. Поезд тронулся...

> О, никогда тебя он не забудет,
> Забытый путь!..

ЖИЗНЬ И ВОРОТНИК

Человек только воображает, что беспредельно властвует над вещами. Иногда самая невзрачная вещица вотрется в жизнь, закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту сторону, куда бы ей надлежало идти.

Олечка Розова три года была честной женой честного человека. Характер имела тихий, застенчивый, на глаза не лезла, мужа любила преданно, довольствовалась скромной жизнью.

Но вот как-то пошла она в Гостиный двор и, разглядывая витрину мануфактурного магазина, увидела крахмальный дамский воротник, с продернутой в него желтой ленточкой.

Как женщина честная, она сначала подумала: «Еще что выдумали!» Затем зашла и купила.

Примерила дома перед зеркалом. Оказалось, что если желтую ленточку завязать не спереди, а сбоку, то получится нечто такое, необъяснимое, что, однако, скорее хорошо, чем дурно.

Но воротничок потребовал новую кофточку. Из старых ни одна к нему не подходила.

Олечка мучилась всю ночь, а утром пошла в Гостиный двор и купила кофточку из хозяйственных денег.

Примерила все вместе. Было хорошо, но юбка портила весь стиль. Воротник ясно и определенно требовал круглую юбку с глубокими складками.

Свободных денег больше не было. Но не останавливаться же на полпути?

Олечка заложила серебро и браслетку.

На душе у нее было беспокойно и жутко, и, когда воротничок потребовал новых башмаков, она легла в постель и проплакала весь вечер.

На другой день она ходила без часов, но в тех башмаках, которые заказал воротничок.

Вечером, бледная и смущенная, она, заикаясь, говорила своей бабушке:

— Я забежала только на минутку. Муж очень болен. Ему доктор велел каждый день натираться коньяком, а это так дорого.

Бабушка была добрая, и на следующее же утро Олечка смогла купить себе шляпу, пояс и перчатки, подходящие к характеру воротничка.

Следующие дни были еще тяжелее.

Она бегала по всем родным и знакомым, лгала и выклянчивала деньги, а потом купила безобразный полосатый диван, от которого тошнило и ее, и честного мужа, и старую вороватую кухарку, но которого уже несколько дней настойчиво требовал воротничок.

Она стала вести странную жизнь. Не свою. Воротничковую жизнь. А воротничок был какого-то неясного, путаного стиля, и Олечка, угождая ему, совсем сбилась с толку.

— Если ты английский и требуешь, чтоб я ела сою, то зачем же на тебе желтый бант? Зачем это распутство, которого я не могу понять и которое толкает меня по наклонной плоскости?

Как существо слабое и бесхарактерное, она скоро опустила руки и поплыла по течению, которым ловко управлял подлый воротник.

Она обстригла волосы, стала курить и громко хохотала, если слышала какую-нибудь двусмысленность.

Где-то, в глубине души, еще теплилось в ней сознание всего ужаса ее положения, и иногда, по ночам или даже днем, когда воротничок стирался, она рыдала и молилась, но не находила выхода.

Раз даже она решилась открыть все мужу, но честный малый подумал, что она просто глупо пошутила, и, желая польстить, долго хохотал.

Так дело шло все хуже и хуже.

Вы спросите, почему не догадалась она простонапросто вышвырнуть за окно крахмальную дрянь?

Она не могла. Это не странно. Все психиатры знают, что для нервных и слабосильных людей некоторые страдания, несмотря на всю мучительность их, становятся необходимыми, И не променяют они эту сладкую муку на здоровое спокойствие — ни за что на свете.

Итак, Олечка слабела все больше и больше в этой борьбе, а воротник укреплялся и властвовал.

Однажды ее пригласили на вечер.

Прежде она нигде не бывала, но теперь воротник напялился на ее шею и поехал в гости. Там он вел себя развязно до неприличия и вертел ее головой направо и налево.

За ужином студент, Олечкин сосед, пожал ей под столом ногу.

Олечка вся вспыхнула от негодования, но воротник за нее ответил:

— Только-то?

Олечка со стыдом и ужасом слушала и думала:

— Господи! Куда я попала?!

После ужина студент вызвался проводить ее домой. Воротник поблагодарил и радостно согласился прежде, чем Олечка успела сообразить, в чем дело.

Едва сели на извозчика, как студент зашептал страстно:

— Моя дорогая!

А воротник пошло захихикал в ответ.

Тогда студент обнял Олечку и поцеловал прямо в губы. Усы у него были мокрые, и весь поцелуй дышал маринованной корюшкой, которую подавали за ужином.

Олечка чуть не заплакала от стыда и обиды, а воротник ухарски повернул ее голову и снова хихикнул:

— Только-то?

Потом студент с воротником поехали в ресторан, слушать румын. Пошли в кабинет.

— Да ведь здесь нет никакой музыки! — возмущалась Олечка.

Но студент с воротником не обращали на нее никакого внимания. Они пили ликер, говорили пошлости и целовались.

Вернулась Олечка домой уже утром. Двери ей открыл сам честный муж.

Он был бледен и держал в руках ломбардные квитанции, вытащенные из Олечкиного стола.

— Где ты была? Я не спал всю ночь! Где ты была?

Вся душа у нее дрожала, но воротник ловко вел свою линию.

— Где была? Со студентом болталась!

Честный муж пошатнулся.

— Оля! Олечка! Что с тобой! Скажи, зачем ты закладывала вещи? Зачем занимала у Сатовых и у Яниных? Куда ты девала деньги?

— Деньги? Профукала!

И, заложив руки в карманы, она громко свистнула,

чего прежде никогда не умела. Да и знала ли она это дурацкое слово — «профукала»? Она ли это сказала?

Честный муж бросил ее и перевелся в другой город.

Но что горше всего, так это то, что на другой же день после его отъезда воротник потерялся в стирке.

Кроткая Олечка служит в банке.

Она так скромна, что краснеет даже при слове «омнибус», потому что оно похоже на «обнимусь».

— А где воротник? — спросите вы.

— А я-то почем знаю,— отвечу я.— Он отдан был прачке, с нее и спрашивайте.

Эх, жизнь!

СЕЗОН БЛЕДНОЛИЦЫХ

Когда наступает так называемый «летний сезон», жены, матери, сестры, дети, няньки, кухарки и гувернантки,— словом, вся проза жизни, выезжают из города.

Как ни странно, но, кроме признанных законов природы и гражданина, существуют еще такие, о которых никто не знает, но которым все слепо подчиняются.

Скажите, есть ли такой закон, что человек летом непременно должен съезжать с того места, где он живет зимой?

Я знаю, что вы скажете.

Вы скажете, что закона такого нет, но что человеку вполне естественно менять душный город на деревенскую прохладу.

Вот тут-то вы и попадете впросак: о прохладе никто и не заботится.

Докажу примером.

Сотни петербуржцев едут на лето в Лугу. А жители Луги выезжают в окрестности города. Провинциалы сплошь и рядом приезжают на лето в Петербург (вы скажете — за прохладой?). Многие ездят летом в Севастополь, откуда местные жители разбегаются. Или в Одессу, которая летом тоже невыносима.

Не ясно ли, что дело здесь не в прохладе?

Признаемся откровенно:

— Каждое лето находит на нас странная блажь. И гоняет нас с места на место.

Если же сами мы не можем почему-либо сдви-

нуться, то выгоняем, по крайней мере, жену с гувернантками.

Остается в городе только «труженик-муж бледнолицый», которому, как известно, «не до сна».

И весь город принимает особый, «бледнолицый», вид.

Женщин и детей становится меньше.

Шляпы на женщинах становятся больше.

Открываются загородные сады и театры.

В театрах особый, «бледнолицый», репертуар; танцуют «матчиш», лягают «поло-поло» и лают басом «паргвай-гвай-гвай». Последнее считается пикантным.

Все пьесы стараются ставить с музыкой. О постановке не особенно заботятся, потому что все равно ничего не видно.

Если сидишь во втором ряду, то иногда можно ухитриться увидеть кусочек сцены в щелочку между ухом и шляпой той дамы, которая сидит в первом ряду.

Остальные ничего не видят.

Один провинциал приехал специально в Петербург посмотреть «Веселую вдову».

Очень разочаровался.

— Вот так веселая вдова! Нечего сказать! Просто черная будка с зеленым бантом. Музыка еще туда-сюда, а уж посмотреть совсем не на что.

Ну, на то он и провинциал. Опытных людей не проведешь!

Они живо разберут, что шляпа, а что сцена.

Опытному человеку если станет любопытно, что на сцене происходит, он поманит к себе капельдинера, сунет ему двугривенный и шепнет на ушко:

— Пойди-ка ты, братец, да разнюхай хорошенько, что у них там делается. Потом приди, расскажи. Толково расскажешь — еще гривенник получишь.

Капельдинеру, конечно, приятно тоже заработать. Ну, он и старается. Если усердный человек попадется, так он так распишет, что и смотреть не надо. Лучше автора.

В Зоологическом саду тоже начинается «бледнолицый» сезон.

Администрация деятельно к нему готовится.

Всюду прибиты дощечки с самыми странными надписями, предугадывающими и запрещающими самые неожиданные ваши желания.

«Медведя покорнейше просят зонтиком не дразнить».

Какие тонкие психологи додумались до этих слов! Как могли они знать, что при виде медведя у человека должно явиться непреодолимое желание дразнить его зонтиком? И почему именно зонтиком? Как жутко, что самые сокровенные и темные движения нашей души предугаданы администрацией Зоологического сада!

«Не совать окурков верблюду в нос» тоже «покорнейше просят господ посетителей».

Заметьте, какая спецификация. Администрация прекрасно знает, что никому не придет в голову дразнить верблюда зонтиком или совать окурки медведю в нос. Поэтому это и не запрещается. Вероятно, даже и случая такого не было.

Действительно, где же найдется такой идиот, который стал бы дразнить верблюда зонтиком? Вот медведя — это вполне естественно. Хотя и нехорошо.

Какое, должно быть, странное представление о людях сложилось у зверей Зоологического сада!

Двуногие, красноносые, с трудом удерживающие равновесие.

У их самок болтаются меховые хвосты совсем не на том месте, где это указано природой для всех животных... А на голове у них птичьи трупы...

Ходят красноносые, смотрят тусклыми глазами в благородные горящие звериные очи.

Высовывает тюлень голову из своей грязной лужи. С недоумением оглядывается кругом.

— Эт-та что за рыба? — тычет зонтиком двуногий.— Че-а-ек! Свари мне из нее уху! На пять персон!

КАРЬЕРА СЦИПИОНА АФРИКАНСКОГО

Театральный рецензент заболел. Написал в редакцию, что вечером в театр идти не может, попросил аванс на поправление здоровья и обстоятельств, но билета не вернул.

А между тем рецензия о спектакле была необходима.

Послали к рецензенту, но посланный вернулся ни с чем. Больного вторые сутки не было дома.

Редактор заволновался. Как быть? Билеты все распроданы.

— Я напишу о спектакле,— сказал печальный и тихий голос.

Редактор обернулся и увидел, что голос принадлежит печальному хроникеру, с уныло-вопросительными бровями.

— Вы взяли билет?

— Нет. У меня нет билета. Но я напишу о спектакле.

— Да как же вы пойдете в театр без билета?

— Я в театр не пойду,— все так же печально отвечал хроникер,— но я напишу о спектакле.

Подумали, посоветовались и положились на хроникера и на кривую.

Через час рецензия была готова:

«Александринский театр поставил неудачную новинку «Горе от ума», написанную неким господином Грибоедовым. (Зачем брать псевдонимом такое известное имя?) Sic!..» [1]

— А ведь он ядовито пишет,— сказал редактор и продолжал чтение:

«Написана пьеса в стихах, что наша публика очень любит, и хотя полна прописной морали, но поставлена очень прилично (Sic!). Хотя многим здравомыслящим людям давно надоела фраза вроде «О, закрой свои бледные ноги», как сочиняют наши декаденты. Не мешало бы некоторым актерам и актрисам потверже знать свои роли (Sic! Sic!)».

«А ведь и правда,— подумал редактор.— Очень не мешает актеру знать потверже свою роль. Какое меткое перо!»

«Из исполнителей отметим г-жу Савину, которая обнаружила очень симпатичное дарование и справилась со своей ролью с присущей ей миловидностью. Остальные все были на своих местах.

Автора вызывали после третьего действия. Sic! Sic! Transit! [2]

Сципион Африканский»

— Это что же? — удивился редактор на подпись.

— Мой псевдоним,— скромно опустил глаза печальный хроникер.

— У вас бойкое перо,— сказал редактор и задумался.

---

[1] Так! *(лат.)*

[2] Так! Так! Проходит! *(лат.)*

* * *

Наступили скверные времена. Наполнять газету было нечем. Наняли специального человека, который сидел, читал набранные статьи и подводил их под законы.

«Пять лет каторжных работ! Лишение всех прав! Высылка на родину! Штраф по усмотрению! Конфискация! Запрещение розничной продажи! Крепость!»

Слова эти гулко вылетали из редакторского кабинета, где сидел специальный человек, и наполняли ужасом редакцию.

Недописанные статьи летели в корзину, дописанные сжигались дрожащими руками.

Тогда Сципион Африканский пришел к растерянному редактору и грустно сказал:

— У вас нет материала, так я вам приведу жирафов.

— Что? — даже побледнел редактор.

— Я приведу вам в Петербург жирафов из Африки. Будет много статей.

Недоумевающий редактор согласился.

На другой же день в газете появилась интересная заметка о том, что одно высокопоставленное африканское лицо подарило одному высокопоставленному петербургскому лицу четырех жирафов, которых и приведут из Африки прямо в Петербург сухим путем. Где нельзя — там вплавь.

Жирафы тронулись в путь на другой же день. Путешествие было трудное. По дороге они хворали, и Сципион писал горячие статьи о способе лечения зверей и апеллировал к обществу покровительства животным. Потом написал сам себе письмо о том, что стыдно думать о скотах, когда народ голодает. Потом ответил сам себе очень резко и в конце концов так сам с собой сцепился, что пришлось вмешаться редактору, который боялся, что дело кончится дуэлью и скандалом. Еле уломали: Сципион согласился на третейский суд.

А жирафы, между тем шли да шли. Где-то в Калькутте, куда они, очевидно, забрели по дороге, у них родились маленькие жирафята, и понадобилось сделать привал. Но природа, окружающая отдыхавших путников, была так дивно хороша, что пришлось поместить несколько снимков из Ботанического сада. Кто-то из подписчиков выразил письменное удивление по

поводу того, что в Калькутте леса растут в кадках, но редакция казнила его своим молчанием.

Жирафы были уже под Кавказом, где туземцы устраивали для них живописные празднества, когда редактор неожиданно призвал к себе Сципиона.

— Довольно жирафов,— сказал он.— Теперь начинается свобода печати. Займемся политикой. Жирафы не нужны.

— Господи! Куда же я теперь с ними денусь? — затосковал Сципион с таким видом, точно у него осталось на руках пятеро детей, мал мала меньше.

Но редактор был неумолим.

— Пусть сдохнут,— сказал он.— Мне какое дело.

И жирафы сдохли в Оренбурге, куда их зачем-то понесло.

* * *

Журналистов не пустили в Думу, и газета, в которой работал Сципион, осталась без «кулуаров».

Настроение было унылое.

Сципион писал сам себе телеграммы из Лондона, Парижа и Берлина, где сообщал самые потрясающие известия, и в следующем номере, проверив, красноречиво опровергал их.

А кулуары все-таки были нужны.

— Сципион Африканский,— взмолился редактор.— Может быть, вы как-нибудь сможете...

— Ну, разумеется, могу. Что кулуары — волк, что ли? Очень могу.

На следующий же день появились в газете «кулуары».

«Прекрасная зала екатерининских времен, где некогда гулял сам светлейший повелитель Тавриды, оглашается теперь зрелищем народных представителей.

Вот идет П. Н. Милюков.

— Здравствуйте, Павел Николаевич! — говорит ему молодой, симпатичный кадет.

— Здравствуйте! Здравствуйте! — приветливо отвечает ему лидер партии народной свободы и пожимает его правую руку своей правой рукой.

А вот и Ф. И. Родичев.

Его высокая фигура видна еще издали.

Он весело разговаривает со своим собеседником. До нас долетают слова:

— Так вы еще не завтракали?..
— Нет, Федор Измайлович, еще не успел.
Едва успели мы занести это в свою книжку, как уже наталкиваемся на еврейскую группу.
— Ну что, вы все еще против погромов?
— Безусловно, против,— отвечает, улыбаясь, группа и проходит дальше.
Ожидается бурное заседание, и Маклаков (Василий Алексеевич), видный брюнет, потирает руки.
После краткой беседы с социал-демократами мы вынесли убеждение, что они бесповоротно примкнули к партии с.-д.
Вот раздалась звонкая польская речь, это беседуют между собой два представителя польской группы.
В глубине залы, у колонн, стоит Гучков.
— Какого вы мнения, Александр Иванович, о блоке с кадетами?
Гучков улыбается и делает неопределенный жест.
У входа в кулуары два крестьянина горячо толкуют об аграрной реформе.
В буфете, у стойки, закусывает селедкой Пуришкевич, который принадлежит к крайним правым.
«Нонича, теперича, тае-тае»,— говорят мужички в кулуарах».

* * *

— «Последний Луч» меня переманивает, то есть «кулуары»,— с безысходной грустью заявил Сципион.
Редактор вздохнул, оторвал четвертушку бумаги и молча написал:
«В контору.
Выдать Сципиону Африканскому (Савелию Апельсину) авансом четыреста (400) рублей, с погашением 30%».
Вздохнул еще раз и протянул бумажку Сципиону.

ИЗЯЩНАЯ СВЕТОПИСЬ

Кто хочет быть глубоко, безысходно несчастным?
Кто хочет дойти до отчаяния самого мрачного, самого черного, с зелеными жилками (гладкие цвета теперь не в моде)?

Желающих, знаю, найдется немало, но никто не знает, как этого достигнуть. А между тем дело такое простое...

Нужно только пойти и сняться в одной фотографии. Конечно, я не так глупа, чтобы сейчас же выкладывать ее имя и адрес. Я сама узнала их путем тяжелого испытания, пусть теперь попадутся другие; может быть, это даст мне некоторое удовлетворение... Ах! Ничто нас так не утешает в несчастье, как вид страдания другого,— так сказал один из заратурствующих.

К тому же я слышала, что эта фотография не единственная в таком роде. Их несколько, даже, может быть, много. Так что если повезет, то легко можно напасть на желаемую. (Впрочем, нападет-то она сама на вас!..)

Узнала я обо всем не особенно давно.

И так это все вышло странно... Шла я как-то вечером по Невскому. Было уже темно. Зажгли фонари. На небе тоже стемнело, и зажгли звезды.

Мой спутник впал в лирическое настроение, говорил о том, что все в природе очень мудро, а на углу Троицкой приостановился и, указывая тросточкой на Большую Медведицу, дважды назвал ее «Прекрасной Кассиопеей».

Я подняла голову и уже приготовилась возражать, как вдруг наверху, над крышами, что-то мигнуло. Мелькнул лукавый белый огонек. Вспыхнул, мигнул. Ему ответил другой, немного подальше. Затем третий.

«Кто это там перемигивается ночью, под черным небом? — подумала я.— Дело, как будто, не совсем чисто».

Навели справки. Мне сказали, что это фотографии, работающие при свете магния.

Ну, что ж,— магний так магний.

Я поверила, но в душе осталась какая-то смутная тревога.

И недаром.

* * *

От моей подруги отказался жених. Отказался от доброй, красивой (да — красивой; продолжаю на этом настаивать!) и умной барышни, которую он страстно любил, которой еще месяц тому назад писал — я сама

видела — писал: «Единственная! Целую твои мелкие калоши!»

Отказался! Положим, он прибавил, что, может быть, скоро застрелится, но ей от этого какой профит?

Несчастье произошло оттого, что она подарила ему медальон со своим портретом.

Он страшно обрадовался медальону, открыл его, побледнел и тихо-тихо сказал:

— Однако!

Больше ничего. Только это «однако» и было.

За обедом он ничего не ел и был очень задумчив. Потом, во время кофе, попросил невесту повернуться на минутку в профиль. Затем выскочил и уехал.

На другое же утро невеста получила от него уведомление, что он не создан для семейной жизни. И все было кончено.

* * *

Недавно одни мои добрые знакомые чуть было не отвезли свою единственную дочь в лечебницу для душевнобольных. Я навестила несчастных родителей, и они рассказали мне следующее: недели две тому назад отправилась их дочь в фотографию за пробной карточкой. Вернулась она совсем расстроенная, сказала, что карточка будто бы не готова, отказалась от театра и весь вечер плакала. Ночью жгла в своей комнате какие-то картоны (показание прислуги), а в шесть часов утра влетела в спальню матери с громким требованием сейчас же массировать ей правую сторону носа.

— Несчастная! — урезонивала ее мать.— Опомнись.

— Не могу я опомниться,— отвечала безумная,— когда у меня правая сторона носа втрое толще левой, когда она доминирует над лицом.

Так и сказала: доминирует. Каково это матери выслушивать!

К обеду она, однако, как будто и поуспокоилась, зато ночью прокралась в комнату отца, стащила бритву и сбрила себе правую бровь, а утром побежала к дантисту и умоляла, чтоб он распилил ей рот с левой стороны. Тут ее, голубушку, и сцапали.

Наняли в лечебнице комнату, стали собирать вещи. Вдруг слышат — кричит прислуга истошным голосом.

Кинулись к ней, глядят, а у нее в руках барышнина карточка. Описывать карточку я не стану, хоть мне ее показывали; еще, пожалуй, подумают, что я подражаю Эдгару По. Скажу одно: мать пролежала два дня в истерике, отец подал в отставку, кухарка сделалась за повара и потребовала прибавки жалованья...

Теперь они уезжают из Петербурга, где оставляют столько тяжелых воспоминаний...

* * *

Была я на днях в фотографии и дожидалась, чтобы мне выдали пробные карточки одной знакомой дамы. Сижу, жду. Высокая, тощая особа роется в книгах и квитанциях с видом оскорбленного достоинства.

Вдруг звонок. Входит энергичный, оживленный господин и спрашивает свой портрет. Тощая особа оскорбляется еще глубже и с холодным презрением подает ему карточку. Господин несколько изумленно смотрит, затем начинает добродушно улыбаться.

— Ха! Это который же я?

Особа «холодна и бледна как лилия» и молча указывает длинным перстом.

— Ха! Ну и р-рожа! Отчего это щеку-то так вздуло?

— Такое освещение.

— А нос отчего эдакой, pardon, клюквой?

— Такой ракурс.

— Гм... Уди-витель-но! А где шея? Где моя шея?

— Шея у вас вообще очень коротка, а тут такой поворот.

— Зачем же вы, черт возьми, pardon, так меня посадили?

Несколько минут тягостного молчания.

— А это кто же рядом со мной сидит?

— Это? — (Беглый взгляд на карточку.) — Разумеется, ваша супруга.

— Супруга? — в ужасе переспрашивает господин.— Ишь ты! Как же она могла здесь выйти, когда я с ней еще в девяносто шестом году разошелся. Когда она, pardon, живет в Самаре у тетки.

— Фотография не может быть ответственна за поведение вашей жены.

— Позвольте! Да ведь это, верно, Сашка, pardon, Александр Петрович, с которым я приходил сниматься! Ну конечно! Смотрите, вон и сюртук его...

— Фотография не может быть ответственна за костюмы ваших приятелей.

Господин сконфузился и попросил завернуть карточки, но вдруг остановил тощую особу и робко спросил:

— Не можете ли вы мне сказать, чей это ребенок вышел там у меня на коленях.

Особа долго и внимательно рассматривает карточку, подходит к окну, зажигает лампочку и, наконец, холодно заявляет:

— Это вовсе не ребенок. Это у вас так сложены руки.

— Не ребенок? А как же вон носик и глазки?

— Впрочем, тем лучше, тем лучше! Мне, pardon, было бы ужасно неудобно и даже неприятно, если бы это оказался ребенок... Ну, куда бы я делся с маленьким ребенком на руках?

— Фотография не может быть ответственна.

— Ну да! Ну да! Очень рад. Но все-таки — удивительная игра лучей.

Он ушел. Мне выдали карточку моей знакомой, где она, почтенная старуха, начальница пансиона, была изображена с двумя парами бровей и одним лихо закрученным усом, который, впрочем, при внимательном рассмотрении через лупу оказался бахромкой от драпировки. Но я уже знала, что фотография не может быть ответственна.

Я не захотела огорчать бедную женщину и бросила карточку в Екатерининский канал.

Все равно там рыба дохнет.

* * *

Часто приходится встречать людей бледных, расстроенных, страдающих странным недугом. Они робко спрашивают у знакомых, не кривое ли у них лицо? Не косит ли глаз? Не перегнулся ли нос через верхнюю губу? И на отрицательный ответ недоверчиво и безнадежно отмахиваются рукой.

Их жалеют и им удивляются.

Но я не удивляюсь. Я знаю, в чем дело. Знают также и те, кто перемигивается по ночам высоко под крышами, под самым черным небом.

ОНИ ПОЮТ...

Они начинают петь с шести утра. Из окна моей комнаты я могу видеть прачечную, где они работают, и вылетающие из дверей клубы белого пара, словно пронизанного стальными вибрирующими нитями, их звонкими и глухими, резкими и тягучими разнообразно-ужасными голосами.

От голосов этих нельзя ни укрыться, ни спастись. Они найдут и разыщут вас всюду, они прервут ваш сон, оторвут ваше внимание от работы, от интересной книги и, незримым тонким крючком подцепив вашу протестующую и негодующую душу, потянут ее в царство пошлости, из которой рождены.

Нужно бежать, прямо бежать на улицу,— мелькает в голове. Но вы бросаете взгляд на письменный стол, где лежит неоконченная работа, вспоминаете раскаленные камни мостовой и остаетесь дома.

А они поют, поют, поют... Репертуар их песен самый несложный, но к нему никогда нельзя привыкнуть, как не могли привыкнуть дети Якова Д'Арманьяка к тому, что, по приказанию Генриха VIII, им выдергивали каждый день по одному зубу; не могли, несмотря на все однообразие этой пытки.

Куда уплыла широкая стонущая волна старой русской песни, с ее грустными, захватывающими переливами, с наивными бессознательно-красивыми словами? Неужели она бесповоротно вытеснена безобразными и бессмысленными фабричными напевами? В глуши Могилевской губернии, на расстоянии более ста верст от железной дороги, деревенские бабы распевают «Канхветка моя, лядинистая». Этот гостинец, вместе с безобразными «модными» кофтами, принесли им мужья из далеких городов, куда они ходят на заработки.

Знаменитые песни «Не одна во поле дороженька», «Не белы снеги» заброшены совсем. Деревенская молодежь их не любит, говорит, что это песни мужицкие (оказывается, что мужикам не нравится «мужицкое», их же собственное свойство!).

Я вспоминаю эти красивые, полузабытые песни, а те, там внизу, все поют и поют! Сегодня нет между ними согласия и единства. Каждая тянет свое. Вот широким серым винтом крутится однообразная, тоск-

ливая мелодия, прерываемая длинными паузами, во время которых я замираю от ожидания, от смутной надежды, что этот куплет был последним. Но винт продолжает кружиться, ввинчивается в мои мысли, разбивает их...

Мамашенька руга-ала! —

широко, повествовательно и убедительно сообщает новый тягучий голос, и мне кажется, что я вижу источник его — растянутый поблекший рот, увенчанный круглым красным носом, и я всецело становлюсь на сторону «мамашеньки», которая ругала.

А вот другой восторженный голос предлагает полюбоваться совершенно невообразимым пейзажем, но, должно быть, успокоительным:

Посмотри, над рекой
Вьется мрамор морской.

А вот еще новый куплет, который даже приводит меня в умиление:

Напишу я твой портрет,
Господа будут съезжаться,
На портретах любоваться,
В один голос говорить:
Да и что это за прелесть!
Неужели — человек?

О, светлая, девственная, нетронутая глупость! Глупость, перед которой, по словам Гете, преклонялись даже боги!

А они все поют, поют... Я ненавижу их! Я возмущаюсь против себя самой, но я ненавижу их! Я стараюсь внушить себе мысль, что это бедные женщины-труженицы, что песнью своей они скрашивают жизнь, облегчают труд, что это их неотъемлемое право, но мысль эта скользит по поверхности моей души, не затрагивая ее.

Потом я начинаю утешать себя, что не могут они петь без отдыха весь день. Должны же они, наконец, хоть обедать, что ли! И я представляю себе большие, огромные куски хлеба, которыми мысленно затыкаю все эти отверстые, звенящие и гудящие рты.

Но они, вероятно, обедают по очереди, потому что голоса их не смолкают весь день.

Не смейся надо мной,
Господь тебя накажет
Возвратною женой.

«Возвратною женой!» Как это звучит! «Возвратная жена!» Словно возвратный тиф. Нет, еще хуже. Мой утомленный мозг рисует мне странные, нелепые картины... А они все поют, поют...

Я смотрю на часы: четыре! Итак, полдня я слушаю их. Да, да! Они поют, а я слушаю! Мне начинает казаться, что я сошла с ума, что реально существовать не может такого ужаса.

В продолжение получаса думаю об инквизиционных пытках Торквемада! Детские забавы! Грубые, примитивные приемы для вызова физических страданий.

Прачку! Одну петербургскую прачку нужно было им.

Я мысленно предаю всех своих врагов, затем друзей и родственников, затем клевещу на близких и дальних своих. Какой жертвы хочешь ты от меня еще, прачка?

Последнее средство: возьму старую, давно знакомую, давно любимую книгу. Она захватит мою душу, уведет ее за собой. Я беру том Шекспира, открываю его и, оборачиваясь к окну, говорю заклинание: «Прачка! Трехвековая нетленная красота в руках моих. Сгинь! Пропади!»

Я читаю, глаза скользят по строчкам, которых я не вижу, не понимаю, не могу понять. Я слышу, как «ругает мамашенька» и «вьется над рекой морской мрамор»! Спасенья нет. Я бросаю книгу и начинаю метаться по комнате, ломая руки и повторяя, как леди Макбет: «It will make me mad! It will make me mad!» [1]

А они все поют! поют! поют!..

АНАФЕМЫ

...Многие голоса высказались на киевском миссионерском съезде за постановление личного церковного анафематствования как исправительной меры.

Из газет

Молодой дьякон Владыкесвоемушуйцулобызященский озабоченно разбирал на столе груду записочек, сортировал их, откладывал стопками.

[1] Это сведет меня с ума! Это сведет меня с ума! *(англ.)*

— Пятнадцать анафем, да четыре онамедняшних, которые, значит, онамедни поступили... да еще десять старых анафем...

— Ты чего, отец, ругаешься?—с упреком сказала дьяконица.

Дьякон бросил на нее вскользь удивленный взгляд и продолжал свою работу.

— Да казенных анафем... Гришка Отрепьев... болярин граф Лев Толстой, иже написа «Анну Каренину», да частного поступления раз... два... о Господи!.. восемь... одиннадцать анафем! Одних частных анафем одиннадцать!

— А ты бы отобрал, отец. Может, которые не к спеху, так и отложить можно.

— Не отложишь! Это, брат матушка, не пустяк. Служба!

— Ну, отваляй как-нибудь. Чего там!

— Отваляй? Нет, брат, не отваляешь! Это вы промеж себя, по женскому делу, так у вас все в скороговорку идет. «Ах ты, такая, мол, сякая, анафема! От анафемы и слышу!» У нас эдак нельзя. Дело ответственное. Нужно голосом вывести.

Вон еще две какие-то записочки. Эти-то что? «О здравии болящей Макриды». Нашли время! Лезут с Макридой! Тут от одной анафемы не продохнуть. Вон господин певец Собинов прислал анафему на всех собинисток, «иже фа диез не приемлют...». Кажись, так, ежели я не спутал чего.

— Трудно нынче жить стало!—вздохнула дьяконица.—Все как-то по-особенному...

— От Луриха... «Сатирикону» анафема, иже не пятяся задом, подобно Симу и Иафету, прикры наготу чемпионову, но яко Хам надругался. И будьте добры, отец диакон, ежели возможно, до седьмого колена...» Опытная рука писала. Посоветуюсь.

— Ох! Дела, дела!

— От тайного советника Акимова... Государственному Совету анафема. Господи! И с чего бы это? Вот уж, именно, как сказано: сами себя и друг друга. Буквально—весь живот свой! Неисповедимо! Вот сама посуди, дьяконица, исповедимо ли это?

— Как быдто нет. Казенная анафема-то?

— Нет, приватного свойства.

— Мудреное дело! Как кончишь—пойди на кухню; там тебя баба спрашивает.

— Баба? Скажи, что теперь не до молебнов. Ежели покойничек доспеет, так пусть на погребке полежит. Небось не убежит. Не разорваться же. Крестины? Я на крестины поеду, а анафемы ждать будут? Нет, это не дело. Позови-ка бабу сюда. Тебе чего? А? Крестить? Соборовать?

— Батюшка,— кланялась баба,— яви таку божеску милость! Хушь немножечко! Хушь один разок. Светильник ты наш! Хушь шепотком в полчаса!

— Да ты насчет чего?

— Да насчет этой самой... насчет анафемы! Уж такая ли она анафема, что и произнесть нельзя! Уж эдакой анафемы и свет не производил! У кого хочешь спроси. Наш волостной писарь тоже человек, а уж и тот говорит, что ежели она...

— Да кто анафема-то?

— Да свекровушка моя! Вся деревня знает. Кого хошь спроси! Уж эдакой анафемы... Прослышаны мы, что теперь можно в церкви, ну и порешили промеж себя. Ан, думаю, пойду к отцу дьякону, поклонюсь ему курицей. Потому, так ее сколько ни гвозди, она и ухом не поведет. А ежели церковным порядком — это дело крепкое!

Дьякон задумался.

— Нет, тетка, это дело неподходящее.

— Уж верь, батюшка, совести! Уж ежели это не анафема, так уж и не знаю.

— Не лезь, тетка,— вмешалась дьяконица.— Говорят тебе, нельзя. Ужасно балованный народ пошел. Распущенность! Сегодня прихожу в кухню, а Ксюшка, анафема, сидит и толстовскую книжку про мужика читает. Ты это, говорю, что читаешь? Ты, говорю, анафема, анафему читаешь?..

— Явите божеску милость,— захныкала баба.— Ну хошь разок! Курицей поклонюсь.

— Хошь петухом, а ежели нет указа.

— Как нет?

— А так. Разрешение от полиции имеешь? Докторское свидетельство есть? Да еще правильно ли твоя анафема прописана? Может, у нее документ не в порядке. Тут вон, матушка, какие лица анафематствуют. Можно сказать, личности! А ты с пустяком лезешь. Разве можно!

— Можно! Сама слышала. Вся деревня знает. Графа-то намедни как проклинали? А? Анафема! Распроанафема. И чтобы трижды проклят и дважды заклят,

тьфу, тьфу и тьфу! Все знают! Думаешь, темный народ, так и прав своих не понимает? Графу так и то, и се, и на всех амвонах, а как простому человеку, так и сунуться некуда! Видно, господам-то везде не то, что нашему брату.

Ну, Бог с тобой, коли тебе, дьякон, сиротская слеза не солона. Пойду домой. Уж я ж ее, анафему, облаю. Хошь мы и темный народ, на попа, на дьякона не учены... Сиди без курицы!

К ТЕОРИИ ФЛИРТА

Так называемый «флирт мертвого сезона» начинается обыкновенно — как должно быть каждому известно — в средине июня и длится до средины августа. Иногда (очень редко) захватывает первые числа сентября.

Арена «флирта мертвого сезона» — преимущественно Летний сад.

Ходят по боковым дорожкам. Только для первого и второго rendez-vous допустима большая аллея. Далее пользоваться ей считается уже бестактным.

«Она» никогда не должна приходить на rendez-vous первая. Если же это и случится по оплошности, то нужно поскорее уйти или куда-нибудь спрятаться.

Нельзя также подходить к условленному месту прямой дорогой, так, чтобы ожидающий мог видеть вашу фигуру издали. В большинстве случаев это бывает крайне невыгодно. Кто может быть вполне ответствен за свою походку? А разные маленькие случайности вроде расшалившегося младенца, который на полном ходу ткнулся вам головой в колена или угодил мячиком в шляпу? Кто гарантирован от этого?

Да и если все сойдет благополучно, то попробуйте-ка пройти сотни полторы шагов, соблюдая все законы грации, сохраняя легкость, изящество, скромность, легкую кокетливость и вместе с тем сдержанность, элегантность и простоту.

Сидящему гораздо легче.

Если он мужчина,— он читает газету или «нервно курит папиросу за папиросой».

Если женщина,— задумчиво чертит по песку зонтиком или, грустно поникнув, смотрит, как догорает закат. Очень недурно также ощипывать лепестки цветка.

Цветы можно всегда купить по сходной цене тут же около сада, но признаваться в этом нельзя. Нужно делать вид, что они самого загадочного происхождения.

Итак, дама не должна приходить первая. Кроме того случая, когда она желает устроить сцену ревности. Тогда это не только разрешается, но даже вменяется в обязанность.

— А я уже хотела уходить...

— Боже мой! Отчего же?

— Я ждала вас почти полчаса.

— Но ведь вы назначили в три, а теперь еще без пяти минут...

— Конечно, вы всегда окажетесь правы...

— Но ведь часы...

— Часы здесь ни при чем...

Вот прекрасная интродукция, которая рекомендуется всем в подобных случаях.

Дальше уже легко.

Можно прямо сказать:

— Ах да... Между прочим, я хотела у вас спросить, кто та дама... и т. д.

Это выходит очень хорошо.

Еще одно важное замечание: сцены ревности всегда устраиваются в Таврическом саду. Отнюдь не в Летнем. Почему? А я почем знаю — потому! Так уж принято. Не нами заведено, не нами и кончится.

Да кроме того,— попробуйте-ка в Летнем! Ничего не выйдет.

Таврический специально приноровлен. Там и печальные дорожки, и тихие пруды («Я желаю только покоя!..»), и вид на Государственную Думу («... и я еще мог надеяться!..»).

Да, вообще, лучше Таврического сада на этот предмет не выдумаешь.

Одно плохо: в Таврическом саду всегда страшно хочется спать. Для бурной сцены это условие малоподходящее. Для меланхолической — великолепно.

Если вам удастся зевнуть совершенно незаметно, то вы можете поднять на «него» или на «нее» свои «изумленные глаза, полные слез», и посмотреть с упреком.

Если же вы ненароком зевнете слишком уж откровенно, то вы можете, скорбно и кротко улыбнувшись, сказать: «Это нервное».

Вообще, флиртующим рекомендуется к самым неэстетическим явлениям своего обихода приурочивать слово «нервное». Это всегда очень облагораживает.

У вас, например, сильный насморк, и вы чихаете, как кошка на лежанке. Чиханье, не правда ли, всегда почему-то принимается как явление очень комического разряда. Даже сам чихнувший всегда смущенно улыбается, точно хочет сказать: «Вот видите, я смеюсь, я понимаю, что это очень смешно, и вовсе не требую от вас уважения к моему поступку!»

Чиханье для флирта было бы гибельным. Но вот тут-то и может спасти вовремя сказанное: «Ах! Это нервное!»

В некоторых случаях особо интенсивного флирта даже флюс можно отнести к разряду нервных заболеваний. И вам поверят. Добросовестный флиртер непременно поверит.

Ликвидировать флирты мертвого сезона можно двояко. И в Летнем саду, и в Таврическом. В Летнем проще и изящнее. В Таврическом нуднее, затяжнее, но эффектнее. Можно и поплакать, «поднять глаза, полные слез»...

При прощании в Летнем саду очень рекомендуется остановиться около урны и, обернувшись, окинуть последний раз грустным взором заветную аллею. Это выходит очень хорошо. Урна, смерть, вечность, умирающая любовь, и вы в полуобороте, шляпа в ракурсе... Этот момент не скоро забудется. Затем быстро повернитесь к выходу и смешайтесь с толпой.

Не вздумайте только, Бога ради, торговаться с извозчиком. Помните, что вам глядят вслед. Уж лучше, понурив голову, идите через цепной мост (ах, он также сбросил свои сладкие цепи!..). Идите, не оборачиваясь, вплоть до Пантелеймоновской. Там уже можете купить Гала Петера и откусить кусочек.

Считаю нужным прибавить к сведению господ флиртеров, что теперь совсем вышло из моды при каждой встрече говорить:

— Ах! Это вы?

Теперь уже все понимают, что раз условлено встретиться, то ничего нет и удивительного, что человек пришел в назначенное время в назначенное место.

Кроме того, если в разгар флирта вы неожиданно натолкнетесь на какого-нибудь старого приятеля, то вовсе не обязательно при этом восклицание:

— Ах! Сегодня день неожиданных встреч. Только что встретилась с... (имярек софлиртующего), а теперь вот с вами!

Когда-то это было очень ловко и тонко. Теперь никуда не годится.

Старо и глупо.

Юмористические рассказы

Книга вторая

ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ

Предисловие

Вот как началось.

«Сказал Бог: сотворю человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Бытие I, 26).

И стало так. Стал жить и множиться человек, передавая от отца к сыну, от предков к потомкам живую горящую душу — дыханье Божье.

Вечно было в нем искание Бога и в признании, и в отрицании, и не меркнул в нем дух Божий вовеки.

Путь человека был путь творчества. Для него он рождался, и цель его жизни была в нем. По преемству духа Божия он продолжал созидание мира.

«И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ея, скотов и гадов и зверей земных по роду их» (Бытие I, 24).

И стало так.

Затрепетало влажное, еще не отвердевшее тело земное, и закопошилось в нем желание жизни движущимися мерцающими точками — коловратками. Коловратки наполнили моря и реки, всю воду земную, и стали искать, как им овладеть жизнью и укрепиться в ней.

Они обратились в аннелид, в кольчатых червей, в девятиглазых с дрожащими чуткими усиками, осязающими малейшее дыхание смерти. Они обратились в гадов, амфибий, и выползали на берег, и жадно ощупывали землю перепончатыми лапами, и припадали к ней чешуйчатой грудью. И снова искали жизнь, и овладевали ею.

Одни отрастили себе крылья и поднялись на воздух, другие поползли по земле, третьи закостенили

свои позвонки и укрепились на лапах. И все стали приспособляться, и бороться, и жить.

И вот, после многовековой работы, первый усовершенствовавшийся гад принял вид существа человекообразного. Он пошел к людям и стал жить с ними. Он учуял, что без человека ему больше жить нельзя, что человек поведет его за собой в царство духа, куда человекообразному доступа не было. Это было выгодно и давало жизнь. У человекообразных не было прежних чутких усиков, но чутье осталось.

* * *

Люди смешались с человекообразными. Заключали с ними браки, имели общих детей. Среди детей одной и той же семьи приходится часто встречать маленьких людей и маленьких человекообразных. И они считаются братьями.

Но есть семьи чистых людей и чистых человекообразных. Последние многочисленнее, потому что человекообразное сохранило свою быстроразмножаемость еще со времени кольчатого девятиглазного периода. Оно и теперь овладевает жизнью посредством количества и интенсивности своего жизнежелания.

* * *

Человекообразные разделяются на две категории: человекообразные высшего порядка и человекообразные низшего порядка.

Первые до того приспособились к духовной жизни, так хорошо имитируют различные проявления человеческого разума, что для многих поверхностных наблюдателей могут сойти за умных и талантливых людей.

Но творчества у человекообразных быть не может, потому что у них нет великого Начала. В этом их главная мука. Они охватывают жизнь своими лапами, крыльями, руками, жадно ощупывают и вбирают ее, но творить не могут.

Они любят все творческое, и имя каждого гения окружено венком из имен человекообразных.

Из них выходят чудные библиографы, добросовестные критики, усердные компиляторы и биографы, искусные версификаторы.

Они любят чужое творчество и сладострастно трутся около него.

Переписать стихи поэта, написать некролог о знакомом философе или, что еще отраднее,— личные воспоминания о талантливом человеке, в которых можно исать «мы», сочетать в одном свое имя с именем гения. Сладостная радость жужелицы, которая думает об ангеле: «Мы летаем!..»

В последнее время стали появляться странные, жуткие книги. Их читают, хвалят, но удивляются. В них все. И внешняя оригинальность мысли, и мастерская форма изложения. Стихи со всеми признаками принадлежности их к модной школе. Но чего-то в них не хватает. В чем дело?

Это — приспособившиеся к новому движению человекообразные стали упражняться.

* * *

Человекообразные низшего порядка менее восприимчивы. Они все еще ощупывают землю и множатся, своим количеством овладевая жизнью.

Они любят приобретать вещи, всякие осязаемые твердые куски, деньги.

Деньги они копят не сознательно, как человек, желающий власти, а упрямо и тупо, по инстинкту завладевания предметами. Они очень много едят и очень серьезно относятся ко всяким жизненным процессам. Если вы вечером где-нибудь в обществе скажете: «Я сегодня еще не обедал»,— вы увидите, как все человекообразные повернут к вам головы.

* * *

Человекообразное любит труд. Труд это его инстинкт. Только трудом может оно добиться существования человеческого, и оно трудится само и заставляет других трудиться в помощь себе.

Одна мгновенная творческая мысль гения перекидывает человечество на несколько веков вперед по той гигантской дороге, по которой должно пробраться человекообразное при помощи перепончатых лап, тяжелых крыл, кольчатых извивов и труда бесконечного.

Но оно идет всегда по той же дороге, вслед за человеком, и все, что брошено гением во внешнюю земную жизнь,—делается достоянием человекообразного.

* * *

Человекообразное движется медленно, усваивает с трудом и раз приобретенное отдает и меняет неохотно.

Человек ищет, заблуждается, решается, создает закон—синтез своего искания и опыта.

Человекообразное, приспособляясь, принимает закон, и, когда человек, найдя новое, лучшее, разрушает старое,—человекообразное только после долгой борьбы отцепляется от принятого. Оно всегда последнее во всех поворотах пути истории.

Там, где человек принимает и выбирает,—человекообразное трудится и приспособляется.

* * *

Человекообразное не понимает смеха. Оно ненавидит смех, как печать Бога на лице души человеческой.

В оправдание себе оно оклеветало смех, назвало его пошлостью и указывает на то, что смеются даже двухмесячные младенцы. Человекообразное не понимает, что есть гримаса смеха, мускульное бессознательное сокращение, встречающееся даже у собак, и есть истинный, сознательный и не всем доступный духовный смех, порождаемый неуловимо-сложными и глубокими процессами.

Когда люди видят что-нибудь уклоняющееся от истинного, предначертанного, уклоняющееся неожиданно-некрасиво, жалко, ничтожно, и они постигают это уклонение,—душой их овладевает бурная экстазная радость, торжество духа, знающего истинное и прекрасное. Вот психическое зарождение смеха.

У человекообразного, земнорожденного, нет духа и нет торжества его—и человекообразное ненавидит смех.

Вспомните: в смеющейся толпе всегда мелькают недоуменно-тревожные лица. Кто-то спешит заглушить смех, переменить разговор. Вспомните: сверкают злые глаза и сжимаются побледневшие губы...

Некоторые породы человекообразных, отличающиеся особой приспособленностью, уловили и усвоили внешний симптом и проявление смеха. И они смеются.

Скажите такому человекообразному: «Слушайте! Вот смешной анекдот»,—и оно сейчас же сократит мускулы лица и издаст смеховые звуки.

Такие человекообразные смеются очень часто, чаще самых веселых людей, но всегда странно — или не узнав еще причины, или без причины, или позже общего смеха.

В театре на представлении веселого водевиля или фарса — прислушайтесь: после каждой шутки вы услышите два взрыва смеха. Сначала засмеются люди, за ними человекообразные.

* * *

Человекообразное не знает любви.

Ему знакомо только простое, не индивидуализирующее половое чувство. Чувство это грубое и острое обычно у человекообразных, как инстинкт завладевания землей и жизнью. Во имя его человекообразное жертвует многим, страдает и называет это своей любовью. Любовь эта исчезает у него, как только исполнит свое назначение, то есть даст ему возможность размножиться. Человекообразное любит вступать в брак и блюсти семейные законы.

Детей они ласкают мало. Больше «воспитывают». О жене говорят: «она *должна* любить мужа». Нарушение супружеской верности осуждают строже, чем люди, как и вообще нарушение всякого закона. Боятся, что, испортив старое, придется снова приспособляться.

Человекообразные страстно любят учить. Из них многие выходят в учителя, в профессора. Уча — они торжествуют. Говоря чужие слова ученикам, они представляют себе, что это их слова, ими созданные.

* * *

За последнее время они размножились. Есть неоспоримые приметы. Появились их книги в большом количестве. Появились кружки. Почти вокруг каждого сколько-нибудь выдающегося человека сейчас же

образуется кружок, школа. Это все стараются человекообразные.

Они притворяются теперь великолепно, усвоили себе все ухватки настоящего человека. Они лезут в политику, стараются пострадать за идею, выдумывают новые слова или дико сочетают старые, плачут перед Сикстинской мадонной и даже притворяются развратниками.

Они стали выдумывать оригинальности. Они крепнут все более и более и скоро задавят людей, завладеют землей. Уже много раз приходилось человеку преклоняться перед их волей, и теперь уже можно думать, что они сговорились и не повернут больше за человеком, а будут стоять на месте и его остановят. А может быть, прикончат с ним и пойдут назад отдыхать.

Многие из них уже мечтают и поговаривают о хвостах и лапах...

ЭКЗАМЕН

На подготовку к экзамену по географии дали три дня. Два из них Маничка потратила на примерку нового корсета с настоящей планшеткой. На третий день вечером села заниматься.

Открыла книгу, развернула карту и — сразу поняла, что не знает ровно ничего. Ни рек, ни гор, ни городов, ни морей, ни заливов, ни бухт, ни губ, ни перешейков — ровно ничего.

А их было много, и каждая штука чем-нибудь славилась.

Индийское море славилось тайфуном, Вязьма — пряниками, Пампасы — лесами, Льяносы — степями, Венеция — каналами, Китай — уважением к предкам.

Все славилось!

Хорошая славушка дома сидит, а худая по свету бежит — и даже Пинские болота славились лихорадками.

Подзубрить названия Маничка еще, может быть, и успела бы, но уж со славой ни за что не справиться.

— Господи, дай выдержать экзамен по географии рабе твоей Марии!

И написала на полях карты: «Господи, дай! Господи, дай! Господи, дай!»

Три раза.

Потом загадала: напишу двенадцать раз «Господи, дай», тогда выдержу экзамен.

Написала двенадцать раз, но, уже дописывая последнее слово, сама себя уличила:

— Ага! Рада, что до конца дописала. Нет, матушка! Хочешь выдержать экзамен, так напиши еще двенадцать раз, а лучше и все двадцать.

Достала тетрадку, так как на полях карты было места мало, и села писать. Писала и приговаривала:

— Воображаешь, что двадцать раз напишешь, так и экзамен выдержишь? Нет, милая моя, напиши-ка пятьдесят раз! Может быть, тогда что-нибудь и выйдет. Пятьдесят? Обрадовалась, что скоро отделаешься! А? Сто раз, и ни слова меньше...

Перо трещит и кляксит.

Маничка отказывается от ужина и чая. Ей некогда. Щеки у нее горят, ее всю трясет от спешной, лихорадочной работы.

В три часа ночи, исписав две тетради и кляпспапир, она уснула над столом.

Тупая и сонная, вошла она в класс.

Все уже были в сборе и делились друг с другом своим волнением.

— У меня каждую минуту сердце останавливается на полчаса! — говорила первая ученица, закатывая глаза.

На столе уже лежали билеты. Самый неопытный глаз мог мгновенно разделить их на четыре сорта: билеты, согнутые трубочкой, лодочкой, уголками кверху и уголками вниз.

Но темные личности с последних скамеек, состряпавшие эту хитрую штуку, находили, что все еще мало, и вертелись около стола, поправляя билеты, чтобы было повиднее.

— Маня Куксина! — закричали они. — Ты какие билеты вызубрила? А? Вот замечай как следует: лодочкой — это пять первых номеров, а трубочкой пять следующих, а с уголками...

Но Маничка не дослушала. С тоской подумала она, что вся эта ученая техника создана не для нее, не вызубрившей ни одного билета, и сказала гордо:

— Стыдно так мошенничать! Нужно учиться для себя, а не для отметок.

Вошел учитель, сел, равнодушно собрал все билеты и, аккуратно расправив, перетасовал их. Тихий стон прошел по классу. Заволновались и заколыхались, как рожь под ветром.

— Госпожа Куксина! Пожалуйте сюда.

Маничка взяла билет и прочла. «Климат Германии. Природа Америки. Города Северной Америки»...

— Пожалуйста, госпожа Куксина. Что вы знаете о климате Германии?

Маничка посмотрела на него таким взглядом, точно хотела сказать: «За что мучаешь животных?» — и, задыхаясь, пролепетала:

— Климат Германии славится тем, что в нем нет большой разницы между климатом севера и климатом юга, потому что Германия, чем южнее, тем севернее...

Учитель приподнял одну бровь и внимательно посмотрел на Маничкин рот.

— Так-с!

Подумал и прибавил:

— Вы ничего не знаете о климате Германии, госпожа Куксина. Расскажите, что вы знаете о природе Америки?

Маничка, точно подавленная несправедливым отношением учителя к ее познаниям, опустила голову и кротко ответила:

— Америка славится Пампасами.

Учитель молчал, и Маничка, выждав минуту, прибавила чуть слышно:

— А Пампасы Льяносами.

Учитель вздохнул шумно, точно проснулся, и сказал с чувством:

— Садитесь, госпожа Куксина.

Следующий экзамен был по истории.

Классная дама предупредила строго:

— Смотрите, Куксина! Двух переэкзаменовок вам не дадут. Готовьтесь как следует по истории, а то останетесь на второй год! Срам какой!

Весь следующий день Маничка была подавлена. Хотела развлечься и купила у мороженщика десять порций фисташкового, а вечером уже не по своей воле приняла касторку.

Зато на другой день — последний перед экзаменами — пролежала на диване, читая «Вторую жену» Мар-

литта, чтобы дать отдохнуть голове, переутомленной географией.

Вечером села за Иловайского и робко написала десять раз подряд: «Господи, дай...»

Усмехнулась горько и сказала:

— Десять раз! Очень Богу нужно десять раз! Вот написать бы раз полтораста, другое дело было бы!

В шесть часов утра тетка из соседней комнаты услышала, как Маничка говорила сама с собой на два тона.

Один тон стонал:

— Не могу больше! Ух, не могу!

Другой ехидничал:

— Ага! Не можешь! Тысячу шестьсот раз не можешь написать «Господи, дай», а экзамен выдерживать — так это ты хочешь! Так это тебе подавай! За это пиши двести тысяч раз! Нечего! Нечего!

Испуганная тетка прогнала Маничку спать.

— Нельзя так. Зубрить тоже в меру нужно. Переутомишься — ничего завтра ответить не сообразишь.

В классе старая картина.

Испуганный шепот и волнение, и сердце первой ученицы, останавливающееся каждую минуту на три часа, и билеты, гуляющие по столу на четырех ножках, и равнодушно перетасовывающий их учитель.

Маничка сидит и, ожидая своей участи, пишет на обложке старой тетради: «Господи, дай».

Успеть бы только исписать ровно шестьсот раз, и она блестяще выдержит!

— Госпожа Куксина Мария!

Нет, не успела!

Учитель злится, ехидничает, спрашивает всех не по билетам, а вразбивку.

— Что вы знаете о войнах Анны Иоанновны, госпожа Куксина, и об их последствиях?

Что-то забрезжило в усталой Маничкиной голове:

— Жизнь Анны Иоанновны была чревата... Анна Иоанновна чревата... Войны Анны Иоанновны были чреваты...

Она приостановилась, задохнувшись, и сказала еще, точно вспомнив наконец то, что нужно:

— Последствия у Анны Иоанновны были чреватые...

И замолчала.

Учитель забрал бороду в ладонь и прижал к носу.

Маничка всей душой следила за этой операцией, и глаза ее говорили: «За что мучаешь животных?»

— Не расскажете ли теперь, госпожа Куксина,— вкрадчиво спросил учитель,— почему Орлеанская дева была прозвана Орлеанской?

Маничка чувствовала, что это последний вопрос, вопрос, влекущий огромные, самые «чреватые последствия». Правильный ответ нес с собой: велосипед, обещанный теткой за переход в следующий класс, и вечную дружбу с Лизой Бекиной, с которой, провалившись, придется разлучиться. Лиза уже выдержала и перейдет благополучно.

— Ну-с?—торопил учитель, сгоравший, по-видимому, от любопытства услышать Маничкин ответ.— Почему же ее прозвали Орлеанской?

Маничка мысленно дала обет никогда не есть сладкого и не грубиянить. Посмотрела на икону, откашлялась и ответила твердо, глядя учителю прямо в глаза:

— Потому что она была девица.

СВЯТОЙ СТЫД

С утра сильно качало. Потом обогнули какой-то мыс, и сразу стало легче, а к обеду уже все пассажиры выползли из своих кают и только делились впечатлениями.

Толстый бессарабский помещик пил сельтерскую с коньяком и, бросая кругом презрительные взгляды, рассказывал:

— Я всегда геройски переношу качку. Нужно только правильно сесть—вот так. Затем положить оба локтя на стол и стараться ни о чем не думать. Я всегда геройски переношу. Но главное—это правильно сесть.

Совет его не пользовался успехом. Все помнили, как несколько часов тому назад два дюжих лакея волокли его под руки то вверх на палубу, то вниз с палубы и он вопил не своим голосом.

— Ой, братцы, ой, где же здесь равновесие!

Очевидно, правильно сесть было очень трудно.

После обеда, когда жара спала, пассажиры первого класса собрались на палубе и мирно беседовали.

Герой помещик ушел отдыхать, и общество оказалось почти исключительно дамским: девять дам и один студент.

Были здесь дамы и молодые, и старые, и нарядные, и уютные, но между ними резко выделялись три, молчаливо признанные всеми «аристократками». Они были не стары и не дурны собой, одеты изящно, вели себя сдержанно и старались держаться особняком. Они и здесь сидели несколько поодаль и в общий разговор не вступали.

К группе беседующих вскоре присоединился и сам капитан.

Это был толстый весельчак, остряк и хохотало. От смеха весь трясся, пучил глаза, и в горле у него что-то щелкало.

— Эге! Да мы здесь в дамской компании! Господин студент, вы себе прогуляйтесь по верхней палубе, а мы, женщины, поболтаем.

Студент сконфузился — он был вообще совсем какой-то белоглазый и тихенький,— сделал несколько шагов и сел на соседнюю скамейку.

— Ну-с,— сказал капитан деловито,— теперь я хочу рассказать вам историйку, которая случилась с одним моим приятелем, тоже капитаном парохода.

История оказалась просто анекдотом, и довольно неприличным. Дамы немножко сконфузились, но когда одна из них, молодая купчиха, искренне засмеялась, стали смеяться и другие. Студент на соседней скамейке закрывал рот обеими ладонями.

Капитан был очень доволен. Покраснел и даже весь вспотел, точно анекдот ударил ему в голову.

— Ну-с, а теперь я вам расскажу, что произошло с одним дядюшкой, который покупал имение на имя племянницы. Это — факт! Можете смело верить.

Новый анекдот оказался таков, что дамы долгое время только руками отмахивались, а студент ушел на корму и там тихонько захрюкал.

Но сам капитан хохотал так искренне, и в горле у него так вкусно что-то щелкало, что долго крепиться было нельзя, и дамы прыснули тоже.

За рассказом о дядюшке последовала повесть о дьячке и купчихе, затем о двух старухах, о прянике, о железнодорожном зайце, об еврейке и мышеловке, все смешнее и смешнее, все забористее и забористее.

Дамы совсем расслабли от смеха, как-то распарились и осели. Смеясь, уже выговаривали не «ха-ха» и не «хи-хи», а охали и стонали, утирая слезы.

Студент сидел уже тут же и так размяк, что хохотал даже при самом начале каждого анекдота, когда еще ничего смешного и сказано не было, брал на веру.

Капитан же был один сплошной кусок мягкого, сочного, трясущегося смеха. Он весь так пропитался своими анекдотами, что они точно брызгали из него, теплые, щекотные. Да и слушать его не надо было, а только смотреть на эти прыгающие щеки, вспотевшие круглые брови, всю эту колыхающуюся искренним смехом тыкву, чтобы самому почувствовать, как вдруг щеки начинают расползаться и в груди что-то пищать — хи-ы!

После одного особенно удавшегося анекдота капитан повернулся немножко вправо и увидел компанию «аристократок». Они не смеялись. Они вполголоса сказали что-то друг другу, с недоумением пожали плечами и презрительно поджали губы.

«Жантильничают! — весело подумал капитан.— Ну погодите же! Вот я вам сейчас заверну такую штуку!»

Штука удалась на славу. Купчиху пришлось отпаивать водой. Одна из дам, обняв спинку скамейки, уперлась в нее лбом и выла, словно на могиле любимого человека.

Но те три «аристократки» только переглянулись и снова презрительно опустили глаза.

«И этого мало? Эге! — все еще весело думал капитан.— Скажите, какие святоши! Ну так я же вам расскажу про дьячка. Перестанете скромность напускать».

История с дьячком оказалась такова, что даже студент не выдержал. Он вскочил с места, уцепился за борт обеими руками и, как лошадь, рыл палубу копытом.

Одна из дам истерически визгнула по-поросячьему. Остальные плакали и сморкались, и головы у них свисли на сторону.

— Гэ-гэ! — не унимался капитан.— Вы, медам, непременно этот анекдот расскажите своим мужьям. Только не говорите, что капитан вам рассказал. Это неудобно! Это не понравится! Вы прямо скажите, что все это произошло именно с вами. Вот уж тогда наверное понравится! Факт.

Но «аристократки» даже не шевельнулись.

«Так я же вас! — взвинчивался капитан.— Какие равноапостольные хари, скажите пожалуйста! Лицемерки! Только веселье портят».

Он все-таки как-то смутился и уже без прежнего аппетита рассказал еще один анекдот.

Слушательницы все равно уже плохо понимали, в чем дело, и только тихо стонали в ответ.

Когда рассказчик смолк, «аристократки» демонстративно поднялись и скрылись в свою каюту.

Все общество несколько сконфузилось.

— Уж больно важничают! — сказала купчиха.— Добродетель свою оказывают.

— Ужасно нам нужно! — подхватила другая дама.

— И не поклонились даже! Это чтоб подчеркнуть, что им за нас совестно, что мы такие гадости слушали.

Все разошлись быстро и, скрывая друг от друга свою смущенность, перебрасывались деловыми замечаниями насчет духоты, качки и маршрутов.

Капитан пошел на мостик и, отослав помощника спать, стал у руля.

На душе у него было худо и становилось еще хуже. Никогда ничего подобного он еще не испытывал.

«Старые дуры, чертовки! — думал он.— Ну, положим, я был не прав. Зачем рассказывать такие гадости женщинам. Женщин нужно уважать, потому что из них впоследствии выходят наши матери. А я еще про дьячка!»

Стало так тошно, что пришлось выпить коньяку.

«И те тоже хороши! Квохчут, как индюшки. Интеллигентные женщины! Дома мужья, дети, а они тут всякие мерзости смакуют! И я тоже хорош! Про мышеловку при дамах! При да-а-мах! Ведь это пьяному городовому и то совестно такую гниль слушать! У-у-ф!»

Он вздыхал, томился и в первый раз в жизни испытывал угрызения совести.

— Да, мне стыдно,— говорил он себе после бессонной ночи и бутылки коньяку.— Но что же из этого? Это только доказывает, что я не свинья... Что я могу испытывать святой стыд и могу уважать женщину, из которой впоследствии получается моя мать. Нельзя быть идиотической свиньей. Если ты грязен и из тебя прут анекдоты, то смотри, перед кем ты сидишь! И раз ты оскорбил цинизмом настоящую высокую женщину, то искупи вину!

Он взял ванну, причем, вопреки обыкновению, очень деликатно выругал матроса только скотиной и подлой душой, одел все чистое, хотел даже надушиться, но совсем забыл, как это делается, да и совестно стало.

«Эх ты! Туда же! Еще франтовство на уме в такую-то минуту».

Побледневший и точно осунувшийся, вышел он в столовую, где все ожидали его с завтраком.

Сделав общий поклон, он решительными шагами подошел прямо к «аристократкам» и сказал:

— Сударыни! Верьте искренности! Я так подавлен тем, что позволил себе вчера! Ради Бога! Исключительно по необдуманности. Простите меня, я старый морской волк! Я грубый человек в силу привычки! Да-с! Но я понимаю, что подобный цинизм... женщина... при уважении...

— Да вы о чем? — с недоумением спросила одна из «аристократок».

— Простите! Простите, что я осмелился вчера при вас рассказывать!

Он чуть не плакал. Вчерашние хохотуньи отворачивались друг от друга, сгорая со стыда. Бессарабский герой растерянно хлопал глазами. Минута была торжественная.

— Ах, вот что! — сообразила вдруг «аристократка».— Да мы ничуть не в претензии! Просто мы были недовольны, что вы ни одного анекдота не рассказали правильно.

— Да, да! — подхватила другая.— Насчет еврейки вы весь конец перепутали. И про дьячка...

— Про дьячка,— перебила третья,— вы все испортили. Это вовсе не он был под кроватью, а сам муж. В этом-то и есть все смешное...

— Как же вы беретесь рассказывать и ничего толком не знаете! — пожурила его старшая.

Капитан повернулся, втянул голову в плечи и, весь поджавшись, как напроказивший сеттер, тихо вышел из комнаты.

ФАКИР

Великие события начинаются обыкновенно очень просто, так же просто, как и самые заурядные. Так, например, выстрел из пистолета Камилла Демулена начал Великую французскую революцию, а сколько раз пистолетный выстрел рождал только протокол полицейского надзирателя!

То событие, о котором я хочу рассказать, началось тоже очень просто, а великое оно или пустячное, предоставляю догадаться вам самим.

Ровно в пять часов утра на пустынную улицу маленького, но тем не менее губернского города вышел грязный парень, держа под мышкой кипу больших желтых листов.

Парень подошел к подъезду местного театра, поплевал, помазал и пришлепнул к дверям один из желтых листов. Сделал то же и на соседнем заборе.

Трудно только начало, а там пойдет. На каждом углу парень поплевывал и наклеивал свои листы.

Часов с восьми утра к нему присоединились местные мальчишки, и парень продолжал свою работу, сопровождаемый советующей, ободряющей, ругающей и дерущейся толпой.

К вечеру дело было окончено, и, несмотря на то, что городские пьяницы ободрали все углы на цигарки, а мальчишки исправили текст собственными, необходимыми, по их мнению, примечаниями, население города узнало все, что объявлялось на больших желтых листах.

«В четверг сего 20-го июня в городском театре состоится необычайное представление проездного Факира. Прокалывание языка, поражающее техникой, жены мисс Джильды, колотье булавками рук и ног в кровь, разрезывание поперек собственного живота и выворачивание глаза из орбит в присутствии науки в лице докторов и пожелающих из публики.

Разрешено полицией без испытания боли. Цена местам обыкновенная».

Публика заволновалась. В особенности интриговали ее слова: «разрезывание поперек собственного живота». Кого он будет резать? Или сам себе резать живот поперек. И что значит «разрешено полицией без испытания боли»? То ли, что полиция разрешила, если не будет факиру больно, или просто выдала ему разрешение, не отколотив предварительно в участке?

Билеты раскупались.

Молодой купец Мясорыбов, человек непьющий, образованный и даже любивший прихвастнуть, будто «читал Баранцевича в оригинале», отнесся к ожидаемому спектаклю совсем по-столичному. Взял для себя ложу и решил сидеть один. Купил коробку конфет и надел на указательный палец новое кольцо с бирюзой.

Кольцо это Мясорыбов носил редко, потому что сомневался в его истинности. Да и как ни поверни —

все лучше ему в комоде лежать: коли камень настоящий — носить жалко, а коли поддельный — совестно. Один армянин советовал, как узнать наверное: «Окуни,— говорит,— ты его в прованское масло. Если бирюза настоящая — сейчас же испортится, и ни к черту! А поддельной хоть бы что». Но совет этот Мясорыбов берег на крайний случай.

В четверг к восьми часам вечера театр был почти полон.

Многие забрались рано, часов с шести, и ворчали, что долго не начинают.

— Видит ведь, что публика уж пришла, ну и начинай!

Мясорыбов пришел по-аристократически, только за полчаса до начала, сел в своей ложе в полуоборот, и тотчас же начал есть конфекты. Каждый раз, когда подносил руку ко рту, публика могла любоваться загадочной бирюзой.

Занавес все время был поднят. Посреди сцены стоял небольшой стол, на нем длинная шкатулка. Вокруг стола, в некотором отдалении,— дюжина венских стульев, и, что заинтересовало публику сильнее всего, в углу за пианино сидел местный тапер, пан Врушкевич, и потирал руки, явно показывая, что скоро заиграет.

Наконец вышел факир.

Он был худой и желтый, в длинном зеленом халате, и вел за руку некрасивую, безбровую женщину в зеленом платье, от одного куска с его халатом.

Подошел к рампе, раскланялся и сказал:

— Прошу господ врачей и несколько человек из публики пожаловать сюда.

Галерка вслух удивилась, что он говорит по-русски, а не по-факирски.

На сцену по перекинутой дощечке сконфуженно поднялись два врача: хохлатый земский и лысый вольнопрактикующий. Публика сначала стеснялась, потом полезла всем партером. Факир отобрал восемь человек посолиднее и рассадил всех на места. Затем сбросил халат и оказался в коротких велосипедных штанах и туфлях на босу ногу. В этом новом виде он подошел к рампе и снова раскланялся, точно боялся, что без халата не приняли бы его за кого другого.

Галерка зааплодировала.

Тогда он повернулся к таперу.

— Попрошу музыку начинать!

Пан Врушкевич колыхнулся всем станом и ударил по клавишам. Уши слушателей сладостно защекотал давно знакомый вальс «Я обожаю».

Факир открыл свою шкатулку, вытащил длинную шпильку, вроде тех, которыми дамы прикалывают шляпки, и подошел к жене.

— Мисс Джильда! Попрошу сюда вашего языка.

Мисс Джильда сейчас же обернулась к нему и любезно вытянула язык.

— Раз, два и три! — воскликнул факир и проткнул ей язык шпилькой.

— Попрошу свидетельства науки! — сказал факир, обращаясь к врачам.

Те подошли, посмотрели, причем земский, как более добросовестный, даже присел, подглядывая под язык Джильды с изнанки. Затем оба смущенно сели на свои места.

Факир взял жену за руку и повел по дощечке к публике. Там она стала проходить по всем рядам.

Зрители, мимо которых она проходила, отворачивались, и видно было, что многих тошнит.

Мясорыбов прикрыл глаза рукой.

— Довольно уж! Довольно! — стонал он.

— Довольно! — подхватили и другие.

Но факир был человек добросовестный и поволок свою жену с языком на галерку.

Там какая-то баба вдруг запричитала, и ее стали выводить.

Обойдя всех, факир вернулся на сцену и вытащил шпильку.

Все вздохнули с облегчением.

Факир достал из шкатулки другую шпильку, подлиннее и потолще.

Увидя это, пан Врушкевич переменил тон и заиграл «Смотря на луч пурпурного заката».

Факир подошел к рампе и проткнул себе обе щеки, так, что головка шпильки торчала под правой скулой, а острие из-под левой. В таком виде, показавшись сконфуженным докторам, он снова двинулся в публику.

— Ой, довольно! Ой, да полно же! — вопил Мясорыбов и от тошноты даже выплюнул конфетку изо рта.

— О, Господи! — роптала публика. — Да нельзя же так!

Но честный факир честно ходил между рядами и поворачивался то правой, то левой щекой.

— Ой, не надо! — корчилась публика.— Верим-верим. Не надо к нам подходить! И так верим!

Какой-то чиновник, подхватив под руку свою даму, быстро побежал к выходу. За ним следом сорвались с места две барышни. За ними заковыляла старуха, уводя двух ревущих во все горло девчонок; по дороге старуха наткнулась на факира, свершавшего свои рейсы как раз в этом ряду, шарахнулась в сторону, толкнула какую-то и без того насмерть перепуганную даму. Обе завизжали и, подталкивая друг друга, бросились к выходу.

Но больше всех веселился Мясорыбов.

Он сидел в своей ложе, повернувшись спиной к залу, и даже заткнул уши. Изредка осторожно оборачивался, смотрел, где факир, и, увидя его, весь содрогался и прятался снова.

— Довольно! Ох, довольно! — стонал он.— Нельзя же так!

А пан Врушкевич заливался: «Стояли мы на бере-гу Невы!»

Но вот факир снова на сцене. Все обернулись, ждут, надеются.

Из дверей выглянули бледные лица малодушных, сбежавших раньше времени.

Факир вынул три новые шпильки. Одной он проткнул себе язык, не вынимая той, которая торчала из щеки, две другие всадил себе в руки повыше локтя, причем из правой вдруг брызнула кровь.

— Настоящая кровь,— твердо и радостно определил земский хохлач.

«Гайда, тройка! — раскатился пан Врушкевич.— Снег пушистый!»

Кого-то под руки поволокли к выходу.

Полицейский, зажав рот обеими руками, деловым шагом вышел из зала.

Зал пустел.

Мясорыбов уже не оборачивался. Он весь скорчился, закрыл глаза, заткнул уши и не шевелился.

— Уйти бы! — томился он, но какая-то цепкая ночная жуть сковала ему ноги, и он не мог пошевелиться. Зато волосы на его голове шевелились сами собой.

Когда факир обошел стонущие ряды своих зрителей, умолявших его вернуться на место и перестать,

Мясорыбов инстинктивно обернулся и увидел, как факир, вытащив из себя все шпильки, радостно воскликнул:

— Ну-с, а теперь приступим к выворачиванию глаза из его орбиты и затем между глазом и его вместилищем просунем вот эту палочку.

Он подошел к шкатулке, но уже никто не стал дожидаться, пока он достанет палочку. Все с криком, давя и толкая друг друга, кинулись к выходу. Иные, быстро одевшись, бросились сломя голову на улицу, другие опомнились и стали любопытствовать:

— Что-то он там теперь? А? Может быть, уже вывернул, тогда можно, пожалуй, и вернуться. А?

Какой-то долговязый гимназист приоткрыл дверь и взглянул в щелочку.

«Поцелуем дай забвенье!» — нежно пламенел пан Врушкевич.

— Ну, что? Вывернул?

— Постойте, не давите мне спину,— важничал гимназист.— Нет, еще выворачивает.

— О, Господи! Ой, да закройте вы двери-то! — закорчились любопытствующие, но через минуту раззадоривались снова.

— Ну, а как теперь? Да вы взгляните, чего же вы боитесь, экой какой! Выворачивает? Ой, да крикните ему, что довольно, Господи!

— Иди, брат Мясорыбов, домой,— сказал сам себе Мясорыбов.— Не тебе, брат Мясорыбов, по театрам ходить. С суконным рылом в калашный ряд. По театрам ходят люди понимающие и с культурной природой. А ежели тебе, брат Мясорыбов, скучно, так на то и водка есть!

Мясорыбов спился.

КОНЦЕРТ

Начинающий поэт Николай Котомко сильно волновался: первый раз в жизни он был приглашен участвовать в благотворительном концерте. Дело, положим, не обошлось без протекции: концерт устраивало общество охранения аптекарских учеников от никотина, а Котомко жил в комнате у вдовы Марухиной, хорошо знавшей двух помощников провизора.

Словом, были нажаты какие-то пружины, дернуты соответствующие нити, и вот юный, только что приехавший из провинции Котомко получил возможность показать столичной публике свое задумчивое лицо.

Пришедший приглашать его мрачный бородач нагнал страху немало.

— Концерт у нас будет, понимаете ли, блестящий. Выдающиеся таланты частных театров и пять звездочек. Понимаете, что это значит? Надеюсь, и вы нам окажете честь, тем более что и цель такая симпатичная!

Котомко обещал оказать честь и вплоть до концерта — ровно три недели — не знал себе покоя. Целые дни стоял он перед зеркалом, декламируя свои стихотворения. Охрип, похудел и почернел. По ночам спал плохо. Снилось, что стоит на эстраде, а стихи забыл, и будто публика кричит: «Бейте его, длинноносого!»

Просыпался в холодном поту, зажигал лампочку и снова зубрил.

Бородач заехал еще раз и сказал, что полиция разрешила Котомке прочесть два стихотворения:

Когда, весь погружаясь в мечтанья,
Юный корпус склоню я к тебе...

И второе:

Скажи, зачем с подобною тоскою,
С болезнью я гляжу порою на тебя...

Бородач обещал прислать карету, благодарил и просил не обмануть.

— А пуб-блики м-много будет? — заикаясь, прошептал Котомко.

— Почти все билеты распроданы.

В день концерта бледный и ослабевший поэт, чтобы как-нибудь не опоздать, с утра завился у парикмахера и съел два десятка сырых яиц, чтобы лучше звучал голос.

Вдова Марухина, особа бывалая, понимавшая коечто в концертах, часто заглядывала к нему в комнату и давала советы.

— Часы не надели?

— У меня н-нет часов! — стучал зубами Котомко.

— И не надо! Часов никогда артисты к концерту не надевают. Публика начнет вас качать, часы выскочат и разобьются. Руки напудрили? Непременно надо.

У меня жила одна артистка, так она даже плечи пудрила. Вам, пожалуй, плечи-то и не надо. Не видно под сюртуком. А впрочем, если хотите, я вам дам пудры. С удовольствием. И вот еще совет: непременно улыбайтесь! Иначе публика очень скверно вас примет! Уж вот увидите!

Котомко слушал и холодел.

В пять часов, уже совершенно одетый, он сидел, растопыря напудренные руки, и шептал дрожащими губами:

Скажи, зачем с подобною тоскою...

В голове у него было пусто, в ушах звенело, в сердце тошнило.

«Зачем я все это затеял! — тосковал он.— Жил покойно... «с болезнью я гляжу»... жил покойно... нет, непременно подавай сюда славу... «с болезнью я порой»... Вот тебе и слава! «Юный корпус склоню я»... Опять не оттуда...»

Ждать пришлось очень долго. Хозяйка высказала даже мнение, что о нем позабыли и совсем не приедут. Котомко обрадовался и даже стал немножко поправляться, даже почувствовал аппетит, как вдруг, уже в четверть одиннадцатого, раздался громкий звонок и в комнату влетел маленький чернявый господинчик, в пальто и шапке.

— Где мадмазель Котомко? Где? Боже ж мой! — в каком-то отчаянии завопил он.

— Я... я...— лепетал поэт.

— Вы? Виноват... Я думал, что вы дама... ваше имя может сбить с толку... Ну, пусть. Я рад!

Он схватил поэта за руку и все с тем же отчаянием кричал:

— Ох, поймите, мы все за вас хватаемся! Как хватается человек за последнюю соломинку, когда у него нет больше соломы.

Он развел руками и огляделся кругом.

— Ну, понимаете, совершенно нет! Послали три кареты за артистами,— ни одна не вернулась. Я говорю, нужно было с них задаток взять, тогда бы вернулись, а Маркин еще спорит. Вы понимаете? Публика — сплошная невежда; воображает, что если концерт, так уж сейчас ей запоют и заиграют, и не понимает, что если пришел в концерт, так нужно подождать.

Ради Бога, едемте скорее! Там какой-то паршивый скрипач — и зачем такого приглашать, я говорю,— пять минут помахал смычком и домой уехал. Мы просим «бис», а он заявляет, что забыл побриться. Слышали вы подобное? Ну, где же ваши ноты, пора ехать.

— У меня нет нот! — растерялся Котомко.— Я не играю.

— Ну, там найдется кому сыграть, давайте только ноты!

Тут выскочила хозяйка и помогла делу. Ноты у нее нашлись: «Маленький Рубинштейн» — для игры в четыре руки.

Вышли на подъезд. Чернявый впереди, спотыкаясь и суетясь, за ним Котомко, как баран, покорный и завитой.

— Извините! Кареты у меня нет! Кареты так и не вернулись! Но если хотите, вы можете ехать на отдельном извозчике. Мы, конечно, возместим расходы.

Но Котомко боялся остаться один и сел с чернявым. Тот занимал его разговором.

— Боже, сколько хлопот! Еще за Буниным ехать. Вы не знаете, он в частных домах не поет?

— Н-не знаю... не замечал.

— Я недавно из провинции и, простите, в опере еще ни разу не был. Леонида Андреева на балалайке слышал. Очень недурно. Русская ширь степей... Степенная ширь. Потом обещал приехать Владимир Тихонов... этот, кажется, на рояле. Еще хотели мы Немировича-Данченка. Я к нему ездил, да он отказался петь. А вы часто в концертах поете?

— Я? — удивился Котомко...— Я никогда не пел.

— Ну, на этот-то раз уж не отвертитесь! Сегодня вам придется петь. Иначе вы нас так обидите, что Боже упаси!

Котомко чуть не плакал.

— Да я ведь стихи... В программе поставлено «Скажи, зачем» и «Когда весь погружаясь»... Я декламирую!

— Декла... а вы лучше спойте. Те же самые слова, только спойте. Публика это гораздо больше ценит. Ей-Богу. Зачем говорить, когда можно мелодично спеть?

Наконец приехали. Чернявый кубарем вывалился из саней. Котомко качался на ногах и стукнулся лбом о столбик подъезда.

— Шишка будет... Пусть! — подумал он уныло и даже не потер ушибленного места.

В артистической стоял дым коромыслом. Человек десять испуганных молодых людей и столько же обезумевших дам кричали друг на друга и носились как угорелые. Увидя Котомку, все кинулись к нему.

— Ах... Ну, вот уж один приехал. Раздевайтесь скорее! Публика с ума сходит. Был только один скрипач, а потом пришлось антракт сделать.

— Читайте подольше! Ради Бога, читайте подольше, а то вы нас погубите!..

— Сколько вы стихов прочтете?

— Два.

— На три четверти часа хватит?

— Н-нет... Минут шесть...

— Он нас погубит! Тогда читайте еще что-нибудь, другие стихи.

— Нельзя другие, — перекричал всех главный распорядитель. — Разрешено только два. Мы не желаем платить штраф!

Выскочил чернявый.

— Ну, так пусть читает только два, но очень медленно. Мадмазель Котомка... Простите, я все так... Читайте очень медленно, тяните слова, чтобы на полчаса хватило. Поймите, что мы как за соломинку!

За дверью раздался глухой рев и топот.

— Ой, пора! Тащите же его на эстраду!

И вот Котомко перед публикой.

— Господи, помоги! Обещаю, что никогда...

— Начинайте же! — засвистел за его спиной голос чернявого.

Котомко открыл рот и жалобно заблеял:

— Когда весь погружаясь...

— Медленней! Медленней! Не губите! — свистел шепот.

— Громче! — кричали в публике.

— Ю-ный, ко-о-орп-пу-ус...

— Громче! Громче! Браво!

Публика, видимо, веселилась. Задние ряды вскочили с мест, чтобы лучше видеть. Кто-то хохотал, истерически взвизгивая. Все как-то колыхались, шептались, отворачивались от сцены. Какая-то барышня в первом ряду запищала и выбежала вон.

— Скло-о-ню-у я ку те-е... — блеял Котомко.

Он сам был в ужасе. Глаза у него закатились, как у покойника, голова свесилась набок, и одна нога, неловко поставленная, дрожала отчетливо крупной дрожью. Он проныл оба стихотворения сразу и удалился под дикий рев и аплодисменты публики.

— Что вы наделали?—накинулся на него чернявый.—И четверти часа не прошло! Нужно было медленнее, а вы упрямы, как коровий бык! Идите теперь на «бис».

И Котомку вытолкнули второй раз на сцену.

Теперь уж он знал, что делать. Встал сразу в ту же позу и начал:

— Ко-о-огда-а-а ве-е-есь...

Он почти не слышал своего голоса—такой вой стоял в зале. Люди качались от смеха, как больные, и стонали. Многие, убежав с мест, толпились в дверях и старались не смотреть на Котомку, чтобы хоть немножко успокоиться.

Чернявый встретил поэта с несколько сконфуженным лицом.

— Ну, теперь ничего себе. Главное, что публике понравилось.

Но в артистической все десять девиц и юношей предавались шумному отчаянию. Никто больше не приехал. Главные распорядители пошептались о чем-то и направились к Котомке, который стоял у стены, утирал мокрый лоб и дышал, как опоенная лошадь.

— Поверьте, господин поэт, нам очень стыдно, но мы принуждены просить вас прочесть еще что-нибудь. Иначе мы погибли! Только, пожалуйста, то же самое, а то нам придется платить из-за вас штраф.

Совершенно ничего не понимая, вылез Котомко третий раз на эстраду.

Кто-то в публике громко обрадовался:

— Га! Да он опять здесь! Ну, это я вам скажу...

— Странный народ!—подумал Котомко.—Совсем дикий. Если им что нравится—они хохочут. Покажи им «Сикстинскую мадонну», так они, наверное, лопнут от смеха!

Он кашлянул и начал:

— Ко-гда-а-а...

Вдруг из последних рядов поднялся высокий детина в телеграфской куртке и, воздев руки кверху, завопил зычным голосом:

— Если вы опять про свой корпус, то лучше честью предупредите, потому что это может кончиться для вас же плохо!

Но Котомко сам так выл, что даже не заметил телеграфного пафоса.

Котомке дали полтинник на извозчика. Он ехал и горько усмехался своим мыслям.

«Вот я теперь известность, любимец публики. А разве я счастлив? Разве окрылен? «Что слава? — яркая заплата на бедном рубище певца». Я думал, что слава чувствуется как-то иначе. Или у меня просто нет никакого честолюбия?»

ТОНКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Вере Томилиной

До отхода поезда оставалось еще восемь минут.

Пан Гуслинский уютно устроился в маленьком купе второго класса, осмотрел свой профиль в карманное зеркальце и выглянул в окно.

Пан Гуслинский был коммивояжер по профессии, но по призванию Дон-Жуан чистейшей воды. Развозя по всем городам Российской Империи образцы оптических стекол, он, в сущности, заботился только об одном — как бы сокрушить на своем пути побольше сердец. Для этого святого дела он не щадил ни времени, ни труда, зачастую без всякой для себя выгоды или удовольствия.

В тех городах, где ему приходилось бывать только от поезда до поезда, часа два-три, он губил женщин, не слезая с извозчика. Чуть-чуть прищурит глаза, подкрутит правый ус, подожмет губы и взглянет.

И как взглянет! Это трудно объяснить, но... словом, когда он предлагал купцам образцы своих оптических стекол — он глядел совершенно иначе.

С женщинами, на которых был направлен этот взгляд, делалось что-то странное. Они сначала смотрели изумленно, почти испуганно, затем закрывали рот рукой и начинали хохотать, подталкивая локтем своих спутников.

А пан Гуслинский даже не оборачивался на свою жертву. Он уже намечал вскользь другую и губил тоже.

«Ну, эта уже не забудет!—думал он.—И эта имеет себе тоже! Вот я преспокойно проехал мимо, а они там преспокойно сходят с ума».

При более близком и более долгом знакомстве пан Гуслинский вместе с чарами своих внешних качеств, конечно, пускал в оборот и обаяние своей духовной личности. Результаты получались потрясающие: три раза женился он гражданским браком и был раз двенадцать бит в разных городах и различными предметами.

В Лодзи машинкой для снимания сапог, в Киеве палкой, в Житомире копченой колбасой, в Конотопе (от поезда до поезда) самоварной трубой, в Чернигове сапогом, в Минске палкой из-под копченого сига, в Вильне футляром для скрипки, в Варшаве бутылкой, в Калише суповой ложкой и, наконец, в Могилеве запросто кулаком.

Зверь, как известно, бежит на ловца, хотя, следуя природным инстинктам, должен был бы делать как раз противоположное.

Едва выглянул пан Гуслинский в окошко, как мимо по платформе быстрым шагом прошла молодая дама очень привлекательной наружности, но прошла она так скоро, что даже не заметила томного взора и не успела погибнуть.

Пан Гуслинский высунул голову.

— Эге! Да она преспокойно торопится на поезд! Поедем, следовательно, вместе. Ну что ж—пусть себе!

Судьба дамы была решена. Когда поезд двинулся, пан Гуслинский осмотрел свой профиль, подкрутил ус и прошелся по вагонам.

Хорошенькая дама ехала тоже во втором классе с толстощеким двенадцатилетним кадетиком. На Гуслинского она не обратила ни малейшего внимания, несмотря на то, что он расшаркался и сказал «пардонк» с чисто парижским шиком.

На станциях пан Гуслинский выходил на платформу и становился в профиль против окна, у которого сидела дама. Но дама не показывалась. Смотрел на Гуслинского один толстый кадет и жевал яблоки. Томные взгляды дон-жуана гасли на круглых кадетских щеках.

Пан призадумался.

«Здесь придется немножко заняться тонкой психологией. Иначе ничего не добьешься! Я лично не люблю материнства в женщине. Это очень животная черта. Но раз женщина так обожает своего ребенка, что все время кормит яблоками, чтоб ему лопнуть, то это дает мне ключ к ее сердцу. Нужно завладевать любовью ребенка, и мать будет поймана».

И он стал завладевать.

Купил на полустанке пару яблок и подал в окно кадету.

— Вы любите плоды, молодой человек? Я уж это себе заметил, хе-хе! Пожалуйста, покушайте, хе-хе! Очень приятно быть полезным молодому путешественнику!

— Мерси! — мрачно сказал кадет и, вытерев яблоко обшлагом, выкусил добрую половину.

Поезд двинулся, и Гуслинский еле успел вскочить.

«Я действую, между прочим, как осел. Что толку, что мальчишка слопал яблоко? С ними должен быть я сам, а не яблоко. Преспокойно пересяду».

— «Пардонк!» У меня там такая теснота! Можете себе представить — я пошел на станцию покушать, возвращаюсь, а мое место преспокойно занято. Может быть, разрешите? Я здесь устроюсь рядом с молодым человеком, хе-хе!

Дама пожала плечом.

— Пожалуйста! Мне-то что!

И, вынув книжку, стала читать.

— Ну, молодой человек, мы теперь с вами непременно подружимся. Вы далеко едете?

— В Петраков,— буркнул кадет.

Гуслинский так и подпрыгнул.

— Боже-ж мой! Да это прямо знаменитое совпадение. Я тоже преспокойно еду в Петраков! Значит, всю ночь мы проведем вместе и еще почти весь день! Нет, видали вы что подобное!

Кадет отнесся к «знаменитому совпадению» очень сухо и угрюмо молчал.

— Вы любите приключения, молодой человек? Я обожаю! Со мной всегда необычайные вещи. Вы разрешите поделиться с вами?

Кадет молчал. Дама читала. Гуслинский задумался.

— Зачем она его родила? Только мешает! При нем ей преспокойно неловко смотреть на меня. Но погоди! Сердце матери отпирается при помощи сына!

Он откашлялся и вдохновенно зафантазировал:

— Так вот, был со мной такой случай. В Лодзи влюбляется в меня одна дама и преспокойно сходит с ума. Муж ее врывается ко мне с револьвером и преспокойно кричит, что убьет меня из ревности. Ну-с, молодой человек, как вам нравится такое положение? А? Тем более, что я был уже почти обручен с девицею из высшей аристократии. Она даже имеет свой магазин. Ну, я как рыцарь не мог никого компроментовать, в ужасе подбежал к окну и преспокойно бросаюсь с первого этажа. А тот убийца смотрит на меня сверху! Понимаете ужас! Лежу на тротуаре, а сверху преспокойно убийца. Выбора никакого! Я убежал и позвал городового.

Дама подняла голову.

— Что вы за вздор рассказываете мальчику!

И опять углубилась в чтение.

Пан Гуслинский ликовал.

— Эге! Начинается! Уже заговорила!

— Я есть хочу! — сказал кадет. — Скоро ли станция?

— Есть хотите? Великолепно, молодой человек! Сейчас небольшая остановка, и я сбегаю вам за бутербродами. Вот и отлично! Вы любите вашу мамашу? Мамашу надо любить!

Кадет мрачно съел восемь бутербродов. Потом Гуслинский бегал для него за водой, а на большой станции повел ужинать и все уговаривал любить мамашу.

— Ваша мамаша — это нечто замечательное! Если она захочет, то может каждого скокетничать! Уверяю вас!

Кадет глядел удивленно, бараньими глазами, и ел за четверых.

— Будем торопиться, молодой человек, а то мамаша, наверное, уже беспокоится, — томился Дон-Жуан.

Когда вернулись в вагон, оказалось, что мамаша уже улеглась спать, закрывшись с головой пледом.

— Эге! Ну да все равно, завтра еще целый день. Отдала сына в надежные руки, чтоб он себе лопнул, а сама преспокойно спит. Зато завтра будет благодарность. Хотя вот уже этот жирный парень объел меня на три рубля шестьдесят копеек. Ложитесь, молодой человек! Кладите ноги прямо на меня! Ничего, ничего, мне не тяжело. Штаны я потом отчищу бензином. Вот так! Молодцом!

Кадет спал крепко и только изредка сквозь сон лягал пана Гуслинского под ложечку. Но тот шел на все и задремал только к утру.

Проснувшись на рассвете, вдруг заметил, что поезд стоит, а мамаша куда-то пропала. Встревоженный Гуслинский высвободился из-под кадетовых ног и высунулся в окно. Что такое? Она стоит на платформе и около нее чемодан... Что такое? Бьет третий звонок.

— Сударыня! Что вы делаете? Сейчас поезд тронется! Третий звонок! Вы преспокойно останетесь!

Кондуктор свистнул, стукнули буфера.

— Да мы уже трогаемся!—надрывался Гуслинский, забыв всякую томность глаз.

Поезд двинулся. Гуслинский вдруг вспомнил о кадете.

— Сына забыли! Сына! Сына!

Дама досадливо махнула рукой и отвернулась.

Гуслинский схватил кадета за плечо.

— Мамаша ушла! Мамаша вылезла! Что же это такое!—вопил он.

Кадет захныкал.

— Чего вы меня трясете! Какая мамаша? Моя мамаша в Петракове.

Гуслинский даже сел.

— А как же... а эта дама? Мы же ее называли мамашей, или я преспокойно сошел с ума! А?

— Гм...—хныкал кадет.—Я не называл! Я ее не знаю! Это вы называли. Я думал, что она ваша мамаша, что вы ее так называете... Я не виноват... И не надо мне ваших яблок, не на-а-да...

Пан Гуслинский вытер лоб платком, встал, взял свой чемодан:

— Паскудный обжора! Вы! Выйдет из вас шулер, когда подрастете. Преспокойно. Св-винья!

И, хлопнув дверью, вышел на площадку.

КУЛИЧ

В конторе купца Рыликова работа кипела ключом.

Бухгалтер читал газету и изредка посматривал в дверь на мелких служащих.

Те тоже старались: Михельсон чистил резинкой свои манжеты. Рябунов вздыхал и грыз ногти; конторская Мессалина—переписчица Ольга Игнатьевна—деловито

стучала машинкой, но оживленный румянец на пухло трясущихся щеках выдавал, что настукивает она приватное письмо, и к тому же любовного содержания.

Молодой Викентий Кулич, три недели тому назад поступивший к Рыликову, задумчиво чертил в счетной книге все одну и ту же фразу: «Сонечка, что же это?»

Потом украшал буквы завитушками и чертил снова.

Собственно говоря, если бы не порча деловой книги, то это занятие молодого Кулича нельзя бы было осудить, потому что Сонечка, о которой он думал, уже два месяца была его женой.

Но именно это-то обстоятельство и смущало его больше всего: он должен был, поступая на службу, выдать себя за холостого, потому что женатых Рыликов к себе не брал.

— Женатый норовит, как бы раньше срока домой подрать, с женой апельсинничать,— пояснял он.— Сверх срока он тебе и пером не скребнет. И чего толку жениться-то? Женятся, а через месяц полихамию разведут либо к брюкоразводному адвокату побегут. Нет! Женатых я не беру.

И Кулич, спрятав обручальное кольцо в жилетный карман, служил на холостом основании.

Жена его была молода, ревнива и подозрительна, и потому телефонировала ему на службу по пять раз в день, справляясь о его верности.

— Если уличу,— грозила она,— повешусь и перееду к тетке в Устюжну!

И весь день на службе томился Кулич, терзаемый телефоном, и писал с завитушками на всех деловых бумагах: «Сонечка, опять!», «Сонечка, что же это?»

— Опять вас вызывают! — говорил Рябунов таким тоном, точно его оторвали от спешной и интересной работы.

Он сидел к телефону ближе всех и благословлял судьбу, отвлекавшую его хоть этим развлечением от монотонной грызни ногтей.

— Опять вас, Кулич!

Кулич краснеет, спотыкаясь, идет к телефону и говорит вполголоса мимо трубки первое попавшееся имя: «А! Это вы, Дарья Сидоровна!» — Затем продолжает разговор во весь голос.

Мессалина свистит громким шепотом:

— Дарья Сидоровна? Это, верно, какая-нибудь прачка.

— Зачем ты звонишь,— блеет в трубку смущенный Кулич.— Что? Верен?.. Боже мой, котик, да с кем же?.. Ведь я здесь на службе... Что? Посмотри на комоде. И я тоже... безумно. Ровно в половине восьмого!

Он вешает трубку и идет на место, стараясь ни на кого не смотреть, и в ужасе ждет нового звонка.

— Опять вас! О Господи! — вздыхает Рябунов.

— А, Антонина Сидоровна! — грустно радуется Кулич мимо трубки.

— Сидоровна? — свистит Мессалина.— Видно, сестра той, хи-хи!

— Нет, пока еще не догадались,— говорит Кулич.— Но будь осторожна, котик, милый! Не звони так часто!.. Одну тебя! Одну!

Через час звонит Амалия Богдановна.

— Наверное, акушерка,— догадывается Мессалина.

— Не звони ко мне больше! — умоляет через час Кулич какую-то Ольгу Карповну.— Бога ради! Ты знаешь, что одну тебя... но я занят... не звони, котик, умоляю! Ты выдаешь себя!

Анне Карловне, позвонившей часа через полтора, он коротко сказал:

— Люблю!

И повесил трубку.

И каждый день повторялась та же история, развлекавшая, занимавшая и возмущавшая всю контору.

— Какая-нибудь несчастная попадется ему в жены! — возмущалась Мессалина.

— Это уже не Дон-Жуан, а сатир,— кричал Рябунов, остро завидовавший куличовским успехам.

— Это язва на общественной совести,— вставлял любящий чистоту манжет Михельсон.— Это ждет себе возмездия. Ей-Богу! Я вам говорю.

— И кто откроет глаза несчастным жертвам! — ахала Мессалина.

— Этих глаз слишком много, чтобы можно было их открывать, не затрачивая времени! Я вам говорю! — усердствовал Михельсон.

Рыликов тоже сердился.

— Отчего к вам никогда не дозвонишься? — кричал он.— Какой у вас там черт на проволоке повис?

После одного исключительного по телефонным излияниям дня, когда Кулич обещал восьми женщинам, что поцелует их ровно в половине десятого, вся контора решила пожаловаться начальству.

— До Бога высоко, что там,— говорил Михельсон.— Рыликов все равно с нами рассуждать не станет. Пойдемте к Арнольду Иванычу.

Пошли к бухгалтеру, рассказали всю правду:

— Он нам мешает работать. Все звонки да звонки, никак не сосредоточишься,— говорил Рябунов, избранный депутатом.— Мы хотим работать, каждый человек любит работать, а они отрывают. Но мы бы не обижались, если бы тут серьезные дела. Нет! Но нас, главным образом, возмущает безнравственное поведение вышеизложенного субъекта.

Красноречие докладчика широкою волной захлестнуло слушателей.

Бухгалтер засопел носом, Михельсон молодцевато подбоченился («Я вам говорю!»), Мессалина разгорелась и подумала: «Рябунов, ты будешь моим!»

— Этот нижеподписавшийся человек, ниже которого, по-моему, и подписаться нельзя,— продолжал Рябунов,— меняет акушерку на прачку и двух прачек между собой. Мы не можем больше молчать и выслушивать его гнусные нежности, которые он сыплет в трубку, как горох. Мы не желаем играть роль какого-то общества покровительства животным страстям...

— Ей-Богу! — воскликнул Михельсон.— Я вам говорю!

— И он их всех зовет «котиками»,— вспыхнула Мессалина.

— О? — удивился бухгалтер.

Он сопел, чесал в бороде карандашом и, наконец, сказал:

— О-о-о! Если, действительно, мешал акушерка с два прачка, то я завтра с ним поговорю. Пфуй! Я поговорю... котика!

Кулич весь задрожал, когда на другой день утром бухгалтер поманил его к себе и запер двери.

— Чего волноваться? — успокаивал он себя.— Верно, просто жалованья прибавит...

— Милостивый господин! — торжественно начал бухгалтер.— Я любопытен знать, с кем вы ежечасно говорите по телефон?

Кулич застыл.

— Ради Бога! Арнольд Иваныч! Не подумайте что-нибудь... как говорится... жена. Клянусь вам! Это все самые различные персонажи своей надобности!..

Бухгалтер посмотрел строго.

— Милостивый господин! Вы знаете, как называется ваше поведение? Оно называется: притон безнравственности. Вот как!

Он полюбовался смущением Кулича и продолжал:

— Вы мешаете акушерку с две прачки. Я, знаете, ничего подобного никогда не видел! Ни в людей, ни в животном царстве. Этого потерпеть нельзя! С сегодняшнего дня вы уже не служащий в конторе, а сатир без должности!

— Меня оклеветали! — стонал Кулич. — Я мог бы доказать... если бы судьба не заткнула мне рот!..

— Электричество лгать не может! — загремел бухгалтер. — Вся контора слышала! Пфуй! Вот ваше жалованье... Руки вам не подаю... Прощайте! Идите к тем, кого вы определяли котиками, господин развратный сатир!

Кулич бомбой вылетел на улицу, и едва захлопнулась за ним дверь, как в конторе зазвонил телефон.

— Вам Кулича? — ликовал Рябунов в трубку. — Кулича нет. Фью! Уволен за разврат. Виноват, сударыня, должен вам открыть глаза. Не сетуйте на меня. Каждый джентльмен, если только он порядочный человек, сделал бы на моем месте то же самое. Я чувствую, что говорю с одной из жертв развратного Кулича... Да, да! Целые дни он проводил в беседе с дамами прекрасного пола. Что? По телефону. Нежничал до бесстыдства... Называл котиками всех... и акушерку тоже... Вас, верно, тоже?.. Да... Вы только не волнуйтесь... На глазах у всех... вернее, на ушах, потому что слышали... назначал свидания... Что?.. Что-о?..

— Господа, — сказал он, обернувшись к товарищам. — Эта мегера, кажется, плюнула прямо в трубку... Ужасно неприятно в ухе...

— Наша миссия выполнена! — торжествовал Михельсон. — Ей-Богу! Теперь они уже разорвут его на части. Я вам говорю.

БРОШЕЧКА

Супруги Шариковы поссорились из-за актрисы Крутомирской, которая была так глупа, что даже не умела отличать женского голоса от мужского, и однажды, позвонив к Шарикову по телефону, закричала прямо в ухо подошедшей на звонок супруге его:

— Дорогой Гамлет! Ваши ласки горят в моем организме бесконечным числом огней!

Шарикову в тот же вечер приготовили постель в кабинете, а утром жена прислала ему вместе с кофе записку:

«Ни в какие объяснения вступать не желаю. Все слишком ясно и слишком гнусно. *Анастасия Шарикова*».

Так как самому Шарикову, собственно говоря, тоже ни в какие объяснения вступать не хотелось, то он и не настаивал, а только старался несколько дней не показываться жене на глаза. Уходил рано на службу, обедал в ресторане, а вечера проводил с актрисой Крутомирской, часто интригуя ее загадочной фразой:

— Мы с вами все равно прокляты и можем искать спасения только друг в друге.

Крутомирская восклицала:

— Гамлет! В вас много искренности! Отчего вы не пошли на сцену?

Так мирно протекло несколько дней, и вот однажды утром, а именно в пятницу десятого числа, одеваясь, Шариков увидел на полу, около дивана, на котором он спал, маленькую брошечку с красноватым камешком.

Шариков поднял брошечку, рассматривал и думал:

— У жены такой вещицы нет. Это я знаю наверное. Следовательно, я сам вытряхнул ее из своего платья. Нет ли там еще чего?

Он старательно вытряс сюртук, вывернул все карманы.

Откуда она взялась?

И вдруг он лукаво усмехнулся и подмигнул себе левым глазом.

Дело было ясное: брошечку сунула ему в карман сама Крутомирская, желая подшутить. Остроумные люди часто так шутят — подсунут кому-нибудь свою вещь, а потом говорят: «А ну-ка, где мой портсигар или часы? А ну-ка, обыщем-ка Ивана Семеныча».

Найдут и хохочут. Это очень смешно.

Вечером Шариков вошел в уборную Крутомирской и, лукаво улыбаясь, подал ей брошечку, завернутую в бумагу.

— Позвольте вам преподнести, хе-хе!

— Ну к чему это! Зачем вы беспокоитесь! — деликатничала актриса, развертывая подарок. Но когда

развернула и рассмотрела, вдруг бросила его на стол и надула губы:

— Я вас не понимаю! Это, очевидно, шутка! Подарите эту дрянь вашей горничной. Я не ношу серебряной дряни с фальшивым стеклом.

— С фальшивым стекло-ом? — удивился Шариков. — Да ведь это же ваша брошка! И разве бывает фальшивое стекло?

Крутомирская заплакала и одновременно затопала ногами — из двух ролей зараз.

— Я всегда знала, что я для вас ничтожество! Но я не позволю играть честью женщины!.. Берите эту гадость! Берите! Я не хочу до нее дотрагиваться: она, может быть, ядовитая!

Сколько ни убеждал ее Шариков в благородстве своих намерений, Крутомирская выгнала его вон.

Уходя, Шариков еще надеялся, что все это уладится, но услышал пущенное вдогонку: «Туда же! Нашелся Гамлет! Чинуш несчастный!»

Тут он потерял надежду.

На другой день надежда воскресла без всякой причины, сама собой, и он снова поехал к Крутомирской. Но та не приняла его. Он сам слышал, как сказали:

— Шариков? Не принимать!

И сказал это — что хуже всего — мужской голос.

На третий день Шариков пришел к обеду домой и сказал жене:

— Милая! Я знаю, что ты святая, а я подлец. Но нужно же понимать человеческую душу!

— Ладно! — сказала жена. — Я уж четыре раза понимала человеческую душу! Да-с! В сентябре понимала, когда с бонной снюхались, и у Поповых на даче понимала, и в прошлом году, когда Маруськино письмо нашли. Нечего, нечего! И из-за Анны Петровны тоже понимала. Ну, а теперь баста!

Шариков сложил руки, точно шел к причастию, и сказал кротко:

— Только на этот раз прости! Наточка! За прошлые раза не прошу! За прошлые не прощай. Бог с тобой! Я действительно был подлецом, но теперь клянусь тебе, что все кончено.

— Все кончено? А это что?

И, вынув из кармана загадочную брошечку, она поднесла ее к самому носу Шарикова. И, с достоинством повернувшись, прибавила:

— Я попросила бы вас не приносить, по крайней мере, домой вещественных доказательств вашей невиновности,— ха-ха!.. Я нашла это в вашем сюртуке. Возьмите эту дрянь, она жжет мне руки!

Шариков покорно спрятал брошечку в жилетный карман и целую ночь думал о ней. А утром решительными шагами пошел к жене.

— Я все понимаю,— сказал он.— Вы хотите развода. Я согласен.

— Я тоже согласна! — неожиданно обрадовалась жена.

Шариков удивился:

— Вы любите другого?

— Может быть.

Шариков засопел носом.

— Он на вас никогда не женится.

— Нет, женится!

— Хотел бы я видеть... Ха-ха!

— Во всяком случае, вас это не касается.

Шариков вспылил:

— По-озвольте! Муж моей жены меня не касается. Нет, каково? А?

Помолчали.

— Во всяком случае, я согласен. Но перед тем как мы расстанемся окончательно, мне хотелось бы выяснить один вопрос. Скажите, кто у вас был в пятницу вечером?

Шарикова чуть-чуть покраснела и ответила неестественно честным тоном:

— Очень просто: заходил Чибисов на одну минутку. Только спросил, где ты, и сейчас же ушел. Даже не раздевался ничуть.

— А не в кабинете ли на диване сидел Чибисов? — медленно проскандировал Шариков, проницательно щуря глаза.

— А что?

— Тогда все ясно. Брошка, которую вы мне тыкали в нос, принадлежит Чибисову. Он ее здесь потерял.

— Что за вздор! Он брошек не носит! Он мужчина!

— На себе не носит, а кому-нибудь носит и дарит. Какой-нибудь актрисе, которая никогда и Гамлета-то в глаза не видала. Ха-ха! Он ей брошки носит, а она его чинушом ругает. Дело очень известное! Ха-ха! Можете передать ему это сокровище.

Он швырнул брошку на стол и вышел.

Шарикова долго плакала. От одиннадцати до без четверти два. Затем запаковала брошечку в коробку из-под духов и написала письмо.

«Объяснений никаких не желаю. Все слишком ясно и слишком гнусно. Взглянув на посылаемый вам предмет, вы поймете, что мне все известно.

Я с горечью вспоминаю слова поэта:

Так вот где таилась погибель моя:
Мне смертию кость угрожала.

В данном случае кость — это вы. Хотя, конечно, ни о какой смерти не может быть и речи. Я испытываю стыд за свою ошибку, но смерти я не испытываю. Прощайте. Кланяйтесь от меня той, которая едет на «Гамлета», зашпиливаясь брошкой в полтинник.

Вы поняли намек?

Забудь, если можешь!

А.»

Ответ на письмо пришел в тот же вечер. Шарикова читала его круглыми от бешенства глазами.

«Милостивая государыня! Ваше истерическое послание я прочел и пользуюсь случаем, чтобы откланяться. Вы облегчили мне тяжелую развязку. Присланную вами, очевидно, чтобы оскорбить меня, штуку я отдал швейцарихе. Sic transit Catilina [1]. *Евгений Чибисов*».

Шарикова горько усмехнулась и спросила сама себя, указывая на письмо:

— И это они называют любовью?

Хотя никто этого письма любовью не называл.

Потом позвала горничную:

— Где барин?

Горничная была чем-то расстроена и даже заплакана.

— Уехадчи! — отвечала она. — Уложили чемодан и дворнику велели отметить.

— А-а! Хорошо! Пусть! А ты чего плачешь?

Горничная сморщилась, закрыла рот рукой и запричитала. Сначала слышно было только «вяу-вяу», потом и слова:

— ...Из-за дряни, прости Господи, из-за полтинниной человека истребил... ил...

— Кто?

---

[1] Так уходит Катилина *(лат.)*.

— Да жених мой — Митрий, приказчик. Он, барыня-голубушка, подарил мне брошечку, а она и пропади. Уж я искала, искала, с ног сбилась, да, видно, лихой человек скрал. А Митрий кричит: «Растеряха ты! Я думал, у тебя капитал скоплен, а разве у растерях капитал бывает». На деньги мои зарился... вяу-вяу!

— Какую брошечку? — похолодев, спросила Шарикова.

— Обнаковенную, с красненьким, быдто с леденцом, чтоб ей лопнуть!

— Что же это?

Шарикова так долго стояла, выпучив глаза на горничную, что та даже испугалась и притихла.

Шарикова думала:

«Так хорошо жили, все было шито-крыто, и жизнь была полна. И вот свалилась нам на голову эта окаянная брошка и точно ключом все открыла. Теперь ни мужа, ни Чибисова. И Феньку жених бросил. И зачем это все? Как все это опять закрыть? Как быть?»

И так как совершенно не знала, как быть, то топнула ногой и крикнула на горничную:

— Пошла вон, дура!

А впрочем, больше ведь ничего не оставалось!

СЕДАЯ БЫЛЬ

Часто приходится слышать осуждения по адресу того или другого начальствующего лица. Зачем, мол, выносят неправильные резолюции, из-за которых неповинно страдают мелкие служащие и подчиненные.

Ах, как все эти осуждения легкомысленны и скороспелы!

Вы думаете, господа, что так легко быть лицом начальствующим? Подумайте сами: вот мы с вами можем обо всем рассуждать и так и этак, через пятое на десятое, через пень-колоду, ни то ни се, жевать сколько вздумается в завуалированных полутонах.

Суждение же лица начальствующего должно быть прежде всего категорическим.

— Бр-р-раво, ребята!

На что ответ:

— Рады стараться!..

— Ты это как мне смел!

— Виноват, ваше-ство...

И больше ничего. Никаких полутонов и томных медитаций. Все ясно, все определенно. Козлища налево — овцы направо.

А легко ли это?

Ведь тут, если сделаешь ошибку, так прямо через весь меридиан от полюса до полюса. Дух захватывает!

Слышала я на днях историю, приключившуюся давно, лет двадцать пять тому назад, с одним начальником губернии, человеком, стоящим на своем посту во всеоружии категорического суждения.

Это факт, это седая быль. Если не седая от времени (ей ведь всего двадцать пять лет), то от скорби и тихого ужаса.

Дело происходило зимой в большом губернском городе, в зале благороднейшего городского собрания.

Сидели за столом почтенные люди и играли в карты. Были среди них, между прочим, железнодорожный начальник и начальник тюрьмы.

Разговор коснулся снежных заносов.

— А у нас-то какая беда! — сказал вдруг железнодорожник.— Занесло поезд. Стоит в степи второй день, и ничего поделать не можем. Рабочих рук нет.

Услышав это, начальник тюрьмы подумал минутку и затем произнес роковую в своей жизни фразу:

— Пожертвуйте рублей сто, я пошлю сегодня же ночью своих арестантов, они вам живо путь расчистят.

Железнодорожник обрадовался, согласился и поблагодарил за предложение.

— Вот выручите-то вы нас! Подумать только: ведь поезд-то пассажирский! Люди голодают там, в снегу!

— Будьте спокойны. Все устрою.

Начальник тюрьмы в ту же ночь отправил на путь своих арестантов с лопатами, и те благополучно откопали поезд, который с триумфом и с голодными, иззябшими пассажирами прикатил в город.

Доложили о происшедшем губернатору.

Тот остался очень доволен поведением начальника тюрьмы.

— Молодец! А? Какова находчивость! А? Какова сообразительность? А? Нужно непременно исхлопотать для него что-нибудь такое-эдакое! Молодчина Журавлихин. Мол-лодчина!

Так ликовал начальник губернии, а в это же самое время вице-губернатор слушал с ужасом доклад одного из своих подчиненных. Докладывалось о том, как

начальник тюрьмы вывез ночью из города всех арестантов, на что по закону ни малейшего права не имел, что явно нарушает закон и должно немедленно повлечь надлежащее наказание.

Вице-губернатор поскакал к губернатору.

Тот встретил его словами:

— Мол-лодчина у меня Журавлихин! Надо ему что-нибудь такое-эдакое! Непременно надо! Мол-лодчина!

Вице-губернатор опешил.

— Да знаете ли вы, ваше превосходительство, что он вчера ночью сделал? Он противозаконно вывез всех арестантов из города! Ведь это же нарушение закона!

— О?—удивился губернатор.—Нарушение закона? Да как же он мне смел! Да я его за это и так и эдак! Позвать сюда Журавлихина!

И Журавлихин получил такой разнос, что потом два дня ставил припарки к печени.

Через несколько дней встречается губернатор с железнодорожником. В разговоре жалуется на нервное расстройство.

— Покою нет! Тут еще Журавлихин, кажется, по вашей же милости, набезобразничал. Вывез ночью арестантов из города! Изволите ли видеть, фокусник какой нашелся!

Железнодорожник удивился.

— Да что вы! Какое же здесь противозаконие! Ведь он же их вез в арестантском вагоне и под конвоем. А арестантский вагон—это та же тюрьма.

— О?—обрадовался губернатор.—Та же тюрьма? Мол-лодчина у меня Журавлихин, вот-то молодчина! Нужно ему непременно что-нибудь такое-эдакое! Конечно, арестантский вагон—та же тюрьма. Окна с решетками! Мол-лодчина! Позвать сюда Журавлихина!

Не прошло и недели, как вице-губернатор, обеспокоенный равнодушной медлительностью своего начальника в столь вопиющем деле, как нарушение закона Журавлихиным, напомнил губернатору об этой печальной истории.

Но тот встретил его насмешливым хохотом.

— Никакого тут закона не нарушено. Арестантский вагон—та же тюрьма, а Журавлихин молодчина! Позвать его сюда!

Но вице-губернатор не уступал:

— По закону арестант не может отходить от своей тюрьмы дальше, чем на строго определенное количество саженей. А они там по всему пути разбрелись! При чем же здесь вагон! Ведь они не в вагоне сидели, когда поезд откапывали.

Губернатор приуныл.

— Подлец Журавлихин. И как он это смел! Позвать его сюда!

Недели через две приезжает к губернатору влиятельный генерал.

Рассказывает, как его занесло в поезде снегом, и если бы не распорядительность начальника тюрьмы, то, наверное, все пассажиры погибли бы. Рассыпался в похвалах Журавлихину, просил его отличить и отметить.

Генерал был очень важный, и губернатор отмяк снова.

— Да, действительно, Журавлихин молодец! Я и сам думал, что ему нужно что-нибудь такое-эдакое. Позвать сюда Журавлихина!

Так время шло, судьба пряла свою нить, поворачиваясь к Журавлихину то лбом, то затылком. И Журавлихин не жаловался. Так ребенок, которого по системе Кнейпа перекладывают из холодной воды в горячую и потом опять в холодную, или умирает, или настолько великолепно закаляется, что уж его ничем не доймешь. Журавлихин закалился.

Но сам губернатор, переходя постоянно от восторга к раздражению, совсем измочалил свою душу и стал быстро хиреть.

Даже предаваясь мирным домашним развлечениям, он не мог оторвать мысли от журавлихинского дела и, в зависимости от положения этого дела, все время приговаривал:

— Нет, как он мне смел! Позвать его сюда!

Или:

— Нужно ему что-нибудь такое-эдакое. Молодчина Журавлихин!

Играя в карты, он вдруг с удивлением впирался взором в какого-нибудь валета и недоуменно шептал:

— Нет, как он мне смел!

Или лихо козырял, припевая:

— Молодчина!

Затем последовала катастрофа.

Он увидел у знакомых в клетке попугая.

Птица качалась вниз головой и повторяла попеременно то:

— Попка, дур-рак!

То:

— Дайте попочке сахару.

Какая-то смутная, подсознательная мысль колыхнула душу губернатора туманной ассоциацией. Он сел и вдруг заплакал.

— Как смеют так мучить птицу! Ведь и птица тоже человек! Тоже млекопитающийся!

И вышел в отставку, с мундиром и всеми к нему принадлежностями.

Таков седой факт, иллюстрирующий всю трудность и все ужасы обязательного по долгу службы категорического суждения.

«ДЕ»

Гимназисту Щупаку прислали с родных бахчей арбузов и дынь.

Пронюхавшие об этом событии приятели не замедлили завернуть вечером на огонек.

Собралось всех, кроме хозяина, трое, и все люди будущего: будущий философ, будущая акушерка, будущий дантист, и только сам Щупак, бородатый и тусклый гимназист, был без всякого будущего. Его только что выгнали из гимназии без права поступления, и он ждал приезда матери, которая должна была у кого-то «вываляться», чтобы Щупак мог дальше и без конца быть гимназистом.

Сидели у стола и долго молча чавкали.

Хозяин вынимал из лубочной корзинки арбуз за арбузом, вскидывал на руке и с треском раскалывал ножом пополам.

— Многие воображают,— говорил он, презрительно щуря глаза,— что в арбузе самое вкусное середина. Не середина хороша, а вот тут, где семечки. Тут всего слаще. Ей-Богу! Середина твердая. Это понимать надо.

— Гм! — мыкнул будущий дантист, вгрызаясь в корку.

— Здесь сама природа отметила,— продолжал Щупак.— Видите, как тут красно. А середина бледнее. А вот еще бывают арбузы, у которых семечки светлые,

с черным ободком. Удивительно хороши! В прошлом году мне присылали с бахчи. Это, надо вам сказать, понимать надо!

Все молча чавкали.

Щупак был доволен. Редко ему случалось говорить при такой большой и внимательной аудитории. Раз в год. А именно, по осени, когда присылали с бахчей. А то никто никогда не слушал и в комнату не заглядывал. Теперь Щупак чувствовал себя не последним человеком и отводил душу за целый год.

— А вот дыня. Она, конечно, с пятном. Но что же из этого? Тем лучше. Пятно показывает, что она дозрела. Пробкина, хотите дыни?

Будущая акушерка, не глядя, протянула лапу и, нащупав отрезанный кусок, потащила его к себе на тарелку.

Сам хозяин еще не пробовал ничего, но ему было не до того. Некогда. Нужно было пользоваться случаем, когда тебя слушают.

— Вы вот, наверное, скажете: «А как же холера?» Холера нам не страшна, раз есть чума. Чумы надо бояться, вот что. Мы бережемся, и холера нам не страшна. Но если беречься чрезмерно, то это еще хуже. Я читал недавно в газетах, как померла одна жена статского советника. Страшно, понимаете, береглась! Кухарку свою мыла каждый день кипяченой водой. И что же вы думаете,— выпила как-то чашку чаю и через полчаса померла!

— Это с чаю-то?—спросила акушерка.

— Ну да, от чаю. Как-нибудь неосторожно выпила. Господа! Кто арбуза хочет? Еще два осталось.

— Да вы бы сами, а то что же так... Неловко!— вдруг застыдился будущий философ.

— Я ничего, я потом. На чем я остановился? Да, главное—осторожность. В этом-то и есть культурность. Во-первых, вывезти крыс из Одессы. То есть заняться серьезной дератизацией на научной ноге. Крыса—главный рассадник. Понимаете? Крыса в Азии залучает к себе блоху с чумного человека. Конечно, совершенно случайно, и везет ее в Европу. Там эта блоха, сближаясь с блохой, населяющей европейскую крысу, переносит на нее свою заразу. Но эта крысиная блоха человеку еще не опасна. Крысиная блоха, надо вам заметить, человека ни за какие деньги кусать не станет. Но если она сблизится с человеческой

блохой и передаст ей свою заразу,— тогда капут. Поэтому надо заняться научным разделением крысиных блох или, куда ни шло, уничтожить их совершенно. Деблохизация крыс — вот лозунг борьбы с чумой. Последний арбуз, господа! Кто хочет?

Будущий дантист тупо подставил тарелку.

— Получайте! Ничего. Я потом. На чем бишь я... Ах да. Насчет холеры должен я вам сказать, что бороться с ней поздно, потому что она поселилась у нас уже навсегда. Вот мы едим арбуз, но мы осторожны. Осторожность эта заключается в том, что мы, ну да... то есть мы вообще осторожны. А на будущий год, если правительство не предпримет никакой демухизации, мы бросим и осторожность. Муха на каждом суставе своей лапы несет миллиарды бацилл всех сортов и систем. А мы что делаем? Мы вытащим муху из молока да еще обсосем ее, вместо того чтобы сделать полную дезинфекцию этого молока.

— Какие вы гадости говорите, Щупак,— поморщилась акушерка.— Можно ли так языком трепать!

Гимназист без будущего не обиделся, но сильно встревожился

«Видно, уж наелись, коли заговорили! — подумал он.— Сейчас встанут и уйдут, а я еще и половины не высказал».

— Господа, еще кусочек дыни остался. Я не хочу. Я потом. Ольга Петровна! Скушайте! Ну прошу, как личное одолжение! Холеры бояться нечего, раз мы осторожны. Ну, хотите, я сейчас пойду, все это под краном вымою? На будущий год уже никто не будет бояться. Посудите сами. Если мне скажут: «Щупак, не ходите сегодня на Захарьевскую, иначе вы умрете». Мне это, конечно, будет тяжело, хотя я никогда на Захарьевской не бываю. Ну, словом, я на Захарьевскую не пойду. Черт с ней, с Захарьевской. Но если мне скажут: «Щупак, если дорожите жизнью, то не ходите на Захарьевскую девятнадцать лет». Нет, господа, это уж вы как хотите, а я не могу, я пойду. На кой черт мне ваша Захарьевская? Буквально ни к чему! Но я пойду, потому что раз вы не сделаете полной дезахарьезации на научной ноге, то человек этого лишения не вынесет. Уверяю вас! Это понимать надо. Куда вы? Еще есть дыня... Я, признаться сказать, припрятал ее для... Ну, да

не стесняйтесь. Прошу вас! Как личное одолжение. Ананасная. А на будущий год, господа, и к чуме привыкнем. Раз не сделают деблохизированной дератизации — привыкнем! А года через два вырвется из лепрозориумов сама проказа и пойдет гулять по белу свету. А почему? А потому, что давно уже указывали на необходимость детараканизации, а разве хоть какие-нибудь шаги сделаны? Разве меры приняты? Смешно сказать, таракан гуляет по всей квартире, а почем вы знаете, где он сейчас побывал? В сыпном бараке или в чумном отделении? Однако же мы привыкли, и, не обрати я вашего внимания, вы бы по-прежнему поощряли тараканов. Еще кусочек дыни? Да? Как я рад! А подумали ли вы о том, что если крошечная муха носит на лапках мириады микробов, то сколько же их помещается на собачьих лапах! Ужас! А разве кто-нибудь подумал о десобакации русских городов? Да у нас и слова такого не слыхивали, не то что!.. А то вот теперь видел я в «Аквариуме» слонов, какую-то дурацкую польку танцуют. Постойте! Не уходите! Дайте досказать мысль! Танцуют, ногами трясут. А подумал ли кто-нибудь, что если на мушиной лапе помещаются мириады микробов, то сколько же их помещается на слоновой? Во сколько раз слоновая лапа больше мушиной? А? Это понимать надо! Ведь если слон попадет лапой, скажем, в суп, так ведь он весь город на тот свет отправит... Ну, чего вы торопитесь, ей-Богу?.. Так же нельзя!

Но они уходили спешно и окончательно. Будущая акушерка повернулась в дверях и сказала брезгливо:

— От ваших арбузов ощущается неприятный холод в области подложечки, у предсердия.

Она выразилась так нарочно, с черствостью высшего существа, чтобы сразить ученостью гимназиста, у которого не было будущего.

А в коридоре кто-то из уходящих громко говорил:

— Привозить такую дрянь, да еще с бахчей, да еще в холерное время. Свинья! Прописать бы ему здоровую дедуракацию!

Щупак вздохнул и, разыскав у дантистовой тарелки арбузную корку порозовее, задумчиво погрыз.

«Теперь что? Молчи! Вплоть до будущих арбузов. Никто не захочет слушать. Спрашивают одни учителя, да ответить-то им нечего. Абсол-лютно нечего!»

АНТЕЙ

Сколько ни хлопотал Иван Петрович, отпуск ему дали только в начале июля.

Семья давно уже была в деревне, и Иван Петрович рвался туда всей душой.

Сидя в вагоне, он набрасывал в записной книжке:

«Я жажду коснуться земли. Припасть к ней всей грудью. Впитать в себя ее соки и, как Антей, набравшись от этого общения новых сил, кинуться снова в битву».

«Битвой» Иван Петрович называл хлопоты о переводе на другое место с высшим окладом.

Так размышляя, подъехал он к последней станции. Было уже часов одиннадцать вечера.

На платформе ждал его высланный навстречу кучер.

— А барыня? А барышня? Захворали, что ли? Отчего не встретили?

— Оне уж спать полягали! — ответил кучер равнодушно.

— Как странно! Так рано! Встают, верно, в шесть...

Сел в коляску.

Всю дорогу строил планы новой жизни.

— Вставать, конечно, не позже шести. Хорошо иногда и встретить солнце с женой и свояченицей... Прямо с постели — в воду. Вода в речке холодная... бррр... На весь день юн и свеж. Затем стакан молока с черным хлебом и верховая прогулка. Если дождь, надел плащ и — марш. Затем легкий завтрак. Потом работать, работать, работать! Перед обедом игра с детьми в крокет. После легкого обеда прогулка совместная с детьми. Организуем пикники... Потом легкий ужин, чтение и на боковую. Роскошь! Сколько за это время прочтешь, как поправишь организм!

До усадьбы не больше шести верст. Приехали быстро.

— Не беспокойте барыню. Пусть спит.

Устроился в кабинете. Выпил чаю. Заснул.

Утром вскочил, взглянул на часы. Половина двенадцатого. Ну, да ведь не начинать же с первого дня. Пусть пройдет дорожная усталость.

Оделся, пошел в столовую.

Вся семья за столом.

Пьют чай, едят ветчину.

— Это что же? Легкий завтрак?

— Нет. Чай пьем. Только что встали.

— Что же это с вами?

— Да так.

— Отчего вчера не встретили?

— Это после ужина-то да шесть верст трястись! Съешь кусочек ветчины. До обеда еще полтора часа.

— Так рано обедаете?

— Нельзя позже. Не дотерпеть.

Иван Петрович посмотрел пристально на жену, на свояченицу, на детей. И больше ничего не спрашивал.

Лица у всех были круглые, глаза припухшие, рот в масле. Жевали бутерброды, а глазами намечали себе новые куски на блюде.

— А вы запаслись каким-нибудь чтением?

Жена сконфузилась.

— Есть «Нива». От покойной тетушки.

— «Нива»?

— Ну да. Чего же тут особенного? Вот Лиза «Сергея Горбатова» читает.

— Гм... Может быть, пойдем пройтись?

— Теперь не стоит. Сейчас накрывать будут. Лучше после обеда.

— После обеда жарко,—сказала свояченица.

— Ну, вечером. Торопиться некуда.

— Ну, ладно. Я после обеда с детками в крокет поиграю. Необходимо хоть маленькое физическое движение.

Дети посмотрели на него припухшими глазами недоверчиво.

Потом сели обедать. Ели серьезно и долго. Говорили о какой-то курице, которую где-то ели с какими-то грибами. В разговоре приняли участие и дети, и нянька. Потом горничная, служившая еще покойной тетушке, очень живо и ярко рассказала, как тетушка фаршировала индюка.

Иван Петрович злился. Изредка пытался заводить разговор о театре, литературе, городских новостях. Ему отвечали вскользь и снова возвращались к знакомой курице и тетушкиному индюку.

Сразу после обеда он ушел в свою комнату разбирать вещи. Стал просматривать книги, в глазах зарябило так странно и приятно. Затем пришла откуда-то очень симпатичная курица, села на диван и закурила папиросу.

Разбудил его голос жены, предлагавшей ему раков.

— Каких раков? Почему вдруг раков?

— Очень просто. Сейчас принес мужик, я и велела сварить. Лиза любит.

Иван Петрович, еще плохо соображая, пошел в столовую. Там сидела свояченица и ела раков.

— Ну, как это можно? — возмутился Иван Петрович.— Ведь только что обедали!

Но сел за стол и загляделся. Свояченица ела раков артистически. Надломит клешню, обсосет, очистит шейку, поперчит, оботрет корочкой скорлупку...

Три минуты смотрел он, на четвертой на выдержал. С тихим стоном протянул руку и выбрал рака покрупнее...

В пять часов пили чай, ели простоквашу, ягоды и варенец. Отдыхали на балконе, ужинали поплотнее и отправились спать.

— Завтра, после верховой езды, поиграю с детками в крокет,— сказал Иван Петрович, зевая.

Вечером занес в книжечку:

«У меня мало общего с женой. Из хрупкого существа, полного интеллегентных порывов, она обратилась в жвачное животное. Я чувствую себя, как связанный орел, у которого висят на крыльях жена, дети и своячени...»

Он заснул.

* * *

Конец июля.

— Чего вы тянете с обедом? — ворчит Иван Петрович.— Уже без четверти час! Ни о чем не подумают.

— Ты бы успел еще выкупаться,— говорит жена.— Сам же кричал, что хочешь купаться.

— Покорно благодарю. По этой жарище в гору переть! Купайся сама. Что же, обед скоро? Прикажи пока хоть яичницу сделать, что ли. Не могу я голодать. Мне это вредно. Я поправляться приехал, а ты меня как лошадь тренируешь. Где Лиза?

— «Ниву» читает.

— Опять с книгой! Безобразие. Летом отдыхать надо, поправляться, а не над книгой сохнуть. Начитается зимой. Хоть бы раков принесли, что ли. После обеда и закусить нечем будет. Ни о чем не подумают.

— После обеда ты, кажется, хотел пикник устроить,— говорит жена.

— Пикник? Кто ж в такую жару пикники устраивает. Для пикника нужен серенький денек. Осенью хорошо. Да мне, кроме того, еще работы много. Нужно еще вещи разобрать. До сих пор не успел, все некогда было.

— А вечером, папочка, в крокет будем играть?

— Ну, чего пристали? Видите, отцу некогда. Уж не маленькие. Пора бы понимать.

— Глаша, горничная, говорит, что у тетушки жила кухарка, которая умела печь новогородские лепешки,— рассказывает жена.

— Да что ты? Неужели? И вкусные?

— Очень. С картофелем, с морковкой.

— И с морковкой? Быть не может! И что же, с маслом или как?

Вечером Иван Петрович заносил в книжку:

«...буквально ничего общего. Где ее любовь? Куда девалась ее страсть? Третий день сижу без простокваши! Не может понять, что я — труженик и должен, как Антей, коснувшись земли, набраться новых сил».

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ПРОШЛОГО

«На основании точнейших данных науки хиромантии предсказываю настоящее, прошедшее и будущее. Даю советы о пропавших вещах, неудачах в браке и способы разбогатеть».

Далее следовал адрес и часы приема: от 9 утра до 11 вечера.

— Нужно пойти,— подумала я.— А то живешь — ничего не знаешь. Пойду, хоть прошлое узнаю.

Разыскала дом. Спросила у швейцара.

— У нас таких нет,— отвечал он.— Прежде, действительно, жил тут дворник, умел зубы лечить. Пошепчет в рот — зуб и пройдет. Многим помогал. А теперь он на Фонтанке, а какой номер дому, я знать не могу, потому что с меня этого не спрашивается. А если вам знать требуется, где квартира номер тридцать два, так прямо вам скажу, что во дворе, налево, шестой этаж.

Я пошла во двор, налево, в шестой этаж.

Лестница была корявая и грязная. Кошки владели ею беспредельно. Они шныряли вверх и вниз, кричали

как бешеные и вообще широко пользовались своими правами. Дверь, за которой предсказывают прошлое, была обита грязной клеенкой и украшена нелепым звонком, болтавшимся прямо снаружи.

Кто-то открыл мне и быстро шмыгнул в другую комнату.

— Пожалте-с сюда! — тихо заблеял простуженный голос.

Я пожаловала.

Комната была маленькая, в одно голое окно. Железная кровать, закрытая вместо одеяла газетной бумагой, два стула и ломберный стол. Над столом прикреплен булавкой к стене лист бумаги, с нарисованной на ней пятерней.

Хозяин стоял и грустно меня разглядывал. Он был очень маленький, с очень большим флюсом, перевязанным черным платком, торчащим на затылке двумя заячьими ушами.

— А, понимаю! — сказал он вдруг и улыбнулся, сколько позволял флюс.— Понимаю!.. Вас, вероятно, прислала ко мне графиня Изнарская?

— Нет,— удивилась я.

— Ну, в таком случае княгиня Издорская?

И не княгиня.

Он не был поражен таким ответом и как будто даже ждал его. Выслушал с интересом и спросил еще, словно для очистки совести:

— В таком случае, наверное, баронесса Изконская.

И тут же прибавил с достоинством:

— Это все мои клиентки. И полковник Иванов — вы знаете полковника Иванова? — тоже приходил советоваться со мной, когда у него украли чайную ложку. Чистейшего серебра. С пробой. По пробе все и искали сначала... Чем могу служить? Настоящее, прошедшее или будущее? Позвольте вашу левую ручку. Которая у вас левая? Ах да, виноват, эта. Они, знаете, так похожи, что даже мы, специалисты, часто путаем. Позвольте рассмотреть линии. Гм... да. Я этого ожидал! Вы проживете до девяноста... да, совершенно верно, до девяноста трех лет и умрете от самой пустой и безопасной болезни... от отравления карболовой кислотой. Остерегайтесь пить карболовую кислоту в преклонных летах!

— Благодарю вас! — сказала я.— Только я больше интересуюсь другим вопросом...

— Понимаю! — перебил он.— Для того, чтобы я понял, достаточно самого легкого намека. Вас беспокоит мысль о той вещи, которая у вас пропала на днях!

Я стала вспоминать, что у меня пропало: булавка от шляпы, последний номер журнала «Аполлон», перчатка с правой руки...

— Эта вещь была вам дорога и необходима,— я вижу это по линиям вашего указательного пальца.

Положительно, он намекал на перчатку. Она была действительно очень нужна, и я, разыскивая ее, полезла даже под шкаф и стукнула лоб.

— Вам бы хотелось знать, где теперь эта вещь! — пророческим голосом продолжал хиромант.

— Да! О-очень!..

— Она вам возвращена не будет. Но благодаря ей будет спасено от голода целое семейство. И оно будет благословлять ваше имя, даже не зная его!

— Несчастные!

— Теперь скажу вам о вашем прошлом. Вы были больны.

Я молчала.

— Не очень сильно.

Я молчала.

— И довольно давно. Еще в детстве.

Я молчала.

— Но несерьезная болезнь. Я же говорю, что несерьезная,— оправдывался он.— Так, какие-то пустяки! Голова, что ли, болела... и недолго. Что там! Какой-нибудь час. И еще должен вам сказать, что в вашей жизни сыграли некоторую роль ваши родители: проще скажу — мать и отец. А еще мне открыто, на основании ваших линий, что у вас очень щедрая натура. Если вы только заметите, что человеку нужны деньги, уже вы сейчас все ему отдадите.

Мы помолчали некоторое время — он вопросительно, я отрицательно.

Потом он захотел огорчить меня. Он поднял голову вверх и, тряся заячьими ушами, ехидно сказал:

— Замуж вы никогда не выйдете!

— Ну, это положим!

— Как «положим»! Мне по линиям шестого сустава безымянного пальца...

— Врет вам шестой сустав. Я давно замужем.

Заячьи уши уныло опустились.

— Я в этом смысле и говорил. Раз вы замужем, так как же вам еще раз выходить. Тем более, что даже смерть вашего мужа не обозначена на ваших суставах. Он доживет до девяноста двух лет и умрет от такого пустяка, что вы даже и не заметите. Но для вашего мужа очень опасны пожары. В огне он очень легко загорается...

— Благодарю вас, мы будем осторожны.

— И вообще, остерегайтесь всяческих несчастий — это мой вам совет. Ушибы, увечья, заразительные болезни, потеря глаза, рук, ног и прочих конечностей, со смертельным исходом,— все это для вас чрезвычайно вредно. Это все, что я могу вам сказать на основании научных исследований вашей руки, называемых хиромантией. Один рубль.

Я заплатила, поблагодарила и вышла.

Он стоял на лестнице — одно заячье ухо вверх точно прислушивалось к моим шагам, другое — упало вниз, безнадежное. Он долго смотрел мне вслед.

— Поблагодарите от меня графиню Задольскую! — вдруг крикнул он сверху.

— Что-о? — подняла я голову.

— Баронессу... за рекомендацию. И княжну тоже...

Слегка прищурив глаза, он гордым взглядом окинул двух пегих кошек, примостившихся у самого порога. Вы, мол, твари, понимаете, кого пред собой видите?

— Непременно! — ответила я.

Я понимала, что раз нас слушают посторонние, то нужно быть деликатной.

Кошки переглянулись.

ДВА ВИЛЛИ

Американский рассказ

Вы думаете, господа, что американским миллионерам очень легко живется?

Вы, вероятно, представляете себе так: вот встал миллионер утром, позанимался сколько следует своими делами, отдохнул, вкусно позавтракал какими-нибудь маринованными африканскими муравьями в шампанском, покатался на своей яхте вместимостью в пятьсот тысяч тонн вдоль по Атлантическому океану туда и обратно. Потом обед из каких-нибудь семисот

тридцати пяти блюд, затем поездка на автомобиле в сорок тысяч слоновых сил, потом бал, потом ужин в собственном салон-вагоне, который за ночь облетит всю Америку, черт его знает зачем.

Ничего подобного.

Истинный американский миллионер — мученик своего ремесла, во всяком случае первые годы, когда вылезет в богачи.

Дело в том, что в Америке такая масса миллионеров, что каждый из них, кто только не желает потонуть в этом море ничтожной каплей, должен непременно чем-нибудь выдвинуться, прогреметь, прославиться или хоть проскандалиться.

Кроме чистого честолюбия, немалую роль играет здесь и коммерческий расчет.

— Эге! — скажут.— Да это тот самый знаменитый миллионер, который верхом на козе проехался из Нью-Йорка в Филадельфию. Очень известная фирма. Алло! Алло!

И вот все молодые миллионеры из кожи вон лезут, стараясь переоригинальничать один другого.

Дело это, в общем, очень трудное и требует, кроме личных способностей, еще и много простой удачи. Так легко удариться в чрезмерную крайность и вместо милого чудака прослыть болваном!

Вот именно в этом отношении и не повезло бедному богатому Вилли Броуну. Он был еще очень молод, когда через его руки прошло уже столько свиней, сколько иному человеку и в кошмаре не привидится. При этом Вилли Броун умел каждую свинью перевернуть три раза хитрее любого фокусника и от каждого оборота имел особый доход.

Так как в деле этом ни один американский свинарь не мог соперничать с Вилли, то он и получил лестное прозвище — «свиной король».

Но этим делом и ограничилось. А у Вилли Броуна честолюбие было очень велико, и хотелось ему, кроме всего прочего, прослыть чудаком и оригиналом. Но что он ни предпринимал с этой целью, все выходило или очень обыкновенно, или очень глупо.

В особенности мучил его пример сотоварища по миллионам, Вилли Гульда, керосинового короля. Тому везло чрезвычайно. В море он два раза терпел аварии, причем в журналах появлялись его портреты, в Европе дрался на дуэли с принцем крови «до первой

крови» (тоже с портретами), сорвал банк в Монако и был в Мессине во время землетрясения.

Кроме того, везде и всегда умел он привлекать к себе всеобщее внимание, что если и удавалось Вилли Броуну, то только в самом печальном смысле.

Вилли Броун терзался завистью и ходил за Вилли Гульдом, как пастух за бараном, изучая его приемы и втайне надеясь, что и ему когда-нибудь удастся какая-нибудь гульдовская штучка.

Эта слабость свиного короля была многими подмечена и высмеяна, так что бедному Вилли приходилось прятаться и следить за своим идеалом исподтишка.

Однажды, это было в блестящем курорте на юге Франции, где оба Вилли проводили каждую осень, керосиновый король превзошел самого себя.

Он вошел в игорный зал казино в сопровождении маленькой кафешантанной испаночки Гукиньеро, вошел бледный, спокойный, более того — зеленый и равнодушный.

Вошел и остановился.

Весь зал зашелестел шепотом, как тараканы за печкой:

— Вилли Гульд! Вилли Гульд!

Все головы обернулись к нему.

И прежде всех, конечно, голова укрывшегося за портьеру Вилли Броуна.

Все ждали, что будет.

Но он сделал какой-то знак одному из крупье, и тот сел за него играть.

Сам же Вилли взял стул, расселся посреди зала и, презрительно опустив губы, стал смотреть куда-то в угол через головы играющих. Сказал что-то своей испанке, та села с ним рядом и, не имея возможности играть в рулетку, играла глазами, плечами и фальшивыми бриллиантами.

Вилли Броун весь горел и, как гусь, вытягивал шею из-за портьеры.

Но вот керосиновый король встал.

— Assez ! — сказал он своим прекрасным миллионно-американским выговором.— Довольно!

И тотчас крупье вскочил и, заискивающе улыбаясь, подал на подносике кучку золота — выигрыш Гульда.

Тот отстранил его руку (о, что за жест! Вилли Броун заучивал его потом перед зеркалом!) и, указывая на испанку, бросил сквозь зубы:

— A madame ! Отдайте это барыне.

Испанка высыпала золото в свой ридикюль, и оба вышли.

Пока они шли, слышно было только, как позвякивало золото в ридикюле испанки. И больше ничего.

Минута была так торжественна, что Вилли Броун почти упал в обморок. То есть, наверное, упал бы, если бы его не поддерживало твердое решение сохранить инкогнито.

Игорный зал долго не мог успокоиться.

— Гульд! Керосиновый король, триста тысяч франков.— A madame, уличной девчонке. Каков жест, а? Даже не посмотрел — сколько. Триста тысяч, Вилли Гульд.

Все были в восторге, и несколько дней на курорте замечалось особое оживление: это все бегали друг к другу, чтобы рассказать о жесте американского миллионера.

Вилли Броун похудел на шесть фунтов. Но он решил, что сделает штуку не хуже этой. Нужно только переждать, чтобы Гульд уехал. А кроме того, нужно еще эту штуку придумать. Чтобы было так же хорошо, как «à madame», но вместе с тем и не то же самое, а то скажут, что Вилли Броун — обезьяна Вилли Гульда.

Однажды, гуляя по взморью и мысленно примеривая себя во всяких небывалых, но очень лестных положениях, Вилли Броун увидел испаночку Гукиньеро. Она сидела у дверей ресторана и кончиком зонтика рвала кружева на собственной юбке.

Вилли вспомнил, что она за последние дни проигралась в пух и прах и, как особа сильно темпераментная, так страшно кричала и стучала кулаками по столу и даже по соседям, что ее попросили больше в казино не показываться.

И вот она сидела и рвала кружево зонтиком, а ореол того бессмертного жеста, того великолепного «à madame» веял над нею, и Вилли не мог. Вилли подошел и пригласил ее пообедать.

И вот, когда они входили в огромный, переполненный народом зал модного ресторана, он, Вилли, и та самая испанка, которая была с Гульдом, свиной король вдруг остановился. Та самая штука, которую он так долго придумывал, вдруг сама собой прыгнула прямо ему в голову.

Это было так просто и так похоже на то, что выкинул Гульд, и так же красиво, но вместе с тем

совсем не то, и никто не посмеет сказать, что это подражание.

Он вдохновенно поманил к себе пальцем метрдотеля.

— Я миллионер Броун! Ага! Знаешь. Я сам не обедаю. Мне лень. Вы будете есть за меня. Садитесь!

Метрдотель взметнул фалдами и мгновенно уселся за отдельный столик. Вилли с испанкой сели в некотором отдалении. Вилли заказал обед, вынул бинокль и стал смотреть, как тот ест.

Метрдотель выполнял свою роль с глубоким знанием дела. Подливал соуса, смотрел вино на свет, слегка перемешивал салат перед тем, как положить его на тарелку, и проводил по усам корочкой хлеба.

После третьего блюда испанка вздохнула.

— Слушай, Вилли! А ведь я, собственно говоря, не прочь тоже пообедать!

Но тот остановил ее.

— Молчи! Не порти дела! Ты не прогадаешь!

Он был бледен, и хотя сохранял наружное спокойствие, посвистывая и болтая ногой, но чувствовалось, что весь он горит какой-то великой творческой мыслью.

Публика, впрочем, мало обращала на него внимания. Ближайшие соседи сначала удивленно посматривали на человека, разглядывающего в бинокль какого-то обедающего господина, но потом, вероятно, решили, что Вилли просто пьян, и окончательно перестали им интересоваться.

— Ну, скоро ли? — бесилась испанка.

Наконец метрдотель допил последнюю рюмку ликера, встал и, почтительно держа обеими руками счет, подал его Вилли.

Ага! Вот он, тот самый момент!

Склоненный человек во фраке, и толпа вокруг, и даже та же испанка...

Вилли выпрямился и, отстранив руку, подающую счет, совершенно таким жестом, какой сделал Вилли Гульд, сказал голосом, совершенно таким, какой был у Вилли Гульда, как он, указывая на испанку:

— A madame ! Отдайте это барыне!

И, надменно повернувшись, направился к выходу.

И вдруг раздался страшный визг, словно сразу трем кошкам наступили на хвост.

Это пришла в себя остолбеневшая испанка. Быстро сломав о колени пополам свой зонтик, она швырнула

его прямо в затылок свиного короля. Но тот даже не обернулся.

— Га-а! Он требует, чтобы я платила за его дурацкие прихоти! Га-а! Я! Гукиньеро! Которая в жизни своей никогда не платила даже по собственным счетам! Убийца! Убийца!

Она металась как бешеная и, запустив обе руки в свою шевелюру, для полной картины отчаяния распустила волосы.

Это был настоящий спектакль.

Вся публика столпилась вокруг.

— А он еще выдавал себя за миллионера! — разводил руками без толку пообедавший метрдотель.

Вилли Броун шагал между тем по тротуару и недоумевал.

До него доносились крики Гукиньеро, он видел, как какие-то молодые джентльмены, высунувшись из окна, показывали ему кулаки и свистели,— и ровно ничего не понимал.

— Положительно они чем-то недовольны! А между тем я сделал все, как он. Вот так, голову вверх, рукой слева направо: «A madame». Да... Гукиньеро. Затылок немного горит. Но не мог же я сейчас же дать ей денег,— это все бы испортило. Я пошлю ей. Странные люди! Все, что делает Гульд, им нравится, а что делаю я, они не хотят ценить!

Увидя свое отражение в зеркальном окне магазина, он не вытерпел: поднял голову, развел рукой:

— A madame!

И, блаженно улыбнувшись, пошел домой.

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

> Как факел, передавали друг другу благую весть и, как от факела, зажигал от нея каждый огонь свой.
>
> *Из сказаний о жизни первых христиан*

Самосов стоял мрачно, смотрел на кадящего дьякона и мысленно говорил ему: «Махай, махай! Думаешь — до архиерея домахаешься? Держи карман!»

Он медленно, но верно выпирал локтем стоявшего около него мальчишку, чтобы пролезть поближе

к молящемуся здесь же начальнику. Хотелось быть на виду — для того и пришел. Начальник был с супругой и с тещей.

— Жену привел! — крестился Самосов. — Харя ты, харя! У самой сорок любовников, а в церковь пошла — брови по своему лицу намалевала. Хотя бы перед Богом постеснялась. И он дурак — из-за приданого женился. Она, конечно, пошла! Не помирать же с голоду.

— Христос Воскрес! — возгласил священник.

— Воистину Воскрес! — прочувствованно отвечал Самосов. — И тещу привели! Как не привести! Ее оставить — так она либо посуду перебьет, либо несгораемый шкаф взломает. Ей бы только дочерьми торговать. Народила уродов и торгует. И шляпы приличной не могли старухе купить! Нарочно старую галошу на голову ей напялили. Чтоб все издевались. Нечего сказать! Уважают старуху. Как никак, а все-таки она вас родила! Не отвертитесь! Махай, махай кадилом-то! Архимандрит! Митрополию получишь.

Служба кончилась. Самосов с почтительным достоинством приблизился к начальнику.

— Воистину, хе-хе!

Облобызались.

Ручку у начальницы. Ручку у тещи.

— Хе... хе! Так отрадно видеть у этой толпы простолюдинов веру в неугасимость заветов... которые... Жена? Нет, она, знаете, осталась домохозяйничать... Библейская Марфа.

Выходя из церкви, он еще чувствовал некоторое время умиленность от общения с начальством и запах цветочного одеколона на своих усах. Но мало-помалу опомнился.

— А ведь разговляться не позвал! Обрадовались... Тычут руки — целуй! Небось охотников-то немного найдут на свои дырявые лапы.

Пришел домой.

За столом жена и дочь. На столе ветчина и пасха. У жены лицо такое, как будто ее все время ругают: сконфуженное и обиженное.

У дочери большой нос заломился немножко на правый бок и оттянул за собой левый глаз, который скосился и смотрит подозрительно.

Самосов минутку подумал.

— Эге! Воображают, что я им подарков принес!

Подошел к столу и треснул кулаком.

— Какой черт без меня разговляться позволил?

— Да что ты?—изумилась жена.—Мы думали, что ты у начальника. Сам же говорил...

— В собственном доме покою не дадут!—чуть не заплакал Самосов. Ему очень хотелось ветчины, но во время скандала считал неприличным закусывать.

— Подать мне чай в мою комнату!!

Хлопнул дверью и ушел.

— Другой бы, из церкви придя, сказал: «Бог милости прислал»,—сказала дочка, смотря одним глазом на мать, другим на тарелку,—а у нас все не как у людей!

— Ты это про кого так говоришь?—с деланным любопытством спросила мать.—Про отца? Так как ты смеешь? Отец целые дни, как лошадь, не разгибая спины, пишет, пришел домой разговеться, а она даже похристосоваться не подумала! Все Андрей Петрович на уме? Ужасно ты ему нужна! И чем подумала прельстить! Непочтительностью к родителям, что ли! Девушка, которая себя уважает, заботится, как бы ей облегчить родителей, как бы самой деньги заработать. Юлия Пастрана, или как ее там... с двух лет сама родителей содержала и родственникам помогала.

— А чем я виновата, что вы мне блестящего воспитания не дали? С блестящим-то воспитанием очень легко и переписку найти, и все.

Мать встала с достоинством.

— Пришлешь мне чай в мою комнату! Спасибо! Отравила праздник.

Ушла.

Весело озираясь, с радостно пылающим лицом, вошла в столовую кухарка с красным яичком в руках.

— С Христос Воскресом, барышня! Дай вам Бог всего самолучшего. Женишка бы хорошего да молодого, капитального.

— Убирайся к черту! Нахалка! Лезет прямо в лицо!

— Господи помилуй!—попятилась кухарка.—И с чего это... Ну, как с человеком не похристосоваться? Личность у меня действительно красная. Слова нет. Да ведь целый день варила да пекла, от одной уморительности закраснелась. Плита весь день топится, такое воспаление—дыхнуть нечем. Погода жаркая, с утра дождь мурашил. О прошлом годе куда прохладнее было! К утрене шли—снег поросился.

— Да отвя́жетесь вы от меня! — взвизгнула барышня. — Я скажу маме, чтоб вас отказали.

Она быстро повернулась и ушла той самой походкой, какой всегда ходят хозяйки, поругавшись с прислугой: маленькими шагами, ступая быстро, но двигаясь медленно, виляя боками и выпятя грудь.

— Уж-жасно я боюсь! — запела вслед кухарка. — Ух, как напугали... Прежде жалованье доплатите, а потом и форсите! Я, может, с рождества месяца пятака от вас не нюхивала. Уберу со стола и спать завалюсь, и никаких чаев подавать не стану. Ищите себе каторжника. Он вам будет ночью чаи подавать.

Она сняла со стола грязную тарелку, положила на нее по системе всех старых баб, живущих одной прислугой, ложку, на ложку другую тарелку, на тарелку стакан, на стакан блюдо с ветчиной и уже хотела на ветчину ставить поднос с чашками, как все рухнуло на пол.

— Все аредом!

В руке осталась одна основная тарелка.

Кухарка подумала-подумала и бросила ее в общую кучу.

Почесала под платком за ухом и вдруг, точно что вспомнив, пошла на кухню.

Там сидела на табуретке поджарая кошка и лакала с блюдечка молоко с водой. Перед кошкой на корточках пристроилась девчонка, «сирота, чтоб посуду мыть», смотрела и приговаривала:

— Лакчи, лакчи, матушка! Разговейся, напостимшись! С хорошей пищи, к часу молвить, поправишься!

Кухарка ухватила девочку за ухо.

— Эт-то кто в столовой посуду переколотил? А? Для того тебя держат, чтоб посуду колотить? Ах ты, личность твоя худорожая! А? Что выдумала! Пошла в столовую прибирать. Вот тебе завтра покажут, толоконный твой рот!

Девчонка испуганно захныкала, высморкалась в передник; потерла ухо, высморкалась в подол, всхлипнула, высморкалась в уголок головного платка и вдруг, подбежав к кошке, спихнула ее на пол и лягнула ногой:

— А провались ты, пес дармоедный! Житья от вас нету, от нехристев. Только бы молоки жрать! Чтоб те прежде смерти сдохнуть!

Кошка, поощряемая ногой, выскочила на лестницу, едва успела хвост унести,— чуть его не отхватили дверью.

Забилась за помойное ведро, долго сидела не шевелясь, понимая, что могущественный враг, может быть, ищет ее.

Потом стала изливать свое горе и недоумение помойному ведру. Ведро безучастно молчало.

— Уау! Уау!

Это все, что она знала.

— Уау!

Много ли тут поймешь?

ГОРЫ

Путевые заметки

I

— Зачем же нам ехать в Италию, когда мы преспокойно можем поехать в Испанию?

Я посмотрела Софье Ивановне прямо в глаза и отвечала спокойно:

— А зачем нам ехать в Испанию, когда мы преспокойно можем поехать в Швейцарию?

— А зачем нас понесет в Швейцарию,— подхватила она,— когда мы преспокойно можем поехать на Кавказ?

Я прекрасно понимала, в чем дело.

Дело было в том, что Софья Ивановна только что разбила любимую чашку и ей нужно было сорвать на ком-нибудь сердце. Не желая служить ее низменным инстинктам, я решила убить ее сразу своей кротостью.

— Да, друг мой? Вы хотите ехать на Кавказ? Что ж — я очень рада.

Ей не хотелось на Кавказ. Она чуть не плакала со злости и говорила дрожащим голосом, надеясь вызвать меня на протест:

— Поедем по Военно-Грузинской дороге. Вы ведь не видели ничего подобного. Мне-то все равно, но вам это, конечно, страшно интересно.

Я кротко улыбалась, и через три дня мы поехали.

От Петербурга до Кавказа — стоит ли описывать наше путешествие?

Потеряли один зонтик, одну картонку, два пледа, один кошелек, одну фальшивую косу, одну квитанцию от багажа, три полотенца и восемнадцать рублей деньгами.

Словом, доехали благополучно.

Во Владикавказе поели на вокзале шашлыку и пошли на базар нанимать коляску до Млет и обратно.

На базаре оказалась всего одна коляска; на козлах сидел бородатый русский мужик и зевал, крестя рот.

Софья Ивановна деловито отстранила меня локтем и сказала мужику:

— До Млет и обратно коляску четверкой, сколько возьмешь?

— До Мле-ет? — он презрительно улыбнулся.— Цена известная — тридцать пять рублей.

— Нечего, нечего! Больше сорока не дам!

Я дернула Софью Ивановну за рукав.

Она оглянулась сердито.

— Оставьте, пожалуйста. Вы вечно везде переплачиваете! Меня предупреждали, чтобы я больше сорока не давала.

Но ямщик стоял на своем.

— Ищите другого. Может, какой дурак и повезет дешевле, а я не могу. Как я цену с вас не ломил, а по-божески сказал, что тридцать пять, так нужно тоже и совесть иметь.

— А я больше сорока не дам!

Не знаю, чем бы дело кончилось, если бы я не вмешалась. Вероятно, они никогда бы не сговорились. Но мне очень понравился ямщик; он так подходил к нашей компании, что было жаль его упускать.

Я схватила Софью Ивановну за руку и громко закричала:

— Ради Бога, молчите! Он уже согласен. Ямщик, голубчик! Барыня согласна! Подавай скорей лошадей к вокзалу.

Но тут снова вышла история. Ямщик сказал, что должен нам дать задаток, а то мы его надуем и возьмем другого. А Софья Ивановна обиделась и выразила уверенность, что надует-то именно он и поедет с другими, и поэтому он должен взять с нас задаток. Я с трудом помирила их, взяв с каждого в свою пользу, пока что, по три рубля.

После долгих сборов, ссор и разговоров мы наконец выехали, остро ненавидя друг друга, ямщика и всю четвертку лошадей.

II

— Феерично! Феерично! — кудахтает Софья Ивановна. — Скалы, а наверху — вершины! Нет, вы себе представить не можете, какая это красота!

— Чего же мне представлять, — говорю я, — раз я все это вижу собственными глазами.

— Ах, вы не понимаете, это феерично. Я много видала красивого, ездила морем. Это было тоже феерично, но даже на море нет ничего подобного!

— Чего нет, гор-то?

— Ах, ничего нет. И потом на море я бываю больна — у меня делается мертвая зыбь... Ямщик! Ямщик, что это за гора?

— Пронеси Господи, — мрачно раздается с козел.

— Ах, опять «Пронеси Господи», это он уже пятый раз говорит... Быть не может, чтобы все скалы так назывались... Ямщик! Ямщик! Что это за ручей?

— Терек.

— Ах! Терек! «Плещет мутный вал»! Ямщик! Ямщик! Где мутный вал? А это что за гора?

— Пронеси Господи.

— Опять! Да тут хоть и не молись, все равно пронесет, — гладкое место.

Ямщик презрительно подергивает плечом. Он человек русский и с глубоким презрением относится к Кавказу. Глядя на скалы, крутит головой с таким видом, точно хочет сказать: «И нагородили же зря всякой всячины. Затейники! Делать, мол, вам нечего».

Ужасно уж он был некстати в этой обстановке. Такому мужику нужно ходить по гладкому месту, пахать да боронить. А тут едет бедняга, внизу пропасть, сверху камень висит, справа — «Пронеси Господи», слева — «Пронеси Господи», сзади — «Пронеси Господи». Тьфу!

Настроение у него, по-видимому, невеселое, да и страх порой пробирает, но из чувства собственного достоинства он старательно прячет его «под маской наружного холода».

Вот мы и в Дарьяльском ущелье.

Воздушный железный мостик, легкий и звонкий, перекинут с одного берега на другой. Терек весь кипит и бурлит и сердито бросает нам в лицо холодную белую пену. Мостик дрожит. Голова кружится. Вода

глухо ревет. Сотни огромных водяных колес крутятся и вертятся, точно торопятся выполнить какой-то спешный и важный заказ.

Эдакая бестолочь!

Чувство удовольствия, тайного торжества и победы сладко пробегает по нервам: мы на другом берегу.

Я смотрю, улыбаясь, как бесятся злые волны, и думаю:

— Злись себе сколько влезет — а я все-таки переехала!

— Чертов мост! — заявляет ямщик таким тоном, что моя спутница даже обижается:

— Il se permet trop! [1]

Мимо нас, тяжело громыхая, пронеслась огромная карета, запряженная четверкой лошадей. На козлах благодушно улыбающийся кучер и облаченный в черкесский костюм, весело дудящий в рожок кондуктор.

Из необычайно маленьких окошечек кареты торчала чья-то рука и совершенно стиснутый локтем этой руки большой сизый нос. С другой стороны не то козырек фуражки, не то чье-то оторванное ухо. На запятках, покрытые, словно ковром из солдатского сукна, густым слоем пыли, копошились какие-то живые существа. Вернее, полуживые. Лица их были плотно прижаты к кузову кареты, спины подпирались чемоданами. Чуть-чуть двигались только какие-то странные седые отростки, похожие на человеческие руки. В общем, существа эти напоминали жуков, приколотых булавкою к пробке.

— Почтовый обнимусь, — пояснил ямщик, когда карета скорби промчалась мимо, обдав нас густым и тяжелым облаком пыли.

Много интересного узнала я об этом странном сооружении. Более всего удивил меня новый и оригинальный принцип его: чем дороже платит пассажир, тем хуже ему ехать. Лучше всего чувствуют себя кучер и кондуктор. Они дышат свежим воздухом, любуются природой, трубят в рожок и вдобавок получают жалованье.

Пассажир второго класса, заплативший за проезд, помещается на запятках. Но он может иногда пошевелить вбок рукою, может свободно вылететь на крутом

---

[1] Он себе слишком много позволяет! *(фр.)*

повороте и, приложив некоторое старание, может также увидеть клочок неба над своей головой, когда отчаяние охватит его душу и он захочет ободрить себя молитвой.

Пассажиру первого класса — самого дорогого — приходится хуже всех. Он ничего не видит, ничего не слышит, совершенно лишен воздуха и, как Иона во чреве китовом, ждет сладостного момента, когда «обнимусь» изрыгнет его на какой-нибудь станции.

Я потом видела этих несчастных на остановках. Они качались на ногах, испуганно щурились от света и все дышали, дышали, дышали... Они напоминали мне подводный корабль «Наутилус» Жюля Верна, который выплывал раз в месяц на поверхность моря и, причалив к «туземным» островам, запасался свежим воздухом.

Рекомендую путешествие в омнибусе для особ, ненавидящих природу и не желающих бросить на нее ни одного, даже равнодушного, даже негодующего взгляда. (Бери билет второго класса.)

Рекомендую путешествие в омнибусе также для особ, которые органически не выносят свободы движений и свежего воздуха. (Бери билет первого класса.)

Если вы едете на вольных, в обыкновенной коляске, то как ни отворачивайтесь, как ни прячьтесь, а все равно что-нибудь да увидите. Ненароком — а увидите. В почтовом же омнибусе вы гарантированы вполне от всяких, раздражающих взор ваш, картин. Локоть соседа, нос визави, спинка кареты, собственная ладонь, если вам повезет и удастся поднять руку,— этим исчерпаются все зрительные впечатления, какими подарит вас Военно-Грузинская дорога.

III

— Замок царицы Тамары,— тычет ямщик кнутом куда-то в пространство.

— Ах! Какая красота,— всколыхнулась моя спутница,— феерично! Буквально феерично! И как все хорошо сохранилось... Четыре башни... Окошечки такие чистенькие... «Ценою жизни ночь мою!..» Ах, Тамара, Тамара!

— Это вы, между прочим, из Клеопатры, а не из Тамары,— замечаю я.

— Ах, это безразлично... Раз их manières de si conduire [1] так похожи... Дивный замок! Скажи, ты помнишь ли еще свою царицу? — И она запела тоненьким фальшивым голоском:

Не плачь, дитя, не плачь напрасно.
Твоя слеза совсем напрасно
Куда не надо упадет!..

— Феерично! Феерично!

— Да вы, барыня, совсем не туда смотрите,— удивляется ямщик.— Это вон с четырьмя башнями казацкий пост; недавно выстроен. А замок там, на горе. Ишь — камушки торчат.

Мы сконфуженно смолкаем.

От замка царицы Тамары осталась одна дыра с каемочкой. Мы объезжаем скалу и, повернув головы, долго смотрим на развалины.

Прескверное было жилище.

— У моей скотницы более комфортабельная изба,— замечает моя спутница.

И потом, покойнице было очень неудобно сталкивать с этой скалы своих поклонников — здесь недостаточно круто, и приходилось несколько сажен бежать сзади и подталкивать их в спину. Утопить их тоже было трудненько. Терек слишком далеко, и если им и удавалось скатиться вниз, то для того, чтобы утопуть, нужно было порядочное пространство отмахать пешком. Или, может быть, Тамара сама волокла их по камням. Работа не легкая.

Моя спутница даже вздохнула по этому поводу:

— Tout n'est pas rose dans le métier! [2]

И потом, обратившись к ямщику, полюбопытствовала:

— Скажи, любезный, что же она, действительно... женщина была?..

Дорога снова круто поворачивает, и снова тоненький, хрупкий мостик робко перекидывается через поток.

Он весь звенит и дрожит, словно от страха, словно хочет сказать нам: «Уж не знаю, доведу ли я вас до того берега...»

---

[1] Манеры вести себя *(фр.)*.

[2] У каждой розы есть свое ремесло! *(фр.)*

— Ямщик,— спрашивает моя спутница,— а где же мы будем ночевать?

— Да уж нужно до Казбека добраться, а завтра рано утром выедем и к обеду в Млетах будем.

* * *

Млеты — конечный пункт нашего путешествия. Далее, как нам говорили, горы уже не так красивы и после Дарьяльского ущелья представляют мало интересного. Из Млет мы вернемся тою же дорогой во Владикавказ.

— А хорошие ли там комнаты для ночлега? — спрашиваю я.

— Еще б те нет! На каждой станции три отделения: одно для дам, одно для мужчин и одно для генералов.

— У вас на Кавказе, голубчик, генералы, верно, третьим полом считаются?

Ямщик не отвечает. Мимо нас с грохотом, треском и трубным звуком проносится «карета скорби». Долго потом через клубы пыли чудятся нам какие-то сдавленные стоны, мольбы и насмешливый хохот. Меня охватывает такое настроение, будто мы увидели проклятого «летучего голландца», и раздавшиеся затем слова ямщика «гроза будет» кажутся мне прямым последствием зловещей встречи.

Начинает темнеть. Лиловые тучи медленно опускаются на широкие каменные плечи утесов и, тихо покачиваясь, прильнули к ним.

На станцию «Казбек» мы приехали поздно ночью, продрогшие и промокшие под проливным дождем. Мы действительно нашли хорошие комнаты, удобные постели и порядочный ресторан.

В столовой уже было несколько путешественников, таких же мокрых и голодных, как мы. Около нас поместился господин с самым туземным носом и таковым же костюмом.

— Дайте мне что-нибудь, шашлык и что-нибудь, форель,— гордо приказывал он и повторял свое приказание такое бесконечное число раз, что я поняла, что это делалось не без умысла. Он, очевидно, рассчитывал произвести на нас впечатление. И кто знает! Может быть, уже не одно женское сердце погублено и разбито этой властной фразой.

— Я сказал: что-нибудь, шашлык!

— Ne le regardez pas [1],— тревожно шепчет мне моя спутница.— Не забывайте, что мы на Военно-Грузинской дороге.

— А что?

— А то, что он познакомится с вами, а потом зарежет и ограбит. И очень просто!

— Так вы думаете, что здешние разбойники такого деликатного воспитания, что не станут резать даму, которой не представлены?

— Что-нибудь, форель я велел! — и нас обжигает пламенный взгляд.

— Mais détournez-vous! [2] Ах, Боже мой! Если бы не цыпленок, я бы ушла,— мечется на своем месте моя спутница.

— Велим подать в номер, если вы так боитесь,— решила я.

Мы встали и пошли вдоль коридора, отыскивая занятую нами комнату.

Темно. Фонарь, повешенный у входной двери, слабо мерцает вдали. Никого нет, спросить не у кого. Вдруг чьи-то шаги...

— Извэнитэ, милостивая государыня...

Голос знакомый. Мы оборачиваемся.

— Ай! C'est lui [3],— вопит моя спутница.— Голубчик! У меня ничего нет! Денег нет... Я несовершеннолетняя!.. Я послала все дочерям... в Москву... по телефону!.. Ах, qu'est-ce que je raconte!.. [4]

— Извэните, милостивая государыня,— спокойно продолжал незнакомец, обращаясь ко мне.— Вы не мармазель Баринская из Киева?

«Эге! — подумала я.— Понимаю твою военно-грузинскую хитрость. Просто познакомиться хочешь... Ладно же!»

— Совершенно верно. Я мармазель Баринская из Киева.

Несколько мгновений испуганного молчания. Затем удивленно-радостный возглас:

— Нэ правду, врошь! Она брунетка!..

Подошел слуга со свечой и провел нас в нашу комнату. Восточный незнакомец так и остался с рас-

---

[1] Не смотрите на него *(фр.)*.

[2] Да отвернитесь же! *(фр.)*

[3] Это он! *(фр.)*

[4] Что я несу! *(фр.)*

крытым ртом и расставленными руками. Я не уверена, что он не стоит там до сих пор...

По распоряжению ямщика нас разбудили в пять часов утра. Алые лучи только что проснувшегося солнца весело и дерзко били в окошко.

— Скажите вашему ямщику, что я ему не раба! Когда захочу, тогда и встану! — хриплым, сиплым голосом ворчала моя спутница.

— Софья Ивановна! — робко убеждаю я,— ведь мы ничего не увидим, если мы выедем поздно.

Молчание. Затем легкий храп.

Проходит полчаса.

— Ямщик скучает,— раздается тягучий голос за дверью.— Лошади поданы.

Делать нечего. Софья Ивановна медленно принимается за одевание с видом приговоренного к казни преступника, совершающего свой последний туалет.

Мы выходим на крыльцо. Странная неожиданная картина представляется нам: все покрыто молочно-белым туманом, покрыто до такой степени, что нам кажется, будто мы не на Кавказе, а где-нибудь в степях Екатеринославской губернии. Ни одной горы не видно. Все гладко и чисто.

— Вот так пейзаж! — ворчит моя спутница.— Стоило ехать!

— Как жаль,— вторю я.— И Казбека не увидим.

— Благодарите Бога, что хоть Терек-то видите.

Я стараюсь как-нибудь примириться с разочарованием.

— Не правда ли, какое чудное широкое шоссе! — говорю я.

— Ну уж, нашли тоже! Вот, говорят, китайская стена. Вот что я называю шириной: двенадцать колесниц разъехаться не могут!

Я не отвечаю, и мы обе едем молча.

Туман начал алеть и таять. Робко, стыдливо, словно сдернувшие чадру восточные красавицы, проглянули силуэты гор. Показались местами розово-серебристые вершины.

— Сегодня ночью в горах снег выпал,— говорит ямщик.

Солнце поднимается выше, посылает лучи горячее... Вот они, горы! И не такие, как вчера: они стали легкие, воздушные, чистые в девственно бе-

лых покрывалах, словно надетых для утренней молитвы.

— Какой обман зрения,— рассуждает моя спутница.— Смотришь на гору — кажется, совсем близко, а подъедешь, видишь, что и в самом деле близко...

— Ужасно, ужасно,— машинально отвечаю я.

Посреди дороги нас ждет сюрприз. Наш сердитый спутник — Терек — внезапно поворачивает и, глухо ворча, уходит от нас направо в ущелье. А через несколько времени нас встречает другая речка, тоже бурная, но уже и как-то веселее.

— Это ихняя Рагва-река,— поясняет ямщик с непередаваемым презрением.

Мы поднимаемся все выше и выше. Скоро достигнем самого высокого пункта Военно-Грузинской дороги — Крестового перевала. Здесь часто бывают обвалы. На самых опасных местах устроены туннели, предохраняющие от падающих камней, а зимой — от сползающих сверху снеговых глыб.

Вот дорога внезапно делается вдвое уже. Слева над пропастью вбиты сваи и положены доски. Сверху навис огромный расколовшийся камень. Сбоку у дороги прибит флаг.

Ямщик остановил лошадей и стал благодушествовать, сгоняя мух с лошадиных хвостов.

— Что это за место, голубчик? — спрашиваю я.— Зачем здесь доска?

— А тут недавно скала сверху упала,— отвечает он, ласково улыбаясь.— Да вон полшаши отколотило. Все туда вниз полетело.

Мы начинаем чувствовать себя скверно.

— А флаг здесь зачем?

— А просто для обозначения опасного места. Чтоб, значит, проезжали скорей, что ли.

— Так зачем же ты остановился, несчастный!

— А мы и всегда так. Чтоб лошади передохнули. Потому здесь, значит, ровно полдороги будет.

Моя спутница произносит скороговоркой несколько удивительных слов, заключающих в себе одновременно и краткое определение умственных способностей нашего возницы, и какие-то загадочные обещания по его адресу.

Он как будто только этого и ждал и, с большим интересом выслушав ее, дернул вожжи и погнал лошадей.

IV

Вот и Крестовый перевал. Справа — отвесная скала, слева — пропасть. На дне ее весело серебрится и вьется измятою лентой «ихняя» Арагва. Мы поднялись так высоко, что до нас даже не долетает шум. Кое-где по склонам мелькают маленькие селения. Видно, как ползают по горам крошки люди, собирая траву для своих стад.

Немножко ниже нас, над обрывом проносится стая птиц и, смешно поджав крылья, ныряет и кувыркается в воздухе. Им просторно, свободно, они высоко над землей. Мы еще выше их, но на земле. Нам тесно, и мы лепимся около отвесной стены.

— Обидно за человека,— соглашается со мною моя спутница.— И несправедливо со стороны природы отдавать птице такой преферанс.

Скоро приедем во Млеты. Начинают попадаться навстречу местные жители в телегах самой невероятной конструкции: две плетеные стенки, очень высокие, поставлены на колеса параллельно друг другу. Пролезть между этими стенками может только очень отощавший человек, и то боком. Влезают туда, вероятно, подставляя лестницы, а для того, чтобы попасть на землю, приходится, должно быть, переворачивать затейливый экипаж вверх колесами и вытряхивать пассажиров.

— Ямщик! — говорит Софья Ивановна,— как ты те горы называл, что около Владикавказа?

— Данаурские, а потом Дарьяльские, а это вон Крестовый перевал.

— Гм!.. А которые считаются самые красивые?

Ямщик на минуту задумывается.

— Нет, тут лучше. Там и лошадей попоить негде.

— Да он ровно ничего не понимает! — удивляется, обращаясь ко мне, Софья Ивановна.

— Вы уж слишком к нему требовательны,— заступаюсь я.— Вы хотите, чтобы он был и географом, и историком, и эстетом, и даже светским causeur'ом [1].

За Крестовым перевалом мы снова спускаемся. Вся придорожная сторона горы испещрена увековеченными на ней фамилиями туристов. Многие надписи сделаны положительно с опасностью для жизни. Вон над

---

[1] Собеседником *(фр.)*.

самой пропастью выведено аршинными буквами «Папо», затем два добросовестно выписанных переносных знака и внизу «фъ». Затем мелькают разные «Манечки», «Шурочки», «Пети», реклама велосипедной фирмы и вдруг умиливший мою душу корявый, с лихими выкрутасами «Пыфнутьев с симейством».

Милый, милый Пыфнутьев! Ты хороший семьянин и, верно, добрый человек. Как жаль, что твое сердце тоже грызет маленькая мышка честолюбия. И в угоду ей пришлось тебе лезть на скалу и, пока «симейство» твое пищало в коляске от восторга и страха, размалевывать мелом выкрутасы ради бессмертия имени своего...

А теперь, где-нибудь в далеком Кологриве, распивая чаи с мармеладами, вспоминаешь о Военно-Грузинской дороге и пугаешь величием подвига своего какого-нибудь доверчивого бакалейщика.

«Да, мила голова, не легко было писать-то. Скалы-то треща-ат... Облака-то вокруг головы фрр... фрр... прямо в уши лезут... Как жив остался — не знаю!..»

В Млетах мы едим «что-нибудь, шашлык» и выходим погулять, пока отдыхают лошади. Млеты — селение большое, на самом берегу Арагвы. К воде, впрочем, подойти очень трудно; нужно пройти большое пространство, заваленное острыми камнями, крупными и мелкими, которые вертятся под ногами, ломают каблуки и заставляют приплясывать от боли, врезываясь в башмаки.

Черномазые, грязные ребятишки сидят между каменьями и пекут свои круглые, как картошки, головенки на солнце. Я пробую завести сношения с туземцами и подхожу к тоненькой девочке с кудрями, напоминающими шерсть коричневой козы.

— Скажи, милая, как лучше пройти к реке?

Девочка молчит.

— К Арагве... к Арагве — понимаешь? — делаю я выразительные жесты. Девочка все молчит и смотрит на меня с тихим ужасом, как святой Севастьян на своих палачей...

Тогда я стараюсь припомнить грузинские слова, но так как ни одного никогда не слышала, то старания мои ни к чему не ведут. Вспомнила только две грузинские фамилии.

— Девочка, девочка, Бибилошвили, Амарели, Арагва?

Слова подействовали. Девочка вскрикнула: «Кахейтис!» — и, подобрав рубашонку, стремительно пустилась бежать.

«Не беда,— думаю я.— Все-таки теперь одним словом больше знаю».

— Эй, мальчик! Бибилошвили, Амарели, Кахейтис, Арагва.

Я старалась говорить так, чтобы мои слова звучали, как будто я спрашиваю: «Как ближе пройти к Арагве?»

Но мальчишка не понял меня и убежал прочь, а другой, поменьше, закрыл лицо руками и горько заплакал.

— Mais finissez! [1] — урезонила меня Софья Ивановна.— Может быть, скверная девчонка просто выбранилась, убегая, а вы повторяете это слово и наживаете себе врагов среди туземцев.

Когда мы вернулись на станцию, там уже сидели новые туристы. Папаша и мамаша мирно кушали цыпленка, а дочка занималась легким горным флиртом с молодым человеком в узкой и высокой мерлушковой шапке.

— Я перс, персиян,— говорил флиртер ломаным языком.— Мы народ не такой, как вы народ. У нас справа налево пишут.

— Скажите! — любезно удивлялась барышня.— А читают как? Тоже справа или наоборот?..

* * *

Выезжаем мы из Млет уже под вечер. На вопрос, где будем ночевать, ямщик говорит какое-то слово, среднее между «пенюар» и «будуар». Мы переспросили два раза и, ничего не поняв, успокоились...

Ночь надвигалась холодная, туманная. Луны еще не было видно, но далекие вершины гор, чистые, обнаженные, уже купались в ее голубом сиянии. При взгляде на них делалось как-то еще холоднее. Мы закутались в пледы, попросили ямщика поднять верх и, закрыв глаза, мечтали вслух о теплой комнате и чашке горячего чаю.

По приезде на станцию нас постигло разочарование. Отдельных комнат не было, общие были заняты

---

[1] Перестаньте! *(фр.)*

пассажирами, прибывшими раньше нас. К нашим услугам был только узенький кожаный диван, набитый, судя по эластичности, камнями Арагвы, причем, вероятно, тщательно выбирались наиболее острые. К стене — скат, посредине — провал, из недр которого прямо на зрителя вылезает большой гвоздь острием вверх.

Таково было ложе, уготованное для нас, ложе, которому бы позавидовал сам Прокруст.

— Нет, воля ваша, а я прямо скажу ямщику, что в его «будуаре» ночевать не желаю. Доедем до Казбека, здесь недалеко,— решила моя спутница.

Но переговоры с ямщиком не привели ни к чему. Лошади устали, и дальше ехать нельзя.

Мы снова вернулись в общую дамскую и долго ходили, приплясывая, чтобы отогреть ноги. Софья Ивановна, размахивая зонтиком, как индеец томагавком, исполнила даже с неожиданной грацией какой-то замысловатый танец. Затем мы уселись рядом на Прокрустово ложе и стали с завистью смотреть в сторону широкой кровати, откуда из-под груды одеял свешивалась чудовищных размеров нога. Мне даже показалось, что нога эта отрублена и похищена с конной статуи Петра Великого. К довершению сходства на ней была бронзовая туфля...

В дверь тихо постучали.

Я вышла в коридор и увидела мужика с всклокоченной бородой. Он прятался за дверь и неистово ворочал глазами.

— Что тебе, голубчик?..

Сдавленный хриплый шепот, шепот шекспировского заговорщика-убийцы отвечал мне.

— Ямщик ваш сказывал... ехать хотите. Я довезу... Единым духом, и комар носа не подточит.

— Да ты кто же такой? — тревожно недоумеваю я.

Он наклонился ко мне так близко, что нос его, напоминающий прошлогоднюю, уже начавшую прорастать картофелину, приходится под полями моей шляпы:

— Ямщик я... Только молчок! Чтоб без ябеды... Четверка коней. Вещи потихоньку вынесу, и комар носа не подточит.

Я вернулась в комнату, и мы несколько минут совещались с Софьей Ивановной.

— Уж очень он какой-то... странный,— беспокоилась я.

— Ах, пустяки! Человек как человек. Просто немножко нервный.

* * *

Софье Ивановне очень хотелось ехать, и мы решили вверить свою судьбу нервному ямщику.

Он забрал наши вещи и повел нас какими-то окольными путями. Вел долго через какие-то заборы и канавы и все время нервничал. Поминутно оборачивался на нас, останавливался, прислушивался, строго цыкнул на мою спутницу, когда та, взглянув на Терек, воскликнула «феерично!», и молча погрозил мне пальцем, когда я споткнулась.

Наконец мы вышли на дорогу, где действительно ожидала нас коляска, запряженная четверкой.

— Единым духом!— хрипел ямщик, влезая на козлы.— Завтра утром ваш-то приедет за вами...

Мы тронулись. Лошади бежали лениво, медленно. Холод был сырой и пронизывающий. Временами я слышала, как моя соседка стучит зубами, словно собака, которая зевнула. Я закуталась, насколько могла лучше, и пробовала заснуть, но ямщик не давал покоя. Ежеминутно просовывалась его голова под верх нашей коляски. Я видела круглые сверкающие белки, слышала прерывистое дыхание и сдавленный шепот.

— На отчаянность иду! Ежели кто теперь, да с этаким делом...

— Господи!— вся дрожит Софья Ивановна.— Да ведь он и правда сумасшедший. Что он говорит — ничего не понимаю!

— Да как же он тогда может быть ямщиком? Его бы не держали на месте, если бы он был сумасшедший.

— А кто вам поручится, что он ямщик?— чуть не плачет она.— Купил себе лошадей и коляску; ведь между ними тоже богатые бывают, между сумасшедшими-то... Купил и возит по полям людей... Мании разные бывают...

— Так как же нам быть?

— По-моему, выпрыгнем потихоньку и спрячемся в горах... Может быть, кто-нибудь подберет нас утром... Все лучше, чем быть под властью сумасшедшего.

— Тпрру!
— Ай, что такое? Зачем он остановил лошадей?
Мы действительно стоим на месте.
Перед самым лицом моим ворочаются страшные белки.
— Вылезайте скорее! Тутотка за откосом постойте... О, Господи!
— Голубчик! — вопит Софья Ивановна.— Боже мой! У него острый припадок!.. Голубчик, не убивай нас... Мы... мы тоже сумасшедшие... Я понимаю, что тебе нездоровится.. Ах! mourir si jeune!..[1] Ты поправишься... специалисты... доктора — психопаты...
— Скорей выходите! Ох, отчаянность моя! — убеждает нас трагический хрип.— За поворотом хозяйские лошади видны... Погуляйте по дорожке-то, а я быдто порожнем... быдто порожнем...
Делать ничего не оставалось. Мы вылезли и спрятались за камень. Через несколько минут мимо проехал экипаж. Затем наш ямщик разыскал нас и пригласил ехать дальше.
— Все равно, здесь ли убьешь, в коляске ли...— пролепетала Софья Ивановна, и мы покорно последовали за нашим палачом.
Отчаяние придает храбрости.
— Голубчик,— рискнула я,— чего ты все так пугаешься! Ты больной?
— Не-ет... Штрафу боюсь, барыня. Потому я обратный ямщик... У нас обратный закон порожнем ехать...
— Ах, подлый! — радостно возмущается Софья Ивановна.— Да как же ты смеешь, не предупредив, делать нас соучастницами твоих проказ? А?
— Единым духом! — оправдывается ямщик, и мы едем немного успокоенные...

* * *

Под моей головой локоть Софьи Ивановны. Это ничего. Немножко больно, но я утешаюсь мыслью, что ее локтю от моей головы еще больнее.
Так сладко дремлется.
Снится, что мы уже приехали и ложимся спать в чистые мягкие постели, где так тепло и спокойно и, главное,— совсем не трясет.

[1] Умереть молодым! *(фр.)*

Тут вдруг я начинаю чувствовать, что и правда совершенно не трясет.

— Qu'est ce que c'est? [1] — пищит голос Софьи Ивановны.— Ведь мы опять стоим?

Я очнулась. Мы действительно стояли среди дороги. Вдали мелькал огонек — верно, станция близко. Ямщик вертелся около лошадей и поправлял какие-то ремешки.

— Что у тебя там оборвалось? — спрашиваю я.— Уж вези скорее, и так три часа шестнадцать верст едем.

Ямщик подошел и сострадательно покачал головой.

— Нет уж, барыня, дальше мне вас везти несподручно. Вишь на станции огонь... Стало, не спят, стало, увидят, стало, меня по шапке...

— Так не ночевать же нам здесь!

— Нет — зачем ночевать! Кто ж говорит, что ночевать. Это нехорошо — на дороге ночевать. Вы себе пойдите на станцию, тут и полверсты не будет, я потом потихоньку подъеду, порожнем, значит.

— Как — порожнем? — возмущаюсь я.— А вещи-то?

— А вещи уж вам с собою прихватить надо, потому мне с вещами нельзя. Потому у нас обратный закон порожнем ехать.

— Да где же нам дотащить столько вещей! Ты с ума сошел!

Мы чуть не плачем. Ямщик с самым добродушным видом выгружает вещи на шоссе.

— Э, плевое дело! Разве это тяжелые вещи! Два чемоданишка, да корзинишка, да два одеялишка, да две подушонки, да этот свертышек, да картоночка... Вот вчерась обратным законом господина вез, так тот два сундука большущих целую версту по шаше волок. Веревочкой за ушко зацепил...

— Что же ты нам раньше не сказал! Разве бы мы на такую муку пошли,— стонала Софья Ивановна, подбирая подушки и навьючивая на себя одеяло.

— Да кто ж их знал, что они так поздно огни не загасят. Никогда не бывало... Всегда свезу, и комар носа не подточит...

Увы! Это был, вероятно, единственный в мире случай, когда комар подточил свой нос! До сих пор, по

---

[1] Что такое? *(фр.)*

крайней мере, никому не случилось видеть, чтоб он его подтачивал. Никогда! А тут вот взял да и подточил!

Мы долго навьючивали на себя тяжести, от которых с негодованием отказался бы самый завалящий верблюд, и тронулись в путь.

У меня на голове была подушка, на плечах одеяло, в правой руке чемодан, под мышкой зонтик, в зубах картонка, в левой руке сверток, из которого все время что-то сыпалось. Но этим последним обстоятельством я не огорчалась нимало; я делала вид, что ничего не замечаю, и втайне злорадствовала: сверток принадлежал Софье Ивановне и был бесчестно подсунут ею мне сверх комплекта.

Спутница моя, навьюченная и задыхавшаяся, едва брела за мною.

— J'etouffe [1]. Милочка, что это, как будто моя зубная щеточка лежит на дороге?—тревожно говорит она.

— Пустяки, какая там щеточка! Просто камень! Здесь попадаются камни очень странной формы.

— Ах, милочка, j'etouffe!.. А вот как будто моя мыльница!.. И даже блестит...

— Ах, да полно! Говорят вам, что здесь странные камни...—и я зловеще потрясаю ее значительно облегченным свертком...

— Где же ваши лошади?—подозрительно осматривает нас на станции отворивший двери сторож.

— J'etouffe,—отвечает Софья Ивановна и горько плачет.

Я молча махнула рукой.

V

Мы уже далеко отъехали от станции, но в окно вагона еще видны были розовато-перламутровые вершины гор.

Софья Ивановна расстелила на коленях бумажку, чтоб не запачкать платья, и, всхлипывая от удовольствия, поедала купленные во Владикавказе персики.

Чтобы подчеркнуть животную низменность ее поведения, я встала в позу и начала приветствовать горы, размахивая в окошко носовым платком.

---

[1] Я задыхаюсь *(фр.)*.

— Милые горы! — восклицала я, косясь на Софью Ивановну. — Прощайте! Я люблю вас и вернусь к вам, но уже одна! Люблю вас за то, что вы не позволяете человеку залезать слишком высоко с его больницами и ресторанами, что всегда есть у вас наготове хороший увесистый камушек, которым вы можете угостить по темечку слишком далеко забравшегося нахала. Милые горы! Будьте всегда такими и, главное, прошу вас, никогда не ходите на зов Магометов, потому что...

Но мне так и не удалось сказать моей главной философской мысли, из-за которой я, собственно говоря, и в позу-то встала! Пришел кондуктор и потребовал наши билеты.

Моего билета не оказалось ни в портмоне, ни под скамейкой.

Я до сих пор вполне уверена, что Софья Ивановна съела его вместе с персиками, а она кричала, что я сама его выкинула, «когда вытряхала платок в окошко».

«Вытряхала платок»!

Как глупо путешествовать с людьми, которые вас не понимают и не ценят!

«ПРЕДПРАЗДНИЧНОЕ»

I

Предрождественское настроение определеннее всего выражается в оживлении Гостиного двора.

В окнах — заманчивая выставка материй, кружев, лент, и всюду коротенькие, но красноречивые объявления:

«Специально для подарков».

Если вы войдете в магазин и спросите какую-нибудь материю, приказчик предупредительно осведомится:

— Для вас прикажете или для подарков?

И, узнав, что для подарков, будет предлагать совсем особого качества товар.

Дело не так просто, как вы, может быть, думаете.

Товар этот изготовлен на самой тонкой психологии.

За выработкой материала наблюдают специалисты, знатоки души человеческой.

Для подарка — значит, нужно, чтобы было красиво и имело вид дорогого, потому что нужно вызвать в «одаряемом» радость и благодарность.

Для подарка — значит, не для себя, значит, платить хочется подешевле, и забота о доброкачественности покупаемого отсутствует вполне.

Итак, основой для приготовления рождественских подарков берется основа человеческих отношений: поменьше заплатить — побольше получить.

«Куплю для бонны этой дряни в крапинках,— думает барыня, ощупывая материю.— С виду оно будто атлас. Все равно не разберет; я скажу, что такой шелк... Она рада будет, поможет Манечке платьице сшить».

«Для тетеньки куплю этой полосатой,— думает другая.— Господи! Прямо по нитке лезет. Ну, да ничего, она все равно после праздников уедет, при мне шить не станет».

— Вам для прислуги? — спрашивает приказчик.

И, получив утвердительный ответ, справляется о подробностях:

— Они кухарка? Для кухарок предпочтительнее всего коричневое бордо с желтой горошиной. Клетка для кухарки тоже хороша. Особливо с красным. Потому цвет лица у кухарок пылкий и требует оживления в кофтах.

— Для нянюшки? Для нянюшки солидное с мелким цветком, кардинал-эстрагон, лиловое с мильфлером...

— Для горнишен веселенькое под шелк, с ажурчиком под брокар...

— Для гувернянек-с вот это, под мужской жилет, под рытый бархат, под ватерлоо...

— А вот для вас лично могу рекомендовать последние новости: аэроплан в полосочку, пропеллер с начесом, решительный с ворсом, вуазен в клетку, фарман с мелкими дырочками, международная-двуличная, хорошо для стирки... Мальчик! Подай стул барыне — оне на ногах качаются!

Кроме материй есть еще специальные вещицы для подарков.

Странные вещицы!

Продаются они обыкновенно в парфюмерных или писчебумажных магазинах.

Форма их самая разнообразная.

Материал тоже.

Бывают они и из фарфора, и из металла, и из всяких шелковых тряпочек, но что они изображают и для чего предназначаются — никто не знает...

— Скажите, пожалуйста, что это за штучка? — робко спрашиваете вы у продавщицы.

— Это? — недоумевает она.— Это...

И она произносит несколько свистящих и шипящих.

— А-а! — притворяетесь вы, что поняли.— Странно, что я сразу не узнал. А... собственно говоря, для чего она?

Новое недоумение и ответ.

— Для подарков.

— Ах да! А сколько стоит?

— Четыре с полтиной. А поменьше и без бронзы — три.

Вас начинает притягивать к загадочной вещице какое-то странное тупое любопытство. Вы покупаете ее и много дней придумываете, кому подарить. Наконец жертва выбрана.

— Прелестная вещица,— мечтательно благодарит она вас.— Это, верно, для перьев.

— То есть... гм... Ну да, конечно, для перьев.

— Странно... А я думал, что это для снимания сапог,— вставляет свое слово старый дядюшка-провинциал.

— Нет, это скорее всего для штопанья чулок,— говорит тетка.— Видишь, оно вроде гриба...

— А мне кажется, его нужно вешать на лампу...

— Нет, это подчашник... Чего вы смеетесь? Ведь бывают же подстаканники, так почему же...

Барышни шепчут что-то друг другу на ухо и, густо покраснев, смеются до слез.

— Неплавда! — говорит толстый маленький мальчик.— Я знаю, что это: это наушник для зайца...

Потом начинают говорить о предполагаемом пикнике, на который вас не приглашают...

II

Вопрос о том, как украсить елку и что на нее повесить, решен давно, может быть, целое столетие тому назад.

Каждый знает, что именно нужно покупать.

На самую верхушку — звезду. Вешается она специально для дам-писательниц, чтобы дать им сюжет о бедном мальчике, которому бабушка обещала

показать звездочку, но надула. Мальчик умрет, а бабушка исправится и перестанет говорить надвое.

На нижние ветки подвешивается всякая дрянь — там никому, кроме самых маленьких детей, ничего не видно.

А самые маленькие дети, если и поймут, что под елкой висит дрянь, все равно рассказать об этом не сумеют, потому что их не учили гадким словам.

Чуть-чуть повыше вешаются маленькие каменные яблоки, рекомендованные торговцами специально для елок.

— Действительно,— говорят они,— мала штучка, а вот поди-ка раскуси!

Самый лучший, отборный ряд украшений вешается не ниже двухаршинного расстояния от пола. Здесь маленькие дети не достанут, а большим все хорошо видно.

Здесь помещаются бонбоньерки подороже и разные вещицы, дающие хозяевам возможность показать свое остроумие.

— Этот башмачок для Александра Алексеевича,— решает хозяйка.— Я ему подам его и скажу: «Вот под этим предметом желаю вам находиться».

— А эту скрипочку Осипу Сергеевичу: «Пусть все под нее пляшут».

— Что-о? Ничего не понимаю,— удивляется муж.

— Очень просто: желаю, чтобы все плясали под его дудку.

— Так ведь это же не дудка, а скрипка...

— Как глупо! Не все ли равно. Лишь бы был инструмент...

— А эта свинья с золотом для кого?

— Это для папаши...

— Гм... А он не обидится?

— Ты с ума сошел! Это самая счастливая эмблема...

Повыше вешаются орехи, бусы и вещи, которые жалко дарить чужим детям.

— Хорошо, милочка, этот зайчик достанется тебе. Ты напомни, когда будешь уезжать. А теперь, видишь, мне не достать...

* * *

Таков порядок, освященный веками...

И всякая хозяйка дома, получившая приличное воспитание (неприличное, впрочем, кажется, никому и не дается), справится с этим делом без особого труда.

Гораздо труднее решить вопрос о том, что класть под елку, что выбирать для подарков.

Прежде всего обращается внимание на так называемые «практичные подарки».

Их иногда даже выписывают из Варшавы.

«Вот, Наденька,— говорит муж,— нужно раздобыть для Мишеля этот приборчик. Называется: «Каждый сам себе позолотчик». Прилагаются разные кисточки, лаки, золотой порошок. Ему понравится. Он ведь любит пачкать все, что под руку попадается.

— А для Аркадия Веньяминовича вот это. Слушай: «Каждый сам себе сифон». Видишь, вот эту трубочку воткнуть в пробку...

— А Сереже можно просто подарить твою пепельницу с круглого стола. Скажем, что это новость, что это «Каждый сам себе пепельница».

Затем подбираются подарки ехидно-мстительного характера.

Для старой девы — амур с розгой, для домовладельца — заводной трамвайчик, для вегетарианца — картонная котлетка.

Выбираются вещи все самые обидные, и на совет приглашается старая гувернантка только потому, что у нее скверный характер.

* * *

Наконец доходит очередь и до детей.

Маленьким мальчикам по настоянию приказчиков приобретаются деревянные ружья, из которых они на другой же день запаливают пробкой в лоб своему грудному братцу, и разные рожки и трубы, в которые им запретят трубить.

Для детей самого беззащитного возраста (от года до двух) рекомендуются игрушки, которых нельзя брать в руку потому, что они выкрашены ядовитой краской, и конфетки, которых нельзя есть потому, что они изготовлены на салициле, сахарине, глицерине,

стрихнине, трихине и прочих растительных и животных ядах.

Для ребят дошкольного возраста лучше всего покупать книжки с картинками.

Между ними бывают такие (я говорю о книжках с картинками), которые могли бы не без пользы прочесть и люди солидного возраста.

Я помню, мне рекомендовал приказчик книжного магазина для девочки семи лет: «Сластолюбивая Соня».

Глубоко нравственная история начиналась следующими словами:

«Маленькая Соня была очень сластолюбива. Однажды она съела все вишневое варенье, которое с трудом и заботами сварила для своих друзей ее добрая мать».

В конце рассказа маленькая Соня строго наказана за свое сластолюбие, и дети-читатели убеждаются раз навсегда, что сластолюбивыми быть невыгодно.

В большом ходу также переводные немецкие книжки. На русских детей они действуют несколько двусмысленно.

Есть, например, рассказ про маленького Фрица, сделавшего тысячи добрых дел, которые были бы не под силу самому всесовершенному Будде. В конце рассказа маленький Фриц идет по улице, и все прохожие, смотря на него, говорят: «Вот идет наш добрый маленький Фриц». Только и всего!

Прочтя этот рассказ, русские дети убеждаются, что добрые дела вознаграждаются очень плохо, и стараются впредь сдерживать свои сердечные порывы.

Есть еще очень поучительный рассказ про маленького Генриха, который вел себя очень скверно и был в наказание оставлен без обеда. И «в то время как сестры и братья его ели вкусные говяжьи соусы, он принужден был довольствоваться печеным яблоком и чашкой шоколада!!»

Книга эта производит на русских детей самое развращающее действие. Я знаю двоих, которые прямо взбесились, добиваясь счастья есть печеные яблоки и пить шоколад вместо скверных говяжьих соусов.

Безнравственная книга!

Мы-то, взрослые, давно знаем, что добродетель питается говяжьими соусами в то время, как разные безобразники лакомятся шоколадом, но зачем же открывать глаза детям? Задача педагогики — как можно

дольше сохранять в детях их невинную бессмысленность, чтобы из них могли выработаться сознательные люди только к тридцати годам. Иначе, подумайте, что бы было! Кого бы мы тогда эксплуатировали? На ком бы выезжали?

Нет, господа! Берегитесь вредных книжек, лишающих наших детей их очаровательной беззащитности!

ДАЧНЫЙ РАЗЪЕЗД

Первыми, конечно, приезжают к поезду дамы с детьми. Вторыми — дамы без детей, одинокие. Третий транспорт — дамы с мужьями. Четвертый, и последний,— мужья одни.

Детные дамы забираются на вокзал так рано, что носильщик долго не может взять в толк, на какой именно поезд они хотят попасть: на утренний, дневной или вечерний. Сплошь и рядом оказывается, что хотят на завтрашний вечерний.

Одинокие дамы долго томятся, пишут открытки и ходят на телеграф. Железнодорожные воры пользуются этим моментом, чтобы облегчить дамский багаж на пару-другую чемоданов и картонок.

Дамы, приезжающие с мужьями, прямо и спешно направляются в буфет, точно для того и выбрались из дому, чтобы поесть, а путешествие — просто приличный предлог.

Едят долго, вдумчиво. Пьют и снова едят, пока не подойдет носильщик и не напомнит, что пора занимать места.

После третьего звонка, в жуткий последний момент, протекающий между свистком кондуктора и ответным гудением локомотива, на платформу вбегает врассыпную испуганная толпа мужчин.

Они бегут, странно подгибая колени, точно боятся растрясти голову. Нигде, кроме вокзала после третьего звонка, не увидите вы подобной походки, вернее — побежки.

Глаза выпученные, рот рыбий, задыхающийся.

Тут же среди них бегут и носильщики с чемоданами.

Чемоданы швыряются прямо в окна, пассажиров втискивают в последний вагон. Носильщики бегут рядом с уходящим поездом в ожидании вознаграждения.

Эти последние пассажиры — одинокие мужья, находящие особым шиком приезжать к третьему звонку.

— Это, мать моя, называется: по-европейски.

Порядочный мужчина, путешествующий один, никогда не позволит себе приехать вовремя на вокзал. Это у них считается страшно неприлично. Не по-европейски.

— О, Гос-с-с-поди! — вопит европеец, несясь галопом по дебаркадеру.— Ой, сердце лопнет!

И долго потом сидит, отдуваясь, и с ужасом вспоминает, как бежал и что по дороге растерял.

Думаю, что теперь было бы вполне своевременно дать несколько советов провожающим и уезжающим, которых провожают.

Конечно, самое лучшее для провожающего — это опоздать к отходу поезда.

Можно даже для удобства переждать где-нибудь за колонной, а как только поезд тронется, выбежать и с жестами безграничного отчаяния махать издали букетом и коробкой конфет.

Конфеты, из экономии, можно даже сделать фальшивыми (как Раскольников делал фальшивый заклад). Просто завернуть в бумагу кирпич или пустую коробку, обвязать крест-накрест ленточкой — и готово.

Цветы можно взять напрокат. Скажите, что вы тенор и сегодня ваш бенефис.

Если же не удастся раздобыть, то, делать нечего,— купите. Зато в тот же вечер можете поднести их той, которая не уехала. Недаром говорят французы:

— Les absents ont toujours tort[1].

Главное — побольше отчаяния. Прижимайте руку к сердцу, трясите вашим букетом. Только не бегите к вагону,— а то еще, чего доброго, успеете добежать.

Делайте вид, что вы окончательно растерялись от своей неудачи.

Если же вы слишком добросовестный человек или просто плохой актер и пришли на вокзал вовремя с истинной коробкой конфет, то помните, что провожающим отпущено от Господа Бога всего три фразы:

1) Напишите, хорошо ли доехали.

2) Просто «пишите».

---

[1] Отсутствующие всегда не правы *(фр.)*.

3) Кланяйтесь вашим (или нашим, в зависимости от того, куда провожаемый едет).

Многие неосмотрительные люди выпаливают все три фразы зараз, и потом им уж совершенно ничего не остается делать. Они томятся, смотрят на часы, что в высшей степени невежливо, шлепают ладонью по вагону, что довольно глупо, и оживляются при третьем звонке до неприличия.

Нужно держать себя корректно. К чему расточать все свои сокровища сразу, когда можно пользоваться ими осмотрительно, на радость себе и другим.

Так, сразу после второго звонка вы можете позволить себе сказать первую фразу:

— Напишите, хорошо ли доехали!

После третьего звонка:

— Кланяйтесь вашим-нашим!

И только когда поезд тронется, вы должны сделать вид, что спохватились, и, кинувшись вслед за вагоном, завопить с идиотским видом:

— Пишите! Пишите! Пишите!

Следуя этим указаниям, вы всегда будете чувствовать себя джентльменом, и вас будут считать очаровательным, если вы даже, пользуясь суматохой, сделаете вид, что забыли вручить конфеты по назначению.

Теперь советы для провожаемых.

Забирайтесь на вокзал пораньше и засядьте в вагоне. Пусть провожающие рыскают по вокзалу и ругаются, ища вас. Это их немножечко оживит и придаст блеск их глазам.

Когда увидите в их руках цветы или коробку, немедленно протяните к ним руку, укоризненно качая головой:

— Ай-ай! Ну, к чему это! Зачем же вы беспокоились? Мне, право, так совестно.

Если же провожающие разыщут вас слишком рано и надоедят своими напряженными лицами, скажите, что вам нужно на телеграф, а кондуктора попросите запереть, пока что, ваше купе.

Если среди провожающих находится человек вам исключительно неприятный, не давайте ему времени покрасоваться своей находчивостью и попросить вас писать и кланяться. Забегите вперед и, как только увидите его, начните кричать еще издали:

— А я вам буду писать с дороги и поклонюсь от вас нашим-вашим. Да и вообще буду писать.

Тут он сразу весь облетит, как одуванчик от порыва ветра, и будет стоять обиженный и глупый, на радость вам.

Если у вас есть собака, дайте ему подержать вашу собаку. Это очень сердит людей. Потому что обращаться с собакой при ее хозяйке ужасно трудно. Многие делают вид, что относятся к ней, как к вашему ребенку,— любовно и покровительственно и с тихим любованием. Это выходит особенно глупо, когда собака начинает тявкать.

Если у вас собаки нет, то пошлите ненавистного после третьего звонка купить вам книжку на дорогу. Он будет бежать за поездом, как заяц, а вы в окошко укоризненно качайте головой, как будто он же еще и виноват.

В самый последний момент, когда вы уже немножко отъехали и провожающие с самодовольными и удовлетворенными лицами начали отставать от вагона, высуньтесь в окно и, выдумав какое-нибудь имя, крикните:

— А такой-то (лучше имя совершенно никому не знакомое) поехал меня провожать в Гатчину.

Это выходит очень эффектно. И весь вагон может полюбоваться на злобное недоумение ваших друзей.

А вы улыбайтесь и бросайте им цветочки на память. И кричите прямо в их ошалелые глаза:

— Пишите! Пишите! Пишите!

На этом ритуал кончается.

«TANGLEFOOT»[1]

Когда после летнего отдыха возвращаешься в город, всегда испытываешь смутную, дразнящую тревогу: вот мы столько времени проболтались даром, а ведь жизнь не ждет!

Пока мы купались и ели простоквашу, здесь небось работа кипела.

Сколько новых мыслей, трудов, событий, открытий, радостей и торжества духа!

Стыдно делается за себя, и, робко озираясь, начинаешь вводить себя в бурный поток культурной жизни. Торопишься повидать старых друзей, расспросить, разузнать.

---

[1] Липкая лента от мух *(англ.)*.

* * *

Мы сидим в столовой!

На столе три клейких листа «Tanglefoot», два таких же листа на подоконнике, один на самоварном столике, один пришпилен булавкой к стене.

Всюду извиваются и жужжат мухи.

Мы беседуем с притворным интересом. Следим за мухами — с настоящим.

— Так вы, значит, все лето оставались в городе?

— Что? В городе?.. Да, все лето... Это что, а вот посмотрели бы вы, сколько у нас в кухне! Прямо взглянуть страшно!

— В кухне?

— Ну да, мух.

— У вас, кажется, много нового. В деревне, знаете, как-то мало читаешь...

— Да какие уж у нас новости? Вот мухи одолели.

— Читали мы, что у вас тут какие-то дома провалились.

— Что? Да, говорят... Смотрите: села, потом встряхнулась и улетела. Верно, скверный клей. Высох совсем. Нужно бы уж новую бумажку положить, да, знаете, интересно смотреть, когда побольше мух. Скучно над пустой бумажкой сидеть.

— А мы в газетах читали, будто вы новую пьесу задумали.

— Я? Пьесу? Ах да! Помню, что-то было в этом роде.

— Что же, подвигается работа?

— Опять полетела... Вон две зараз. Что?

— Работаете много?

— Как вам сказать?.. И рад бы работать, да некогда. Время как-то уходит.

— Говорят, какая-то интересная выставка скоро будет? Правда это?

— Выставка? Неужели? Следовало бы переменить лист. Им вон больше и липнуть некуда.

Мы замолкли. Большая муха, прилипнув боком к бумажке, сердито жужжала. В соседней комнате тягучий старушечий голос скрипел:

— Петька, а Петька! Не тронь муху! Зачем ножки рве-ешь? Кабы она тебя, так небо-ось...

— Бывали вы летом в театрах, в опере?

— Н-нет, знаете ли. Трудно как-то выбраться.

Жену вот брат в деревню звал с детьми, в Саратовскую губернию. Там, говорят, хорошо. Воздух чудесный, кумыс и все прочее. А может, и нет кумыса. Словом, великолепие.

— Ну, что же, ездили?

— Собственно говоря, нет. Трудно как-то. То да се. Опять-таки не знаем, когда поезда отходят.

— Так ведь можно же справиться.

— Некому у нас справляться... Времени нет. Сами видите.

— Досадно.

— Еще бы не досадно. И деньги были. Да ведь что же поделаешь? Трудно.

Он вздохнул и поник головой.

— А все-таки любопытная вещь — эти бумажки для мух. Прежде их не было; были другие, синенькие. Совсем дрянь. А отсюда уж не уйдешь. Жена сначала никак привыкнуть не могла. Все мух жалела... Вытащит, бывало, муху из клея и — ха-ха-ха — лапки ей теплой водой вымоет! Потеха! Где уж там отмыть! Иная ножки вытянет, тянется-тянется, да вдруг — бух носом в самую гущу. Ха-ха-ха! Шалишь! Не уйдешь!

— Кого видели из общих знакомых?

— Да никого, кажется. Туго съезжаются. Рано еще. Да и Бог с ними. Прибегут, настрекочут, — смотришь, и сам закрутился...

Провожая меня в переднюю, он с деловым видом переложил лист «Tanglefoot'a» со стола на подоконник.

— Темнеет, — объяснил он. — Теперь они больше на окно садятся. А вот как лампу зажгут, тогда можно и на стол перенести.

А в соседней комнате голос скрипел:

— Петька, а Петька! Опять ты ей крылья рвешь! Зачем мучаешь! Кабы она тебя, так небо-ось!...

РЕВНОСТЬ

Почти каждый день найдете вы в газетах известие о том, что кто-нибудь совершил убийство из ревности. И до такой степени стало это обычным, что даже не дочитываешь до конца, — все равно знаешь наперед, что из ревности.

Да и не одно убийство! Самые разнообразные преступления и проступки объясняются ревностью.

Чтобы бороться с этим ужасным злом, французы

выстроили даже специальную лечебницу для ревнивых и пользуют их с большим успехом.

Чувствуется, что не сегодня завтра найдут микроб ревности, и тогда дело будет поставлено вполне на научных основаниях.

Да и пора.

Ревность в человечестве растет и ширится и захватывает, казалось бы, совсем неподведомственные ей учреждения.

Как вам, например, понравится такая история:

«Крестьянин Никодим Д., проживающий на Можайской улице, пришел к своей знакомой мещанке Анисье В. и стал требовать от нее денег. Когда же Анисья денег дать отказалась, крестьянин Д. из ревности перерезал ей горло».

Недаром писал Соломон: «Люта, как преисподняя, ревность!»

«Мещанин К. убил лавочника и ограбил выручку. Преступление свое объясняет ревностью».

Недавно на Николаевском вокзале арестовали известного железнодорожного вора. Пойманный как раз в ту минуту, когда тащил бумажник из кармана зазевавшегося пассажира, вор объяснил свой поступок сильной вспышкой ревности. По его словам, и все предыдущие кражи он совершал под влиянием этого грозного чувства.

Присяжные, сами в большинстве случаев люди ревнивые, всегда оправдывают преступления из ревности.

А сколько ужасов, никому не известных или известных очень немногим, причиняет супружеская ревность!

Одна молодая дама приехала весной к себе домой из Гостиного двора. Извозчик ей попался на белой лошади, которых многие избегают в весеннее время, чтобы не пачкать платье.

Муж встретил даму очень сурово и, окинув взглядом ее костюм, воскликнул со злым торжеством:

— И вы будете отрицать, что ездили на свидание!

Дама отрицала, объясняла, показывала сделанные ею покупки.

— Хорошо-с! — холодно ответил муж.— Но не будете ли вы любезны открыть мне имя старика, который линял на ваше платье?

И он указал на клочья белых лошадиных волос, прилипшие к коленям несчастной.

Пораженная неопровержимой уликой, бедная жен-

щина тут же согласилась на развод, взяла на себя вину и обязанность выплачивать алименты пострадавшей стороне, которая с большим трудом утешилась, женившись на собственной кухарке.

Но тяжелее и хуже всех этих убийств одна тихая семейная драма, о которой из посторонних знала только я одна, и то случайно. Потом скажу, почему я об этом знаю.

Здесь речь идет о ревности, которая втерлась в душу любящей женщины, развратила ее любящего и верного мужа и разрушила долголетний союз.

Жили эти супруги очень дружно в продолжение шести лет. Срок немалый для современного чувства.

Вот как-то приехала к жене, которую назовем для удобства Марьей Ивановной (собственно говоря, для моего удобства, потому что, рассказывая о двух женщинах, из которых каждая в отдельности «она», очень легко запутаться), ее приятельница и осталась обедать.

Подруги сидели уже за столом, когда прибежал со службы муж Марьи Ивановны. Обедали, разговаривали.

Только замечает Марья Ивановна, что муж ее что-то неестественно оживлен. Она стала приглядываться.

Когда гостья ушла, Марья Ивановна сказала мужу:

— Неужели она тебе так понравилась?

— Да, она славная,— отвечал тот.

— Что же тебе в ней так понравилось?

— Да просто я в хорошем настроении. Мне сегодня обещали прибавку и отпуск.

Дело, казалось бы,естественное, но Марья Ивановна, как тонкий психолог, поняла, что это просто мужской выверт, и продолжала:

— У нее чудные глаза! Не правда ли?

— Да? Не заметил. Нужно будет поглядеть.

— Что за руки! Нежные, ласковые! Так и хочется поцеловать! Правда? Я приглашу ее завтра. Хорошо?

— Хорошо, хорошо. Нужно будет посмотреть на нее повнимательнее, раз ты так восхищаешься.

На другой день муж внимательно смотрел на приятельницу и часто целовал ей руки, а Марья Ивановна думала: «Ага!»

Через два дня, когда он сильно опоздал к обеду, Марья Ивановна сказала, поджимая губы:

— Ты был на набережной и гулял с Лизой.

— Что-о?!

— Пожалуйста, не притворяйся. Ты прекрасно знаешь, что она в эти часы гуляет по набережной. Конечно, тебе приятно пройтись с такой красивой женщиной, на которую все оборочиваются. Это, говорят, совсем особенное чувство.

Муж Марьи Ивановны, человек молодой и по натуре довольно увлекающийся, хотя и сдержанный, немножко призадумался. Думал он дня два, а на третий, выходя со службы, нанял извозчика прямо на набережную, разыскал там приятельницу своей жены и проводил ее домой.

— Ты, конечно, уже пригласил ее с собой в театр?—спросила его Марья Ивановна, наливая остывший суп.

Муж растерянно пожал плечами,—ему и в голову не пришло!

Но через несколько дней он уже исправил свою ошибку и повел приятельницу жены в «Фарс».

На другое утро Марья Ивановна сказала ему:

— Где вы ужинали?

Он молчал. Ему стыдно было признаться, что он не догадался пригласить свою даму в ресторан.

— Я вас спрашиваю, где вы с ней вчера ужинали?—гневно настаивала Марья Ивановна и, не дождавшись ответа, ушла, хлопнув дверью.

Целую неделю она с мужем не разговаривала.

Бедняк мучился несказанно. Он уже успел за это время побывать с приятельницей в ресторане, но совершенно не знал, что ему делать дальше. Без опытных наставлений жены он был как без рук.

«Что мне делать! Что мне делать!—думал он.— Нельзя же все гулять да ужинать! Надоест!»

На седьмой день жена сказала, презрительно поджимая губы:

— Чего же вы сегодня дома? Такая чудная погода. Везите вашу пассию в Павловск! Целуйтесь с ней под каждым кустом! Вы думаете, я не знаю, куда вы с ней ездите? Ха-ха!

Муж схватил пальто и радостно выбежал на улицу. Теперь, слава Богу, он знал, что нужно делать.

Через неделю жена наклеила на окна билетики.

— Раз вы решили с осени жить вместе,—с достоинством объяснила она,—то я хочу вовремя сдать квартиру. Для меня одной она слишком велика.

Муж вздохнул и пошел к приятельнице. К его

удивлению, та выслушала его очень сухо и даже как будто не совсем поняла, чего он хочет.

— Я вижу,— сказала она,— что вы придаете слишком серьезное значение нашему маленькому флирту. Лучше расстанемся.

Он не огорчился, а только растерялся и пошел к жене за дальнейшими указаниями.

Она и слушать его не стала.

— Я все знаю! Все! У вас мало денег, и вы требуете, чтобы я обеспечила вашу новую семью!

Он так привык слушаться ее в своих любовных делишках, что бессознательно повторил:

— Требую! Требую!

Она заплакала.

— Теперь вы на меня кинетесь с кулаками!.. За то, что я... не захочу-у-у!

— Подлая!—заорал он вдруг и, вскочив с места, стал изо всей силы трясти ее за плечи.— Подлая! Обеспечь нас всех! Всех обеспечь сейчас же!

Подруга была очень удивлена, когда узнала, что неизвестное лицо положило в банк деньги на ее имя.

У Марьи Ивановны она больше не бывала. Сама Марья Ивановна от доброй встряски точно иссякла и не могла больше обдумывать делишки своего мужа.

Оба скоро успокоились и считали, что дешево отделались от урагана страсти, чуть не разбившей их семейную жизнь.

Ревность—штука лютая. Заставит ли она убить любимого человека или женить его на сопернице,—и то и другое хлопотно и неприятно.

И если у нас построят лечебницу для ревнивых, то я чистосердечно готова приветствовать благое начинание.

P. S. Я еще забыла сказать, откуда я узнала в таких подробностях о рассказанной мною трагической истории. Очень просто:

— Я ее сама выдумала.

АРАБСКИЕ СКАЗКИ

Осень—время грибное.
Весна—зубное.
Осенью ходят в лес за грибами.

Весною — к дантисту за зубами.

Почему это так — не знаю, но это верно.

То есть не знаю о зубах, о грибах-то знаю. Но почему каждую весну вы встречаете подвязанные щеки у лиц, совершенно к этому виду неподходящих: у извозчиков, у офицеров, у кафешантанных певиц, у трамвайных кондукторов, у борцов-атлетов, у беговых лошадей, у теноров и у грудных младенцев?

Не потому ли, что, как метко выразился поэт, «выставляется первая рама» и отовсюду дует?

Во всяком случае, это не такой пустяк, как кажется, и недавно я убедилась, какое сильное впечатление оставляет в человеке это зубное время и как остро переживается самое воспоминание о нем.

Зашла я как-то к добрым старым знакомым на огонек. Застала всю семью за столом, очевидно, только что позавтракали. (Употребила здесь выражение «на огонек», потому что давно поняла, что это значит просто без приглашения, и «на огонек» можно зайти и в десять часов утра, и ночью, когда все лампы погашены.)

Все были в сборе. Мать, замужняя дочь, сын с женой, дочь-девица, влюбленный студент, внучкина бонна, гимназист и дачный знакомый.

Никогда не видела я это спокойное буржуазное семейство в таком странном состоянии. Глаза у всех горели в каком-то болезненном возбуждении, лица пошли пятнами.

Я сразу поняла, что тут что-то случилось. Иначе почему бы все были в сборе, почему сын с женой, обыкновенно приезжавшие только на минутку, сидят и волнуются.

Верно, какой-нибудь семейный скандал, и я не стала расспрашивать.

Меня усадили, наскоро плеснули чаю, и все глаза устремились на хозяйского сына.

— Ну-с, я продолжаю,— сказал он.

Из-за двери выглянуло коричневое лицо с пушистой бородавкой: это старая нянька слушала тоже.

— Ну, так вот, наложил он щипцы второй раз. Болища адская! Я реву как белуга, ногами дрыгаю, а он тянет. Словом, все как следует. Наконец, понимаете, вырвал...

— После тебя я расскажу,— вдруг перебивает барышня.

— И я хотел бы... Несколько слов,— говорит влюбленный студент.

— Подождите, нельзя же всем сразу,— останавливает мать.

Сын с достоинством выждал минуту и продолжал:

— ...Вырвал, взглянул на зуб, расшаркался и говорит: «Pardon, это опять не тот!» И лезет снова в рот за третьим зубом! Нет, вы подумайте! Я говорю: «Милостивый государь! Если вы...»

— Господи помилуй! — охает нянька за дверью.— Им только дай волю...

— А мне дантист говорит: «Чего вы боитесь?» — сорвался вдруг дачный знакомый.— «Есть чего бояться! Я как раз перед вами удалил одному пациенту все сорок восемь зубов!» Но я не растерялся и говорю: «Извините, почему же так много? Это, верно, был не пациент, а корова!» Ха-ха!

— И у коров не бывает,— сунулся гимназист.— Корова млекопитающая. Теперь я расскажу. В нашем классе...

— Шш! Шш! — зашипели кругом.— Не перебивай. Твоя очередь потом.

— Он обиделся,— продолжал рассказчик,— а я теперь так думаю, что он удалил пациенту десять зубов, а пациент ему самому удалил остальные!.. Ха-ха!

— Теперь я! — закричал гимназист.— Почему же я непременно позже всех?

— Это прямо бандит зубного дела! — торжествовал дачный знакомый, довольный своим рассказом.

— А я в прошлом году спросила у дантиста, долго ли его пломба продержится,— заволновалась барышня,— а он говорит: «Лет пять, да нам ведь и не нужно, чтобы зубы нас переживали». Я говорю: «Неужели же я через пять лет умру?» Удивилась ужасно. А он надулся: «Этот вопрос не имеет прямого отношения к моей специальности».

— Им только волю дай! — раззадоривается нянька за дверью.

Входит горничная, собирает посуду, но уйти не может. Останавливается как завороженная, с подносом в руках. Краснеет и бледнеет. Видно, что и ей много есть чего порассказать, да не смеет.

— Один мой приятель вырвал себе зуб. Ужасно было больно! — рассказал влюбленный студент.

— Нашли что рассказывать! — так и подпрыгнул гимназист.— Очень, подумаешь, интересно! Теперь я! У нас в кла...

— Мой брат хотел рвать зуб,— начала бонна.— Ему советуют, что напротив по лестнице живет дантист. Он пошел, позвонил. Господин дантист сам ему двери открыл. Он видит, что господин очень симпатичный, так что даже не страшно зуб рвать. Говорит господину: «Пожалуйста, прошу вас, вырвите мне зуб». Тот говорит: «Что ж, я бы с удовольствием, да только мне нечем. А очень болит?» Брат говорит: «Очень болит; рвите прямо щипцами».— «Ну, разве что щипцами!» Пошел, поискал, принес какие-то щипцы, большие. Брат рот открыл, а щипцы и не влезают. Брат и рассердился: «Какой же вы,— говорит,— дантист, когда у вас даже инструментов нет?» А тот так удивился. «Да я,— говорит,— вовсе и не дантист! Я — инженер».— «Так как же вы лезете зуб рвать, если вы инженер?» — «Да я,— говорит,— и не лезу. Вы сами ко мне пришли. Я думал, вы знаете, что я инженер, и просто по-человечеству просите помощи. А я добрый, ну и...»

— А мне фершал рвал,— вдруг вдохновенно воскликнула нянька.— Этакий был подлец! Ухватил щипцом, да в одну минутку и вырвал. Я и дыхнуть не успела. «Подавай,— говорит,— старуха, полтинник». Один раз повернул — и полтинник. «Ловко,— говорю.— Я и дыхнуть не успела!» А он мне в ответ: «Что ж вы,— говорит,— хотите, чтоб я за ваш полтинник четыре часа вас по полу за зуб волочил? Жадны вы,— говорит,— все, и довольно стыдно!»

— Ей-Богу, правда! — вдруг взвизгнула горничная, нашедшая, что переход от няньки к ней не слишком для господ оскорбителен.— Ей-Богу, все это — сущая правда. Живодеры они! Брат мой пошел зуб рвать, а дохтур ему говорит: «У тебя на этом зубе четыре корня, все переплелись и к глазу приросли. За этот зуб я меньше трех рублей взять не могу». А где нам три рубля платить? Мы люди бедные! Вот брат подумал, да и говорит: «Денег таких у меня при себе нету, а вытяни ты мне этого зуба сегодня на полтора рубля. Через месяц расчет от хозяина получу, тогда до конца дотянешь». Так ведь нет! Не согласился! Все ему сразу подавай!

— Скандал! — вдруг спохватился, взглянув на часы, дачный знакомый.— Три часа! Я на службу опоздал!

— Три? Боже мой, а нам в Царское! — вскочили сын с женой.

— Ах! Я Бэбичку не накормила! — засуетилась дочка.

И все разошлись, разгоряченные, приятно усталые.

Но я шла домой очень недовольная. Дело в том, что мне самой очень хотелось рассказать одну зубную историйку. Да мне и не предложили.

«Сидят,— думаю,— своим тесным, сплоченным буржуазным кружком, как арабы у костра, рассказывают свои сказки. Разве они о чужом человеке подумают? Конечно, мне, в сущности, все равно, но все-таки я — гостья. Неделикатно с их стороны».

Конечно, мне все равно. Но тем не менее все-таки хочется рассказать...

Дело было в глухом провинциальном городишке, где о дантистах и помину не было. У меня болел зуб, и направили меня к частному врачу, который, по слухам, кое-что в зубах понимал.

Пришла. Врач был унылый, вислоухий и такой худой, что видно его было только в профиль.

— Зуб? Это ужасно! Ну, покажите!

Я показала.

— Неужели болит? Как странно! Такой прекрасный зуб! Так, значит, болит? Ну, это ужасно! Такой зуб! Прямо удивительный!

Он деловым шагом подошел к столу, разыскал какую-то длинную булавку,— верно, от жениной шляпки.

— Откройте ротик!

Он быстро нагнулся и ткнул меня булавкой в язык. Затем тщательно вытер булавку и осмотрел ее, как ценный инструмент, который может еще не раз пригодиться, так чтобы не попортился.

— Извините, мадам, это все, что я могу для вас сделать.

Я молча смотрела на него и сама чувствовала, какие у меня стали круглые глаза.

Он уныло повел бровями.

— Я, извините, не специалист! Делаю, что могу!..

Вот я и рассказала.

ПЕРЕВОДЧИЦА

> Самыми презренными людьми в Египте
> считались свинопасы и переводчики.
>
> *История Египта*

Каждую весну раскрываются двери женских гимназий, пансионов и институтов и выпускают в жизнь несколько сотен... переводчиц.

Я не шучу. До шуток ли тут!

В былые времена о чем думали и о чем заботились маменьки выпускных девиц?

— Вот буду вывозить Машеньку. Может быть, и пошлет Бог подходящую партию. Глашенька-то как хорошо пристроилась. Всего девять зим выезжала, на десятую — Исаия, ликуй!

Так говорила маменька со средствами. У кого же не было запаса на девять зим, те старались подсунуть дочь погостить к богатому родственнику или к «благодетельнице». И родственник, и благодетельница понимали, что каждую девицу нужно выдавать замуж, и способствовали делу. Вейнингеров в то время еще не было, и никто не подозревал о том, как низка и вредна женщина. Открыть глаза было некому, и молодые люди женились на барышнях.

Так было прежде.

Теперь совсем не то. Теперь жених (так называемый «жених» — лицо собирательное), как бы влюблен он ни был, уже вкусил от Вейнингера! Хоть из десятых рук, от какого-нибудь репетитора племянника сестры, двоюродного дяди. И пусть он слышал только всего, что у Вейнингеров все «м» да «ж», — с него достаточно, чтобы скривить рот и сказать барышне:

— Знаете, я принципиально против женитьбы. У женщин слишком много этих всяких букв... Вейнингер совершенно прав!

И маменьки это знают.

— Знаете, Авдотья Петровна, — говорит маменька своей приятельнице. — Что-то в нас, в женщинах, такое открылось нехорошее. Уж и ума не приложу, что такое. Придется, видно, Сонечке в контору поступать либо переводов искать.

— Все в конторах переполнено. У меня две дочки второй год со всех языков переводят. Беда!

— Уж не переехать ли лучше в провинцию? Может быть, там еще ничего не знают про наши дела. Может, до них еще не дошло.

— Да, рассказывайте! У меня в Могилеве брат жену бросил. Пишет: никуда жена не годится. Что ни сделает — все «ж». Едет, бедная, сюда. Хочет переводами заняться...

Выйдет девица из института, сунется в одну контору — полно. В другую — полно. В третьей — запишут кандидаткой.

— Нет,— скажут,— сударыня. Вам не особенно долго ждать придется. Лет через восемь получите место младшей подбарышни, сразу на одиннадцать рублей. Счастливо попали.

Повертится девица, повертится. Напечатает публикацию:

«Окончившая институт, знает все науки практически и теоретически, может готовить все возрасты и полы, временем и пространством не стесняется».

Придет на другой день старуха, спросит:

— А вы сладкое умеете?

— Чего-с?

— Ну, да, сладкое готовить умеете?

— Нет... я этому не училась.

— Так чего же тогда публикуете, что готовить умеете. Только даром порядочных людей беспокоите.

Больше не придет никто.

Поплачет девица, потужит и купит два словаря: французский и немецкий.

Тут судьба ее определяется раз навсегда.

Трещит перо, свистит бумага, шуршит словарь...

Скорей! Скорей!

Главное достоинство перевода, по убеждению издателей,— скорость выполнения.

Да и для самой переводчицы выгоднее валять скорее. Двенадцать, пятнадцать рублей с листа. Эта плата не располагает человека к лености.

Трещит перо.

«Поздно ночью, прокрадываясь к дому своей возлюбленной, увидел ее собаку, сидеть одной на краю дороги».

«Он вспомнил ее слова: «Я была любовницей графа, но это не переначнется».

Бумага свистит.

«Красавица была замечательно очаровательна. Ее смуглые черты лица были невероятны. Крупные котята (chatons — алмазы) играли на ее ушах. Но очаровательнее всего была ямочка на подзатыльнике красавицы. Ах, сколько раз — увы! — этот подзатыльник снился Гастону!»

Шуршит словарь.

«Зал заливался светом при помощи канделябров. Графиня снова была царицей бала. Она приехала с дедушкой в открытом лиловом платье, отделанном белыми розами».

«Амели плакала, обнимая родителям колени, которые были всегда так добры к ней, но теперь сурово отталкивали ее».

«Она была полного роста, но довольно бледного».

«Он всюду натыкался на любовь к себе и нежное обращение».

Вот передо мною серьезная работа — перевод какой-то английской богословской книги.

Читаю:

«Хорош тот, кто сведет стадо в несколько голов. Но хорош и тот, кто раздобудет одного барана. Он также может спокойно зажить в хорошей деревне».

Что такое? Что же это значит?

Это значит вот что:

«Блажен приведший всю паству свою, но блажен и приведший одну овцу, ибо и он упокоится в селениях праведных».

Все реже и реже шуршит словарь. Навык быстро приобретается. Работа приятная. Сидишь дома, в тепле. Бежать никуда не надо. И знакомым можно ввернуть словечко, вроде:

— Мы, литераторы...

— С тех пор как я посвятила себя литературе...

— Ах, литературный труд так плохо оплачивается... У нас нет ничего, кроме славы!

Трещат перья, свистит бумага. Скорей! Скорей.

«Алиса Рузевельт любит роскошь. На большом приеме она щегольнула своим полуплисовым платьем...»

Шуршит словарь.

ПЕСЬЕ ВРЕМЯ

Медленно поворачивается земля, но, сколько ни медли и сколько ни откладывай, все равно от судьбы не уйдешь, и каждый год в определенное время приходится несчастной планете влезать в созвездие Большого Пса.

По-моему, вполне достаточно было бы и Малого Пса, но, повторяю, от судьбы не уйдешь.

И вот тогда наступают для бедного человечества самые дурацкие дни из всего года, так называемые «каникулы», от слова «caniculi», или, в переводе, просто «песье время».

Влияние Большого Пса сказывается буквально на всем: на репертуаре, на ресторанном меню, на картинах, на железных дорогах, на домовых ремонтах, на извозчиках, на веснушках, на приказчиках, на здоровье и на шляпках.

Пес на все кладет свой отпечаток.

Если вы увидите на даме вместо шляпки просторное помещение для живности и огородных продуктов, не судите ее слишком строго. Она не виновата. Этого петуха с семейством и четырнадцать реп, из которых два помидора, сдобренные морковной травой,— это ей Пес наляпал. Она невинна, верьте мне!

А каникулярный приказчик!

Если вы попросите его дать вам черную катушку, самую простую черную катушку, он сделает мыслящее лицо, полезет куда-то наверх, встанет à la колосс Родосский одной ногой на полку с товаром, другой на прилавок, причем наступит вам на палец (убирайте руки!) и, треснув вас сорвавшейся картонкой по голове, с достоинством предложит кусок синего бархата.

— Мне не нужно синего бархата,— кротко скажете вы.— Я просила черную катушку. Простую, № 60.

— Виноват-с! Это действительно синий,— извинится приказчик и полезет куда-то вниз под прилавок, так глубоко, что несколько минут виден будет только самый нижний край его пиджака. Когда же, движимая естественным любопытством, вы нагнетесь, чтобы посмотреть, что он там поделывает, он вдруг выпрямится и ткнет вас ящиком прямо в щеку.

В ящике будут ленты и тесемка, которые он великодушно предложит вам на выбор и пообещает сделать скидку.

Узнав, что вы все еще упорствуете в своем желании приобрести черную катушку, он очень огорчится и, нырнув под прилавком, исчезнет в соседней клетушке. Только вы его и видели! Сколько ни ждите, уж он не вернется.

Идите в другой магазин и спрашивайте розовую вуаль,— может быть, Пес так напутает, что вы по ошибке получите и катушку. Другого пути нет.

На железных дорогах песья власть выражается в каких-то дачных и добавочных поездах, у которых нет ни привычки, ни силы воли, и болтаются они как попало, без определенных часов, скорости и направления.

Сядешь на такой поезд и думаешь:

«Куда-то ты меня, батюшка, тащишь?»

И спросить страшно. Да и к чему?

Только поставишь кондуктора в неловкое положение.

Но что всего удивительнее в этих поездах — это их капризный задор. Вдруг остановятся на каком-нибудь полустанке, и ни тпру, ни ну! Стоит часа два.

Пассажиры нервничают. Фантазия работает.

— Чего стоит? Верно, бабу переехали.

— Телку, а не бабу. Тут вчера одну бабу переехали,— не каждый же день по бабе. Верно, сегодня телку.

— Да, станут они из-за телки стоять!

— Конечно, станут. Нужно же колеса из нее вытащить.

— Просто кондуктор чай пить пошел, вот и стоим,— вставляет какой-то скептик.

— Да, чай пить! Грабить нас хотят, вот что. Теперь, верно, передний вагон чистят, а там и до нас дойдет. Ясное дело — грабят.

Но поезд так же неожиданно трогается, как и остановился, и всем некоторое время досадно, что не случилось никакой гадости.

А отчего стояли?

Не может же кондуктор, человек малограмотный и ничего общего с Пулковской обсерваторией не имеющий, объяснить вам, что все это штуки Большого и скверного Пса.

От влияния этого самого Пса на людей находит непоседство. Едут, сами не зная куда и зачем. Не потому, что ищут прохладного места, так как многие, например, любят летом побывать в Берлине, где, как известно, такая жарища, что даже лошадь без шляпки

ни за какие деньги на улицу носа не покажет, и у каждой порядочной коровы есть зонтик.

Каждый бежит с насиженного места, оставляя стеречь квартиру какую-нибудь «кухаркиной тетки сдвуродну бабку». Днем эти бабки проветривают комнаты и свешивают в окошко свои щербатые носы. И гулко по опустевшему двору, отскакивая от высоких стен, разносятся их оживленные, захватывающие разговоры.

— Марфа-а! — каркает нос из форточки четвертого этажа.— Марфа-а!

— А-а-а! — гудит и отскакивает от всех стен.

— Что-о? — пищит нос, задранный из форточки второго этажа.

— О-о-о! — отвечает двор.

— У Потаповны кадушка рассохши!

— И-и-и!

— Намокши? — пищит нос из второго.

— Рассохши! Кадушка у Потаповны рассохши!

— И-и-и!

— Подушка-а?

— Кадушка! Кадушка-а!

— У-у-у-а-а!

— У Протасовых?

— У Потаповны! Кадушка у Пота...

Закрывайте окно, дохните, как мухи, в духоте, только не слушайте, как бабки беседуют.

Они под особым покровительством Большого Пса.

По ночам, между прочим, этих бабок убивают и грабят квартиры.

Громилы вполне уверены, что этих сторожих оставляют специально для их удобства. А то и двери открыть было бы некому. Самому ломать входные крюки, замки и засовы очень хлопотно, громоздко и, главное, трудно не шуметь. А такая Божья старушка — золото, а не человек. И откроет, и впустит.

А Большой Пес только радуется. Ему что!

Но из всех песьих бичей хуже всего, конечно, солнце.

Не спорю, оно несколько лет тому назад было в большой моде. Имя его писали с прописной буквы, поэты посвящали ему стихи, в которых воспевали различные его приятные качества и хорошие поступки.

Я, признаюсь, этому течению никогда не сочувствовала.

— «Будем как солнце!»

— Покорно благодарю! Это значит — вставай в пять часов утра!

Слуга покорный!

Солнце, если говорить о нем спокойно и без пафоса,— несноснейшая тварь из всей вселенной. Конечно, хорошо, что оно выращивает огурцы и прочее. Но, право, было бы лучше, если бы человечество нашло способ обходиться своими средствами, отопляя, освещая свою землю и выращивая на ней что нужно без посторонней помощи.

Солнце несносно!

Представьте себе круглое красноросжее существо, встающее ежедневно ни свет ни заря и весь день измывающееся над вами.

Разведет кругом такое парево, что дохнуть нельзя. На щеки наляпает вам коричневых пятен, с носу сдерет кожу. Кругом, куда ни глянешь, расплодит муху и комара. Чего уж, кажется, хуже! А люди не нарадуются:

— Ах, восход, заход!

— Ах, закат, воскат!

Удивительная, подумаешь, штука, что солнце село! Иной человек за день раз двести и встанет, и сядет, и никто на это не умиляется.

Подхалимничают люди из выгоды и расчета. Подлизываются к солнцу, что оно огурцы растит.

Стыдно!

Живешь и ничего не замечаешь. А вот как наступит песье время, да припечет тебя, да поджарит, да подпалит с боков,— тут и подумаешь обо всем посерьезнее.

О, поверьте, не из-за веснушки какой-нибудь хлопочу я и восстаю против солнца! Нет, мы выше этого, да и существуют вуали. Просто не хочется из-за материальной выгоды (огурца) лебезить перед банальной красной физиономией, которая маячит над нами там, наверху!

Опомнитесь, господа! Оглянитесь на себя! Ведь стыдно! А?

ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА

ПУТЕШЕСТВИЕ

Тяжело порою быть русским человеком.

Вот мне, например, очень хотелось бы писать «Письма издалека». А нельзя. И не потому нельзя, что я не

далеко заехала, а потому, что русскому человеку ближе чем какую-нибудь северо-западную Зеландию и описывать неприлично.

Немцы — другое дело. Если немец проедет полчаса по железной дороге, то он уже считает, что сделал «eine Reise», «eine schöne Reise»[1], и может потом описывать приключения этого путешествия многие годы, вызывая завистливые восклицания у восхищенных слушателей.

Сам, блаженной памяти, Генрих Гейне, пройдя пешком что-то верст восемнадцать из одного города в другой, пережил лиризма и сатиризма на сто двадцать страниц убористой печати.

Все зависит от восприимчивости путешествующего лица. Уверяю вас.

Иной сибиряк сделает полторы тысячи верст, завернувшись в шубу, и носа не выставит на свет Божий. Да и нельзя. От сибирского мороза нос может треснуть, как грецкий орех под каблуком.

Ну вот спросите такого сибиряка, что он вынес из своего путешествия. Скажет одно:

— Вся эта полоса России пахнет собакой, крашенной под енота.

Потому что воспринял только свой собственный воротник.

Настоящий, толковый путешественник должен прежде всего любопытствовать. На каждой остановке спрашивать, что за станция и сколько, примерно, от нее верст до Богородска.

Если на платформе девочка продает грибы, подзовите и спросите, что это такое. Хоть и сами видите, а все-таки спросите. Потому что путешествующий должен любопытствовать. Потом справьтесь о цене. Скажите, что лучше бы ей было продавать малину. А если ответит, что малины уж нет, то посоветуйте лучше снова дождаться ее и завести выгодную торговлю, чем растрачивать молодые силы на грибы.

Если поезд стоит долго, спросите у кондуктора, где жандарм, а у жандарма — где начальник станции, а у начальника станции — где буфет. Таким образом, вы будете все знать из первых рук.

У пассажиров — с благородством, но настойчиво выпытывайте, куда, зачем и откуда они едут, сколько,

---

[1] Путешествие, прекрасное путешествие *(нем.)*.

примерно, в их городе жителей и далеко ли от них до Богородска.

Этот последний вопрос всегда неотразимо действует, в особенности на иностранцев. Они начинают относиться к вам необычайно внимательно и иногда даже, забрав всю поклажу, уходят в соседний вагон, чтобы предоставить вам покой и место.

Кроме того, узнавайте все время, как кого зовут и у кого что болит; у дам спрашивайте, не вредно ли им сидеть спиной к движению, у стариков — не дует ли на них из вентилятора. Разузнав все подробно, вы, отъехав на двенадцать верст от места своего жительства, имеете уже полное право послать родным и знакомым «Письма издалека».

Теперь поговорим о настоящем, серьезном путешествии.

Прежде всего, куда бы вы ни ехали, хоть в Тибет, границу непременно переезжайте в Эйдкунене, иначе никогда не почувствуете себя на границе. Это уже дознано и признано.

Если хотите быть стереотипным, то, переезжая пограничную речонку, выгляните в окошко и высуньте язык.

Я лично этого не делаю, потому что, по-моему, это вовсе не так уж важно. Но многие считают это священным ритуалом. Не нами, мол, заведено, не нами и кончится. Ну и пусть себе.

Самый важный момент ваших пограничных переживаний, это — предъявление немецкого билета немецкому сторожу на платформе Эйдкунена. Поднимите глаза и взгляните на него. У него нос цвета голубиного крыла, с пурпурными разводами и мелким синим крапом. Тут вы сразу поймете, что все для вас кончено, что родина от вас отрезана и что вы одиноки и на чужбине.

Лезьте скорее в вагон и пишите открытки.

Если судьба занесет вас в Берлин (а она обыкновенно проделывает это с людьми, едущими через Эйдкунен), не забудьте во что бы то ни стало пойти к придворному парикмахеру Гансу Хаби, распушившему усы императору Вильгельму. Это вам обойдется рублей в шестнадцать, но за то вы узнаете кое-что.

Хаби посадит вас на стул и спросит, что вам угодно. Узнав, что вы хотите остричься, он загадочно

улыбнется и наденет на вас намордник. Вы будете мычать и отбиваться, но крепко скрученная простыня не даст вам ни подняться, ни высвободить руки.

А Хаби начнет говорить о том, что все счастье вашей жизни в распушенных усах и что Вильгельм только потому и Вильгельм, что он, Хаби, надел на него свой намордник.

Говоря это, он будет поливать вам голову всякой гадостью собственного изобретения.

— Вы, конечно, разрешите коснуться вас слегка вот этим фиксатуаром? — поет он.

— Мм... не хочу! — мычите вы.

— Итак, с вашего разрешения!

И он снова мажет вас и, глумясь, хвалит за культурное отношение к парикмахерскому делу.

Но все на свете кончается. И Хаби, сняв с вас намордник, подставляет вам зеркало, из которого глядит на вас белый тигр с печальными человеческими глазами и намасленной лысиной.

— Тридцать марок!

— Что-о?

— Этот инструмент я распечатал специально для вас. Эту мазь — тоже. Ведро этой жидкости откупорено ради вас, — теперь она все равно выдохнется. А вот эту щеточку — она стоит не менее пятидесяти пфеннигов, уверяю вас, — вы можете взять себе.

Не забудьте же побывать у придворного парикмахера. Вы, по крайней мере, сразу поймете, почему императору Вильгельму пришлось расширить цивильный лист. Бедняге не хватало денег, чтобы как следует «sich rasieren»[1].

Еще советую вам обратить внимание на берлинских извозчиков, которые за последние годы невесть что забрали себе в голову. Они считают себя равноправными гражданами с шоферами и с трамвайными вожатыми. Лезут всюду, и некому их осадить и поставить на место.

Ни разу не довелось мне слышать, чтобы кто-нибудь дал им краткое, но меткое определение, которое так хорошо действует на извозчичью душу:

— Гужеед желтоглазый!

Конечно, они по-русски не поймут, но ведь можно же перевести. Не Бог весть какая трудность. Скажите:

— Du Rimenesser! Gelbauge![2]

---

[1] Побриться *(нем.)*.

[2] Ременеед! Желтые глаза! *(нем.)*

Не знаю в точности, как по-немецки гужи. Ну, да вы это от него же и узнать можете.

Прямо спросите:

— Любезный извозчик! Как называется та часть упряжи, которую вы кушаете?

Он, конечно, не замедлит удовлетворить ваше законное любопытство. А вы воспользуетесь этим и сразу поставите его на место.

Ах, если относиться к своей задаче серьезно, то сколько полезного и для себя и для других можн извлечь из самого маленького путешествия.

Но много ли нас, серьезных-то людей!

КУРОРТ

Знаете ли вы, господа, что такое курорт?

Курорт состоит из следующих элементов:

а) воды,

б) доктора,

в) больного и

г) музыки.

Вода течет из крана в стакан или в ванну.

Доктор получает деньги и делает знающее лицо.

Больной поддерживает докторское существование.

Музыка допекает больного, чтобы он не так скоро поправился.

Все, взятое вместе в определенных дозах, образует гармоническое целое, называемое — курорт.

Само собой разумеется, что это — только схема, набросок, руководство для детей, если бы они пожелали устроить себе домашний курортик.

На самом деле курорт куда сложнее!

ВОДА

Курортная вода прежде всего должна быть скверна на вкус. Если она при этом имеет и вид отталкивающий, то ценится вдвое дороже и экспортируется в чужие страны как драгоценность. Если же она к тому же обладает и противным запахом, то ей цены нет! Она тогда кормит и содержит все население благословенной страны, в которой пробила себе ход из земли.

Свойства курортной воды самые разнообразные и даже взаимоисключающие. Та же самая вода лечит от худобы и от толщины, от возбуждения и от апатии. Она помогает ото всего, но при непременном условии — через каждые три дня показываться доктору.

Доктор сделает знающее лицо и спросит, не дает ли себя чувствовать ваш левый мизинец или не покалывает ли в правую бровь.

— Нет! — испуганно отвечаете вы. — А разве нужно, чтобы кололо?

Он усмехнется загадочно и ничего не ответит, а вы потом несколько дней подряд будете с ожесточением пить курортную воду и жаловаться знакомым:

— Не знаю, чего я тут сижу! До сих пор в правую бровь не колет. Только даром время теряю.

Относительно курортной воды французы всех перехитрили. Они разлили в бутылки хорошую чистую родниковую воду, назвали ее «Eau d'Evian»[1] и разослали по всем заграницам. От времени эта вода в бутылках немного портится и тухнет, приобретая некий курортный отпечаток, что наводит людей на мысль о ее целебности. У нас в лучших ресторанах воду эту подают по рублю за бутылку, и знатоки любят после обеда выпить стаканчик.

Дорого, зато тухло.

Вот как высоко котируется в настоящее время всякая испорченность.

ДОКТОР

Курортный доктор — жрец совсем особой науки: все следствия выводит и относит к одной причине.

Если курортный доктор сидит около воды, исцеляющей от ревматизма, то, что бы с вами ни случилось, он все определит как последствия ревматизма.

Болит ли у вас зуб, умерла ли бабушка, украли ли на вокзале ваш багаж — все это грустные последствия застарелого ревматизма, требующие питья двух стаканов воды поутру и двух вечером, перед сном.

— Доктор, у меня мигрень.

— Это у вас так называемый ревматизм мозга. Пейте по три стакана утром и по четыре ве...

— Ревматизм мозга? Никогда не слышала.

---

[1] Вода «Эвиан» *(фр.)*.

— Вы откуда изволили приехать?

— Из Петербурга.

— Тогда неудивительно! Три дня вы пробыли в пути! Наука шагает быстро. За эти три дня сделаны колоссальные открытия! Пейте пять стаканов перед сном и двенадцать во время еды!

У курортного врача лежит на письменном столе большая книга, в которую он вписывает какие-то таинственные штуки про своих больных. Спросит:

— Гуляете много?

— Много,— ответит больной.

— Ага!

И начнет писать долго-долго.

Сидишь, следишь за его пером. Букв не видно, и приходится угадывать чутьем. Кажется, что пишет приблизительно следующее:

— Ага! Гуляешь много! Вот я те погуляю! Как закачу тебе двадцать четыре стакана бурды через каждые два часа, так небось перестанешь разгуливать.

Потом поднимет свое знающее лицо, проникновенно взглянет усталыми глазами и скажет:

— Попробуйте пить шесть стаканов. Через два дня зайдите.

Вы заходите через два дня. Он пощупает ваш пульс или смеряет температуру. Никто его не осудит за это, потому что нужно же и ему что-нибудь делать! Тоже ведь и он человек!

Потом велит пить не два стакана, а четыре полстакана, что составляет одно и то же только с грубо-математической точки зрения.

В курортном миропонимании четыре полстакана стоят значительно выше двух стаканов, и пьющий враздробь должен показываться врачу не через три, а через два дня.

В общем, обязанность курортного врача очень сложна, ответственна и требует особых сведений.

БОЛЬНОЙ

Курортный больной существует обыкновенно в нескольких лицах.

Он приезжает всегда с женой, с детьми, с теткой или с романами. Болен бывает, собственно, он один, но лечатся заодно и жены, и тетки, и романы.

Так как на каждого больного полагается несколько теток и романов, то курортную толпу составляют, собственно говоря, не больные, а этот их антураж.

Поэтому вполне понятно недоумение какого-нибудь неопытного туриста, попавшего в курзал серьезного курорта для серьезных больных, когда он видит здоровенные, круглые физиономии, пылающие от веселых pas d'Espagne, и толстые ноги, лихо щелкающие каблуками.

— Это больные? Или это те, которые уже выздоровели? Какой чудный курорт, где так великолепно поправляются!

Через два дня неопытный турист узнает, что настоящих больных никогда и не видно. Они сидят дома или ездят в экипажах подышать воздухом. А живут полной жизнью только тетки и романы.

В каждом курорте есть своя официальная красавица.

Красоты от официальной курортной красавицы никакой, впрочем, не требуется. Большею частью даже они бывают некрасивы, носаты, с несколько круглой спиной и большими ногами.

На каждом курорте есть своя красавица, которая приезжает каждый год, и, когда умрет от старости, ее сменяет новая.

— Le roi est mort,— vive le roi![1]

О курортных красавицах создаются легенды.

— Посмотрите, вон она! Видите, в зеленой шляпе... Она была замужем четырнадцать раз!

— Четырнадцать? Правда? А на вид, пожалуй, даже больше.

— Не правда ли? Удивительно интересная женщина! У нее двенадцать неизлечимых болезней. И все — наследственные. Сам доктор Шток лечит ее от наследственной простуды ноги. Это тоже неизлечимо. Правда, интересная женщина?

Курортная красавица должна делать все не так, как обыкновенная женщина, и не в то время.

Если все пьют первую бурду в 7 часов, то красавица — на два часа позже. Если жарко и на всех надеты летние платья, курортная красавица надевает на себя черный бархат и томится, как тушеная говядина в кастрюле.

[1] Король умер, да здравствует король! *(фр.)*

Под дождем, если дождь с ветром, она ходит в декольтированном платье и обмахивается веером.

Все это очень трудно, и редкая курортная красавица доживает до семидесяти лет. Чаще они погибают безвременно, как тепличные растения, едва начав шестой-седьмой десяток.

Зато как пожито!

МУЗЫКА

Курортная музыка давно уже делит одинаковое прозвище с Аттилой:

— Бич Божий!

Состоит она из десятка-другого выгнанных отовсюду за бездарность и жестокосердие молодых людей, которым, следовательно, все равно — терять уже нечего.

И вот они дудят кто во что горазд. Но молодые люди не без юмора: по программе объявляют то рапсодию Листа, то из «Тангейзера».

Играют же всегда одно и то же: скрипка печально подвизгивает: «Du mein lieber Augustin»[1], флейта — из похоронного марша два такта, барабан — «Рассыпься, молодцы, за камни, за кусты, по два в ряд», виолончель — «Когда б я знал!». Остальные беззастенчиво и просто все время настраиваются; получается нечто вроде аккомпанемента для каждого инструмента отдельно.

Напиваются эти жестокие молодые люди по очереди, и только по воскресеньям, к вечерней музыке, пьяны все зараз.

Музыка очень мучит больных. Но многие уже нашли средство борьбы с нею, которое следовало бы опубликовать: они громко поют что-нибудь свое, веселенькое.

РУССКИЕ

Русские приезжают в курорт целыми семьями. Один лечится, другие ходят за лечащимся, чтобы ему было с кем душу отвести.

Приезжие обыкновенно прежде всего справляются о ресторанах.

---

[1] Ты, мой милый Августин *(нем.)*.

— Где бы здесь можно было хорошо поесть, чтобы посытнее да повкуснее?

Этим вопросом больше всего интересуются толстяки, присланные докторами для худения.

Разведав о ресторане, русский худеющий заглядывает туда между обедом и ужином, чтобы заморить червячка.

Немец живет аккуратно и ест в положенное время, и никакого червячка, которого нужно морить водкой и закуской, у него не водится.

Узнают немцы об этой русской хворости с большим удивлением и относятся к ней подозрительно, тем более что самый усердный мор, в сущности, паллиатив, потому что погибший червяк к ужину заменяется новым.

Первый докторский визит повергает русского в самое черное отчаяние.

Доктор дает расписание: вставать в 6 утра, ходить до 9-ти и пить воду. Есть одно белое мясо с овощами, брать ванну и тому подобные ужасы.

Осмотревшись и заведя знакомство с соотечественниками, русский успокаивается. Соотечественник научит, как взяться за дело.

— В шесть часов вставать? Да́ что вы, с ума сошли, что ли? Этак можно себе нервы вконец истрепать!

— А как же воду-то пить?

— Очень просто. Это вот как делается: даете лакею ихний двугривенный, он вам воду утром прямо в постель принесет — и никаких. Выпьете, угреетесь и снова заснете.

— А ванна?

— А на что вам ванна? Простудиться хотите, что ли? Дайте лакею ихний гривенник, он за вас ванну возьмет — и никаких. А доктору скажите, что сами брали. Очень просто.

— Так-то так,— соглашается худеющий,— да ведь доктор мне еще и гулять велел.

— Гулять? Ну, посудите сами, какой вы гуляка, когда в вас весу больше шести пудов? Доктору хорошо говорить. Пусть сам гуляет. А мы с вами и посидеть можем. Дайте лакею ихний пятак,— он вам на скамеечке место займет, у самой музыки, всех видеть будете. Очень удобно.

Через пять недель значительно округлившийся худеющий собирается восвояси, горько каясь, что потерял золотое время на проклятом курорте.

— Шарлатаны! Только деньги драть умеют. Вместо того чтобы исхудить человека, который им, обиралам, доверился, они ему еще семь фунтов собственного жиру навязали!

Веселый, посвежевший и поправивший свои делишки лакей подает счет и выражает сожаление о столь раннем отъезде постояльца.

— Нет,— говорит тот.— Полно! Попили вы моей кровушки, и довольно. В другой раз сюда не заманите.

ЛАКЕЙ

В немецком курорте русскому человеку неуютно.

Во-первых, раз двенадцать — пятнадцать в день вся прислуга здоровается. Нервного человека эта система доводит до конвульсий. После шестьдесят пятого гутентага редкий организм оправляется.

Особенно резкая разница между русской и немецкой курортной прислугой чувствуется в ресторане.

В русском ресторане лакей, особенно если он татарин,— человек душевный. Между ним и вашим чревом, которое вы пришли насытить, мгновенно образуются нити и звенья. Ваш обед, хотя съедите его вы один, становится вашим общим делом, для лакея еще более дорогим, чем для вас.

Предлагая вам какую-нибудь редкостную рыбу или птицу, русский лакей даже слегка приседает и начинает говорить шепотом, и все это делается исключительно из уважения к вашему желудку.

Немецкий лакей прежде всего подчеркивает, что ему нет ровно никакого дела, как и чем вы напитаетесь. Он служит просто так, совершенно случайно, может быть, только для того, чтобы убить время между теннисом и партией в шахматы у посланника. Он, вообще, граф и имеет собственную виллу. Вы хотите пообедать в этой грязной лавчонке? Он удивляется вашему дурному вкусу и невоспитанности.

Наш лакей — энциклопедист. Он отвечает один по всем отраслям ресторанного дела.

Немецкий лакей — узкий специалист и служит у стола в четырех лицах. Одно из них подает обед, другое — вино и пиво, третье — хлеб, четвертое — счет.

Я слышала, как однажды обедающий профан обратился к человеку, подающему пиво, с просьбой «поторопить там насчет селедки».

Подающий пиво весь вспыхнул. Ему, подающему пиво, сказали такое слово:

— Селедка!

Он ничего подобного никогда в жизни не слышал!

Я думаю, что слово это врезалось в его мозг острыми красными буквами и отравило грядущую старость своей неуместностью. Пиво, пиво, пиво — и вдруг...

Как жутко!

Подает немецкий лакей ужасно медленно, даже без внешней, деланной торопливости, от которой так картинно раздуваются фалды русского лакея.

Раз я видела разъяренного господина, разводившего руками над тарелкой супа, и щеки у него дрожали от ярости. Сначала я думала, что это сумасшедший, но, прислушавшись, поняла, что это русский, которому уже полчаса не дают ни соли, ни хлеба, и кушанье простыло.

— Господи! — стонал он.— Если бы я знал, как их ругать,— мне бы легче было. Ну, чего они за душу тянут? Как это по-немецки? Warum meine Seele ... [1]Черт знает,— что! Еще сам дураком окажешься. Ну, чего они бродят, как сонные мухи! Warum sie wie... wie sie... eine Fliege, die will schlafen... [2] Ну, вот, видите! Круглая ерунда получается! Господи! Ведь ругают же их как-нибудь? Где бы это узнать? В посольстве, что ли?

Я стала успокаивать его, как могла.

Говорила, что есть хлеб — это предрассудок земледельческой страны, что и предки наши (в обезьяньем периоде) обходились совсем без соли и были куда здоровее нас.

Он успокоился, но долго и горько жаловался на немецкий обиход.

— Я у них спрашиваю: «Откуда икра,— астраханская, что ли?» — «Нет,— говорят,— мы ее прямо из Малосола выписываем. И тычет карту «russischer Kaviar Malossol» [3]. Хвастуны пошлые! Вчера велел хлеба подать,— жду-жду, взглянул ненароком на улицу, а он, этот самый хлебник-то, под моим же окном на велосипеде катается. Если это не бесстыдство, то укажите мне, где оно, прошу вас!

---

[1] Почему моя душа... *(нем.)*

[2] Почему они как... как они... птица, которая хочет спать... *(нем.)*

[3] Малосольная русская икра *(нем.)*.

В глубокой задумчивости окончил он свой обед и, выходя из комнаты, столкнулся с лакеем, несшим ему хлеб и соль. Лакей с достоинством поставил все на стол, точно и не видел, что гость уже ушел.

А тот горько усмехнулся и сказал:

— И он же меня еще и презирает! Уж верьте совести!

— Warum sie... Wie... sie...[1] — вдруг вскинулся он на лакея, но тотчас же оборвал свою горячую речь.

— Тьфу! Разве эта харя способна понимать по-человечески?

МАСКИ

У нас любят рядиться на святках и прятаться под маску, но что в этом веселого,— право, никто объяснить не сумеет.

Я понимаю, как чувствует себя француз, надевая маску.

— Ho-la-la!

Про каждого из своих добрых знакомых он знает сотни штучек и тысячи маленьких гадостей, на которые так приятно намекнуть, а еще приятнее сказать прямо в глаза!

Но в обыденной жизни и с открытым лицом это невозможно. Еще поколотят! Да и к чему ссориться?

То ли дело в маскараде.

— Madame! Брюнет, которым вы интересовались в сентябре прошлого года, передал известный вам ключ одной из ваших приятельниц. Какой? Если позволите, я намекну...

Тонкая интрига заплетается, расплетается.

Отправляясь на маскарад, француз заранее придумывает, с кем и о чем говорить, как устроить, чтобы было занятно, и весело, и тонко, чтобы можно было немножко рискнуть, немножко провиниться и все-таки «ça ne tire pas à consequence»[2].

Русский человек маскируется мрачно.

Прежде всего и главнее всего — это чтобы его не узнали. И для чего ему это нужно, одному Богу известно, потому что ни балагурить, ни шутить, ни интриговать он никогда не будет.

---

[1] Почему они... Как... они... *(нем.)*

[2] Это не имеет никаких последствий *(фр.)*.

Приедет на костюмированный вечер, встанет где-нибудь у печки и молчит. Слова из него не выжмешь.

А кругом все стараются:

— Да это Иван Петрович! По рукам видно! Иван Петрович, снимите маску!

Но маска пыжится, прячет руки и молчит, пока не удостоверится, что узнана раз навсегда и бесповоротно. Тогда со вздохом облегчения открывает лицо и идет чай пить. Потом помогает узнавать другие маски.

Долго не узнанные томятся.

Им жарко, душно и смертельно скучно.

Зато на другой день хвастаются:

— Весело вчера было?

— Ну, еще бы! Меня так до конца и не узнали! Нарочно весь вечер ни с кем не разговаривал.

— Всех надул!—мрачно веселится вчерашняя маска.—Поди, до сих пор не угадали, что это был я. Сегодня отдохну денек, а завтра снова в маскарад. А то уж очень жарко! Два дня подряд—организм не вынесет.

Тоска в наших маскарадах смертельная!

Распорядители из кожи вон лезут, придумывая «трюки».

Ничто не помогает!

Жмутся по углам тоскливые маски и все боятся, как бы их не узнали!

Изредка мелькнет нелепым диссонансом какой-нибудь веселый Пьеро или Арлекин. Взвизгнет, перекувырнется.

Но от него все норовят подальше. Еще, мол, в историю впутаешься.

Если, не приведи Бог, затешется в маскарадную толпу настоящий остряк и весельчак (чего на свете не бывает!),—ему несдобровать.

Слушать его будут молча, на шутки не ответят.

В прорези масок заблестят злые огоньки и скажут:

— А сорвать с него маску да вздуть хорошенько, так не стал бы тут растабарывать!

— Туда же, шутник!

Хозяева к острякам тоже относятся подозрительно.

— Афимья!—кричат кухарке.—Ты там посматривай за галошами. Мы отвечать не можем. В маске-то каждый притвориться может. А кто его знает, что у него на уме! Шутники!

Но такие шутники на русском маскараде редки до чрезвычайности. И то они склонны скорее покукурекать петухом или поквакать лягушкой, чем завести тонкую интригу.

Даже любители анонимных писем, завзятые сплетники и вруны, и те, надев маску, думают только о сохранении своего инкогнито.

— Маска, ты меня знаешь?—спрашивает у сплетника дама, которую он сразу узнал и про которую чересчур много знает.

Но он мычит в ответ, хотя сердце его разрывается от желания поязвить безнаказанно.

Особенно жестоко веселятся на святках в провинции.

Каждый вечер рядятся и ездят по домам.

— Ряженые приехали!

Хозяева встречают их в гостиной молча. Молча входят маски.

Кто-нибудь заиграет на рояле. Маски молча протанцуют и молча уйдут.

Поедут к другим знакомым, и опять то же.

Уж такое беспросветное удовольствие!

У помощника исправника был сынок. Страшно любил наряжаться и маскироваться.

Из гимназии его выгнали, так что досугу было много. На святках наряжался, в будни вспоминал.

Юноша был здоровьем слаб и к концу святок еле держался на ногах.

— Да посмотрите,—жаловалась его мать,—на что он похож стал! Ведь краше в гроб кладут.

— Зато никто меня ни разу не узнал!—хвастался сынок.—Двадцать раз маскировался,—и никто! У головы до утра молча просидел, маски не снимал. И ужинать не стал. Начну, думаю, есть—еще узнает кто. Худо мне стало под конец, прямо дышать нечем. Закрыл глаза, даже сомлел на минутку. Сижу, держусь за стол руками, дотяну ли до утра, сам не знаю.

— Вот видите!—горюет мать.—Не бережет он себя, загубит здоровье!

Но сын остановил ее строго:

— Нечего, маменька! Вы свое пожили, так дайте и другим. Мне ведь тоже повеселиться хочется.

И мать замолчала. Потому что сама знала, что значит русский маскарад.

Тяжело, а ничего не поделаешь!

РАЗГОВОРЫ

Кто не видел Айседоры Дункан, Мод Аллан, Стефании Домбровской и прочих босоножек, разговаривающих ногами.

Многие русские артистки уже изучают это искусство.

И хорошо делают.

У нас, в России, это большое подспорье. Уж слишком плохо мы говорим языком. Не многие из нас могут быть уверены, что скажут именно то, что хотят. Рады, если дадут себя понять хоть приблизительно.

Ни на одном языке в мире нет такого удивительного оборота фразы, как например, в следующем диалоге:

— Уж и поговорить нельзя?

— Я тебе поговорю!

— Уж и погулять нельзя?

— Я тебе погуляю!

Весь смысл этих странных обещаний ясно заключается только в интонации, с которою произносится фраза. Вне интонации смысл утрачивается.

Переведите эту фразу французу. То-то удивится!

А я недавно слышала целый разговор, горячий и сердитый, когда ни один из собеседников ни разу не сказал того слова, которое хотел.

Понимали друг друга только по интонации, по выпученным глазам и размахивающим рукам.

Ах, как бы здесь пригодились хорошо дрессированные ноги!

Дело происходило в центральной кассе театров. Было это накануне какой-то премьеры, так что народу в маленьком помещении кассы толпилось масса, давили друг друга, пролезали «в хвост».

Вдруг появляется какая-то личность в потертом пальто и быстрыми шагами направляется к кассе, не выжидая очереди.

Стоявший у двери швейцар остановил:

— Потрудитесь стать в очередь!

Личность огрызнулась:

— Оставьте меня в покое!

Тут и начался разговор. Оба говорили совсем не то, что хотели, с грехом пополам понимая друг друга по интонации.

— Тут не оставленье, а потрудитесь тоже порядочно знать! — сказал швейцар с достоинством.

Фраза эта значила, что личность должна вести себя прилично.

Личность поняла и ответила:

— Вы не имеете права через предназначенье, как стоять у дверей. И так и знайте!

Это значило: ты — швейцар и не суйся не в свое дело.

Но швейцар не сдавался.

— Должен вам сказать, что вы напрасно относитесь. Не такое здесь место, чтобы относиться! (Не затевай скандала!)

— Кто кому и куда — это уж позвольте, пожалуйста, другим знать! — взбесилась личность.

Что значила эта фраза, я не понимаю, но швейцар понял и отпарировал удар, сказав язвительно:

— Вы опять относитесь! Если я теперь тут стою, то, значит, совершенно напрасно каждый себя может понимать, и довольно совестно при покупающей публике, и надо совесть понимать. А вы совести не понимаете.

Швейцар повернулся к личности спиной и отошел к двери, показывая равнодушным выражением лица, что разговор окончен.

Личность сердито фыркнула и сказала последние уничтожающие слова:

— Это еще очень даже неизвестно, кто относится. А другой по нахальству может чести приписать на необразованность.

После чего смолкла и покорно стала в «хвост».

И мне представлялось, что оба они, вернувшись домой, должны же будут проболтаться кому-нибудь об этой истории. Но что они расскажут? И понимают ли сами, что с ними случилось?

Летом мне пришлось слышать еще более трагическую беседу.

Оба собеседника говорили одно и то же, говорили томительно долго и не могли договориться и понять друг друга.

Они ехали в вагоне со мною, сидели напротив меня. Он — офицер, пожилой, озабоченный. Она — барышня.

Он занимал ее разговором о даче и деревне.

Собственно говоря, оба они внутренне говорили следующую фразу:

«Кто хочет летом отдохнуть, тот должен ехать в деревню, а кто хочет повеселиться, пусть живет на даче».

Но высказывали они эту простую мысль следующим приемом.

Офицер говорил:

— Ну, конечно, вы скажете, что природа и там вообще... А дачная жизнь — это все-таки... Разумеется...

— Многие любят ездить верхом, — отвечала барышня, смело смотря ему в глаза.

— А соседей, по большей части, мало. На даче сосед — пять минут ходьбы, а в де...

— Ловить рыбу очень занимательно, только не...

— ...деревне пять верст езды!

— ...неприятно снимать с крючка. Она мучится...

— Ну и, конечно, разные спектакли, туалеты...

— В деревне трудно достать режиссера.

— Ну, что там! Из Парижа специальные туалеты выписывают. Разве можно при таких условиях поправиться?

— Нужно пить молоко.

Офицер посмотрел на барышню подозрительно:

— Уж какое там молоко! Просто какая-то окись!

— Ах нет, у нас всегда чудесное молоко!

— Это из Петербурга-то в вагонах привозят чудесное? Признаюсь, вы меня удивляете.

Барышня обиделась.

— У нас имение в Смоленской губернии. При чем же тут Петербург?

— Тем стыднее! — отрезал офицер и развернул газету.

Барышня побледнела и долго смотрела на него страдающим взором.

Но все было кончено.

Вечером, когда он, сухо попрощавшись, вылез на станции, она что-то царапала в маленькой записной книжке.

Мне кажется, она писала:

«Мужчины — странные и прихотливые создания! Они любят молоко и рады возить его с собой всюду из Петербурга»...

А он, должно быть, рассказывал в это время товарищу:

— Ехала со мной славненькая барышня. Но около Тулы оказалась испорченною до мозга костей, как

и все современные девицы. Все бы им только наряжаться да веселиться. Пустые души!..

Если бы этот офицер и эта барышня не игнорировали школу великой Айседоры, может быть, их знакомство и не кончилось бы так пустоцветно.

Уж ноги, наверное, в конце-концов заставили бы их сговориться!

ФРАНЦУЗСКИЙ РОМАН

Осень для нас, несчастных неврастеников, время очень тяжелое!

Во-первых, темно, во-вторых, мокро, в-третьих, холодно.

Это — на улице. А дома — самое густое разочарование в жизни. Жизнь надувает человека именно осенью.

Каждую весну вы думаете:

«Вот летом сделают ремонт в квартире, и все пойдет иначе. Осенью поставлю диван углом, рояль поверну боком... Как можно будет весело разговаривать вот на этих двух креслах, под пальмой, вдвоем... Вдвоем, так уж все равно — с кем; ведь с осени все люди будут совсем другими. А если на старую оттоманку да положить подушку с голубыми разводами, так, пожалуй, и муж перестанет в клуб бегать.

За лето эти туманные надежды вырастают в уверенность, в начале сентября диван ставится углом, кресла боком, рояль хвостом вперед, а в конце сентября вы уже ясно понимаете, что жизнь вас обошла и надула кругом и заставила совершенно напрасно поднимать весь этот дым коромыслом. Все осталось по-прежнему, по-прошлогоднему, и прежние люди удивляются прошлогодними словами, зачем вы все перевернули вверх дном.

Тогда вы захотите забыться и пойдете в театр.

Не ходите в театр!

Там будут подходить к вам полузнакомые, давно забытые скверные физиономии и, если вы очень сухопары, скажут вам, что вы за лето еще осунулись; если толсты — что вас разнесло; если бледны, спросят, как

ваши делишки, и если стары, заметят вскользь, что лета дают себя знать.

Намекнут, попрекнут, лягнут и уйдут. Как пузырь на болоте. И вспомнить потом трудно. Было что-то скверное, а в чем дело, даже и не поймешь.

Нет, если у вас осенняя неврастения,— сидите дома и читайте французский роман. Это единственное, что может вас спасти.

Хороший французский роман среднего французского романиста.

Наш русский роман очень беспокоен. То у нас «опрокидонт», и «дьякон налил по третьей — выпили», то вдруг изменившая мужу попадья стала зыбиться огненными столбами. Всего этого неврастенику безусловно нельзя. Он либо повесится, либо переколотит всю посуду в доме.

Не таков французский роман. Он спокоен, длинен и хорош уже тем, что, при всей своей видимой простоте, ничего общего с действительной жизнью не имеет.

Французский роман, как и все на свете, тоже эволюционирует.

Прежде, лет двадцать тому назад, героине его было только сорок пять лет. «Прелестное дитя улыбалось цветам и птичкам» и изменяло своему мужу.

Десять лет спустя прелестное дитя, оставаясь приблизительно в том же возрасте, увлекало читателей тонкой психологией своего двенадцатого адюльтера. Муж вообще не считался уже ни за что. Разбирался только вопрос, имеет ли второй любовник столько же прав на ревность, как и одиннадцатый.

Теперь уже не то. Теперь берите шире. В новом французском романе героине или не более двенадцати лет (как «Claudine», «La petite Cady»[1] и прочим их суррогатам), или не менее пятидесяти.

Какова амплитуда! Каков размах!

Хуже всех живется во французском романе молодой девушке. Единственная роль, которая ей отводится скупым на девические радости романистом,— это делать к столу букеты и падать в обморок. Вообще же она скоро умирает или уезжает навеки к тетке в провинцию.

Любить ее нельзя.

---

[1] «Клодина», «Малютки Кади» *(фр.)*.

Она, конечно, неравнодушна к материнскому Густаву или Адольфу, но для него-то она не представляет ровно никакого интереса.

Молодая особа, которой, может быть, нет даже двадцати пяти лет, с хорошеньким личиком и коекаким приданым.

О нет! Il en a soupé![1]

И он бежит от нее к ее очаровательной матери, которая ждет его у окна, и «ее стройная шестидесятилетняя фигура изящно вырисовывается на фоне темной драпировки».

— Мадлена!

— Я твоя, но мне нужны деньги. Я люблю запах золота.

Он понимает ее. Он сам всю жизнь готов нюхать золото.

И вот они на пышном рауте (это все по роману Маргерита).

Там присутствует еще одна красавица, уже несколько отяжелевшая (лет, вероятно, этак под девяносто). И красота Мадлены выделяется еще ярче. Два банкира, увидев все это, тут же разорились. Запах золота, густой и пряный, опьянял присутствующих.

Мадлена торжествовала.

Там, вдали, в провинции, у тетки, дочь ее лежала в обмороке. А она улыбалась улыбкой Артемиды, которая к шестидесяти пяти годам только прочнее утвердилась в девственности своих очертаний.

Fin.

А вот роман другого полюса.

Героине двенадцать лет.

Чувствуется досада автора, что ей не три года. Но никак нельзя. Эти трехлетние девочки обыкновенно так еще плохо говорят, что толком и не разберешь, чтó им нужно.

Итак, ей двенадцать лет.

На совести ее несколько коротких романов и мимолетных связей. Она презирает мать за неумение пудрить затылок так, чтобы не было заметно.

Она первая пустила в употребление голубую краску для нижних век.

Она «уже» стыдится пошлой интрижки с молодым лакеем и любезна с ним только из выгоды: любит распить потихоньку бутылочку-другую шампанского.

---

[1] Надоело! *(фр.)*

Гувернантку держит в страхе. Вместо уроков географии ходит в гости к знакомой кокотке, что тем не менее ничуть не вредит ее образованию.

Если же она поступает в школу, то времяпрепровождение ее среди сверстниц принимает такой уклон, что романы с ее жизнеописанием строжайше воспрещаются к ввозу в Россию, Австрию, Германию, Италию, Румынию, Испанию и Португалию.

Но ее редко отдают в школу. К чему? Да и некогда.

Утром (она встает около двух, так как утомлена ночным кутежом) позирование у модного художника, затем несколько свиданий, поездка с подругами в кафешантан. Смотришь, и день прошел.

Дома достаточно ей переступить без няньки за порог детской, чтобы тотчас же несколько министров, болтающихся всегда в коридоре, сделали ей бесчестные предложения.

Со свойственным ей тактом она ставит министров на место.

— Через пятьдесят лет я буду вашей.

— Zut![1]

И через пятьдесят лет, уже в другом романе, где крепкий запах золота ест глаза, все министерства падают. Так пожелала она, стоя в коротеньких панталончиках на пороге своей детской.

О герое нового французского романа я не говорю ничего, потому что роль его вряд ли может утешить неврастеника-читателя.

Герой французского романа так неопытен и невинен, что самая чистая лилия кажется, по сравнению с ним, бурой свиньей.

Он всегда обманут, всегда несчастлив и всегда уважает волю своих родителей, живущих сельскими продуктами, где-то «там», среди ландышей и бузины.

Не будем же говорить о герое. Ну его!

Итак, господа осенние неврастеники, читайте французские романы.

Читайте и оставьте вашу мебель в покое. Пусть стоит, как стояла в прошлом году. Нужно немножко переждать.

Вот стукнет вам шестьдесят лет, и все переменится само собою. Фигура ваша зазмеится в амбразуре окна; четыре Гастона, давя друг друга, бросятся к вашим

---

[1] Черт возьми! *(фр.)*

ногам, и от терпкого запаха золота расчихается даже ваша старая, ко всему привычная кошка.

А министерства! С каким треском они рухнут, если только вы этого пожелаете. Вы, в своих коротеньких панталончиках!

Zut!

РЕКЛАМЫ

Обратили ли вы внимание, как составляются новые рекламы?

С каждым днем их тон делается серьезнее и внушительнее. Где прежде предлагалось, там теперь требуется. Где прежде советовалось, там теперь внушается.

Писали так:

«Обращаем внимание почтеннейших покупателей на нашу сельдь нежного засола».

Теперь:

«Всегда и всюду требуйте нашу нежную селедку!»

И чувствуется, что завтра будет:

«Эй ты! Каждое утро, как глаза продрал, беги за нашей селедкой».

Для нервного и впечатлительного человека это — отрава, потому что не может он не воспринимать этих приказаний, этих окриков, которые сыплются на него на каждом шагу.

Газеты, вывески, объявления на улицах — все это дергает, кричит, требует и приказывает.

Проснулись вы утром после тусклой малосонной петербургской ночи, берете в руки газету, и сразу на беззащитную и не устоявшуюся душу получается строгий приказ:

«Купите! Купите! Купите! Не теряя ни минуты, кирпичи братьев Сигаевых!»

Вам не нужно кирпичей. И что вам с ними делать в маленькой, тесной квартирке? Вас выгонят на улицу, если вы натащите в комнаты всякой дряни. Все это вы понимаете, но приказ получен, и сколько душевной силы нужно потратить на то, чтобы не вскочить с постели и не ринуться за окаянным кирпичом!

Но вот вы справились со своей непосредственностью и лежите несколько минут разбитый и утираете на лбу холодный пот.

Открыли глаза:

«Требуйте всюду нашу подпись красными чернилами: Беркензон и сын!»

Вы нервно звоните и кричите испуганной горничной:

— Беркензон и сын! Живо! И чтоб красными чернилами! Знаю я вас!..

А глаза читают:

«Прежде чем жить дальше, испробуйте наш цветочный одеколон, двенадцать тысяч запахов».

«Двенадцать тысяч запахов! — ужасается ваш утомленный рассудок.— Сколько на это потребуется времени! Придется бросить все дела и подать в отставку».

Вам грозит нищета и горькая старость. Но долг прежде всего. Нельзя жить дальше, пока не перепробуешь двенадцать тысяч запахов цветочного одеколона.

Вы уже уступили раз. Вы уступили Беркензону с сыном, и теперь нет для вас препон и преграды.

Нахлынули на вас братья Сигаевы, вынырнула откуда-то вчерашняя сельдь нежного засола и кофе «Аппетит», который нужно требовать у всех интеллигентных людей нашего века, и ножницы простейшей конструкции, необходимые для каждой честной семьи трудящегося класса, и фуражка с «любой кокардой», которую нужно выписать из Варшавы, не «откладывая в долгий ящик», и самоучитель на балалайке, который нужно сегодня же купить во всех книжных и прочих магазинах, потому что (о, ужас!) запас истощается, и кошелек со штемпелем, который можно только на этой неделе купить за двадцать четыре копейки, а пропустите срок — и всего вашего состояния не хватит, чтобы раздобыть эту, необходимую каждому мыслящему человеку, вещицу.

Вы вскакиваете и как угорелый вылетаете из дому. Каждая минута дорога!

Начинаете с кирпичей, кончаете профессором Бехтеревым, который, уступая горячим просьбам ваших родных, соглашается посадить вас в изолятор.

Стены изолятора обиты мягким войлоком, и, колотясь о них головой, вы не причиняете себе серьезных увечий.

У меня сильный характер, и я долго боролась с опасными чарами рекламы. Но все-таки они сыграли в моей жизни очень печальную роль.

Дело было вот как.

Однажды утром проснулась я в каком-то странном, тревожном настроении. Похоже было на то, словно

я не исполнила чего-то нужного или позабыла о чем-то чрезвычайно важном.

Старалась вспомнить,— не могу.

Тревога не проходит, а все разрастается, окрашивает собою все разговоры, все книги, весь день.

Ничего не могу делать, ничего не слышу из того, что мне говорят. Вспоминаю мучительно и не могу вспомнить.

Срочная работа не выполнена, и к тревоге присоединяется тупое недовольство собою и какая-то безнадежность.

Хочется вылить это настроение в какую-нибудь реальную гадость, и я говорю прислуге:

— Мне кажется, Клаша, что вы что-то забыли. Это очень нехорошо. Вы видите, что мне некогда, и нарочно все забываете.

Я знаю, что нарочно забыть нельзя, и знаю, что она знает, что я это знаю. Кроме того, я лежу на диване и вожу пальцем по рисунку обоев; занятие не особенно необходимое, и слово «некогда» звучит при такой обстановке особенно скверно.

Но этого-то мне и надо. Мне от этого легче.

День идет скучный, рыхлый. Все неинтересно, все не нужно, все только мешает вспомнить.

В пять часов отчаяние выгоняет меня на улицу и заставляет купить туфли совсем не того цвета, который был нужен.

Вечером в театре. Так тяжело!

Пьеса кажется пошлой и ненужной. Актеры — дармоедами, которые не хотят работать.

Мечтается уйти, затвориться в пустыне и, отбросив все бранное, думать, думать, пока не вспомнится то великое, что забыто и мучит.

За ужином отчаяние борется с холодным ростбифом и одолевает его. Я есть не могу. Я встаю и говорю своим друзьям:

— Стыдно! Вы заглушаете себя этой пошлостью (жест в сторону ростбифа), чтобы не вспоминать о главном.

И я ушла.

Но день еще не был кончен. Я села к столу и написала целый ряд скверных писем и велела тотчас же отослать их.

Результаты этой корреспонденции я ощущаю еще и теперь и, вероятно, не изглажу их за всю жизнь!..

В постели я горько плакала.

За один день опустошилась вся моя жизнь. Друзья поняли, насколько нравственно я выше их, и никогда не простят мне этого. Все, с кем я сталкивалась в этот великий день, составили обо мне определенное непоколебимое мнение. А почта везет во все концы света мои скверные, то есть искренние и гордые письма.

Моя жизнь пуста, и я одинока. Но это все равно. Только бы вспомнить.

Ах! Только бы вспомнить то важное, необходимое, нужное, единственное мое!

И вот я уже засыпала, усталая и печальная, как вдруг словно золотая проволочка просверлила темную безнадежность моей мысли. Я вспомнила.

Я вспомнила то, что мучило меня, что я забыла, во имя чего пожертвовала всем, к чему тянулась и за чем готова была идти, как за путеводной звездой к новой прекрасной жизни.

Это было объявление, прочтенное мною во вчерашней газете.

Испуганная, подавленная, сидела я на постели и, глядя в ночную темноту, повторяла его от слова до слова. Я вспомнила все. И забуду ли когда-нибудь!

«Не забывайте никогда, что белье монополь — самое гигиеничное, потому что не требует стирки».

Вот!

АЭРОДРОМ

Петербург ходит, задрав голову кверху.

Приезжий иностранец, наверное, подумал бы:

«Какая гордая нация».

Или:

«Не ищут ли они там, за звездами, чтоб погибнуть?»

Э, нет! Не ищут! Просто знают, что французы летать приехали,— ну, и надеются, не залетят ли, мол, сюда на улицу, чтоб на даровщинку поглазеть.

Каждый день, начиная с двух часов, огромная толпа бежит, едет, идет и ползет по направлению к аэродрому. Полеты начинаются (если только начинаются) в пять, но многие любят прийти с запасцем; часы

в России считаются машинкой ненадежной и шаловливой и любят подурачить честной народ. Иногда посмотришь: на Николаевском вокзале стрелка показывает десять часов утра, а на соседней колокольне восемь вечера.

На аэродроме веселятся как умеют: ругают буфет, ругают ветер, ругают солнце, ругают дождь, облака, холод, жару, воздух — ругают всю природу во всех ее атмосферических проявлениях и уныло смотрят на дощатые ангары, около которых суетятся тонконогие французы и избранная аэроклубом публика.

Выдвинут из ангара длинную зыбкую машину, похожую не то на сеялку, не то на веялку, потрещат винтом, поссорятся и снова тащат на место. А публика бежит из буфета и, ругая бутерброды, спрашивает, кто полетел.

Посреди круга — палка с флагом.

Долго мучились, придумывая цвета. За границей, если полет отменяется, выкидывают красный. У нас — полиция запретила.

— Это еще что за марсельеза!

Черный — тоже нельзя.

— Террориста радовать? А?

И желтый неудобно:

— Кто его знает, что он там значит!

Решили остановиться на цвете bleu gendarme [1]. Успокоительный цвет. Состоится полет, выкидывают bleu gendarme посветлее. Не состоится — потемнее.

Смотрит публика и ничего не понимает. Пойди растолкуй им разницу между голубым и синим.

Но вот завертелся винт, зашипел, загудел. Пыль столбом. Еще минутка — и полетела сеялка-веялка.

Смотрят, рты разинули. Некоторые переглядываются, улыбаясь, точно увидели, как рыба гуляет на хвосте.

Минут через десять удивление проходит, и начинается критика:

— Очень это еще все несовершенно!

— Летают, летают, даже надоело!

— Я, знаете, хочу потребовать деньги обратно.

На полянке, где ждут извозчики и стоит бесплатная публика, критики еще строже.

— Видал, как энтот полетел?

---

[1] Синий (голубой) жандармский *(фр.)*.

— Есть чего смотреть-то! Я думала, и вправду машина полетит. А он взял четыре палки, натянул холстину, да и все тут. Эдак-то и каждый полетит.

— И ты полетишь?

— Мне нельзя: я при лошади.

— А кабы не лошадь, так полетел бы?

— Отвяжись ты, окаянный ты человек!

— А что, Григорий, видал, как люди нынче летать стали?

— Лю-у-ди? Где ж оны летают?

— Как где? Да вон, сейчас летел.

— Барин летел, а ты говоришь люди. Чего барину не полететь,— народ обеспеченный.

— Летают? А пусть себе летают. Мне-то что!

Волнуются и спрашивают о мнении больше интеллигенты. Мужики и извозчики чрезвычайно равнодушны.

Посмотрит сонными глазами на парящего Фармана и сплюнет с таким видом, точно у себя в Замякишне и не такие штуки видывал.

В середину круга — к ангарам, аппаратам и тонконогим французам — попасть очень трудно.

Нужна особая протекция.

Один инженер, набравшись храбрости, рискнул и перешел заколдованную черту.

Не успел он сделать десяти шагов, как к нему подошел какой-то полный господин, иностранного покроя, очевидно, один из участников воздушного дела, и, вежливо поклонившись, что-то спросил по-немецки.

Инженер этого языка не знал и ответил по-французски, что очень просит разрешить ему посмотреть поближе машины, так как он сам специалист и очень авиатикой интересуется.

Но полный немец не понимал по-французски и снова сказал что-то по-немецки и грустно покачал головой.

Инженер понял, что немец и рад бы был пропустить его, но не может, так как это будет против правил. Он вздохнул, извинился, развел руками и вернулся на свое место. Немец тоже исчез.

Когда полет окончился и публика стала расходиться, инженер снова увидел своего немца. Тот сидел на автомобиле и ласково указывал свободное место около себя, предлагая подвезти.

«Какой любезный народ эти иностранцы»,— подумал инженер и с радостью воспользовался предложе-

нием, тем более что при разъезде с аэродрома очень трудно разыскать своего извозчика. Все они, позабыв свой номер и свое имя, пялят глаза на небо.

Разговаривая больше жестами и любезными улыбками, инженер и немец делились впечатлениями дня. Русские вообще как-то слащаво жентильничают с иностранцами, в особенности если говорят на чужом языке, и непременно скажут «pardon» там, где по-русски привычно и верно звучит: «О, чтоб тебя!»

— Хе-хе! — радушничал немец, устраивая инженера поудобнее.

— Хе-хе! — деликатничал инженер, усаживаясь на самый краешек.

Так ехали они умиленно, весело и приятно, как вдруг на повороте немец высунулся вперед и крикнул шоферу:

— Забирай левее, братец, там будет посвободнее, а то, видишь сам, какая давка, — ни тпру, ни ну!

Так и отчеканил на чистейшем русском языке.

Инженер чуть не выскочил:

— Да ведь вы русский, черт вас...

— Господи! Да ведь и вы! Чего ж вы дурака ломали! Я думал, что вы из самых главных французов! А вы...

— Так чего же вы меня из круга прогнали? — возмущался инженер.

— Я вас? Господь с вами! Это вы меня, а не я вас. Я подошел и вежливенько попросил позволения остаться, а вы все только руками разводили. И рад бы, мол, да не имею права. А я еще подумал: «Какой симпатичный, кабы не так строго, он бы меня пустил». Эх вы!

— И вы тоже хороши! Обрадовались, что с французом на автомобиле едете!

— А вы не рады были, что вас воздушный немец везет! Эх вы!

— И как же это вы не догадались?

— А вы отчего не догадались? Нашли тоже француза!

И долго и горько они укоряли друг друга.

Вот какая печальная история разыгралась у нас на аэродроме.

Невольно возникает вопрос:

— Полезно ли воздухоплавание?

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

Каких только лекций не читали на белом свете!

И о богостроительстве, и о Шантеклере в жизни, и о Вербицкой в кулинарном искусстве, и о вреде самоубийства среди детей школьного возраста, и о туберкулине, и о женском вопросе.

Очень превосходный оратор, говоря о прогрессе женского движения, воскликнул:

— Женщина всюду и всюду вытесняет мужчину! Женщина и в школе, и в академии, женщина и в родильных домах!

Речь эта вызвала немало волнений среди наших суфражисток, и они подняли даже вопрос об уступке своих прав мужчине касательно последнего пункта.

Многие удивлялись и в печати даже высмеивали это обилие лекций.

— Для кого,—говорили,—все это? Кому нужно мнение какого-нибудь Семена Семеновича о Шопене или об эротизме у статских советников?

Другие отстаивали идею лекторства, находили, что это приучает людей шевелить мозгами и рассуждать логически.

Вот об этом-то последнем пункте мне и хочется поговорить пообстоятельнее.

Ну, не глупо ли приучать людей рассуждать логически, когда теперь уже достоверно дознано, что ни одно следствие из своей причины вытекать не может?

Прежде — в былые, правильные времена — вытекало. А теперь — кончено дело.

Поэтому человек, правильно рассуждающий и на основании таковых рассуждений поступающий, вечно будет путаться во всей этой неразберихе, отыскивая начало начал и концы концов.

Жить на свете вообще трудно, а за последнее время, когда следствие перестало вытекать из своих причин и причины вместо своих следствий выводят, точно ворона кукушечьи яйца, нечто совсем иной породы, жизнь стала мучительной бестолочью.

Ну, чего проще: вы, уходя из дому, бросаете взгляд в окошко. Видите, что идет дождь.

Ваша культурная голова начинает свою логическую работу.

Она думает:

а) Идет дождь.

б) От дождя спасает зонтик.

Ergo, возьму свой зонтик и спасусь от дождя.

Ха-ха! Это вы так думаете. А на самом деле выйдет, что вы забудете ваш зонтик в Гостином дворе и потом четыре часа подряд будете бегать под проливным дождем из магазина в магазин, спрашивая: не здесь ли вы его оставили? Потом простудитесь и, умирая, пролепечете детям:

— Вместо наследства, дорогие мои, оставляю вам хороший совет: никогда в дождливую погоду не ходите под зонтиком.

Конечно, потом про вас будут распускать слухи, что перед смертью вы окончательно свихнулись, но вы-то будете знать, что были правы.

Бойтесь правильно рассуждать!

Одна моя знакомая, женщина семейная, пожилая и спокойная, которой ничто не мешало рассуждать правильно, чуть не сошла с ума, видя, к каким результатам это приводит.

У женщины этой жила в Полтаве тетка, обладающая небольшим, но доходным и приятным хуторком «Чарнобульбы».

Как-то вышеописанная рассудительная женщина, всю жизнь точившая зубы на теткины «Чарнобульбы», сказала мужу следующую, вполне правильную в смысле логических требований, фразу:

— а) Старухи любят почтительных родственников.

— б) Напишу тетке Александре почтительное письмо.

— Ergo, она меня и полюбит.

Муж одобрил рассудительную женщину и сказал:

— Напиши ей что-нибудь интересное. Старухам не нравится, когда все только о здоровье да о делах. Опиши ей, как мы устраивали пикник и готовили польский бигос под открытым небом.

Сказано — сделано.

Почтительное письмо с описанием изготовления польского бигоса отослано.

Чего бы, кажется, теперь ожидать?

Ожидать взрыва теткиной любви.

А знаете, что из этого вышло?

Вышло то, что в Костромской губернии, в Кологривском уезде баба-кухарка больно-пребольно выпорола сестриного мальчишку.

Вот и разберись тут. Вот и ищите нити! Письмо почтительного содержания в Полтаве, а парня порют в Костроме!

Ну, таких ли результатов добивалась рассудительная женщина, когда так правильно, по пунктам, конструировала свою мысль? Ну, не страшно ли после этого жить на свете?

Вот вы, может быть, теперь читаете эту мистическую повесть в Ялте, а за этот самый ваш поступок где-нибудь в Архангельске сельский учитель объелся тухлой рыбой!

Не удивляйтесь! Раз следствия не вытекают из своих причин, а причины не рождают своих следствий, а, напротив того, совершенно посторонние, то почему бы и не объесться сельскому учителю?

Однако хочу рассказать дальше про рассудительную женщину.

Когда тетка получила ее письмо, это последнее произвело на нее самое приятное впечатление. И почувствовала тетка, что нужно что-то сделать. Она была стара и от природы глупа, поэтому и не догадалась, что нужно написать племяннице и завещать ей «Чарнобульбы».

А так как душа требовала какого-то подвига, то тетка принялась писать своей старой приятельнице в Костромскую губернию и изливать душу насчет того, как интересно готовить бигос под открытым небом. Так старуха отвела свою душу и зажила в прежнем спокойствии.

Приятельница же ее, прочтя письмо за обедом, сильно рассердилась на кухарку за пережаренного гуся.

— Вон,— кричала она,— люди, которые самые несчастные и даже крова над головой не имеют, ухитряются стряпать под открытым небом! А вы, мазурики, только хозяйское добро растатыриваете!

Кухарка, женщина нервная, обиды снести не могла и, поймав на огороде лущившего без спросу горох сестрина мальчишку, тут же его и выпорола!

Какова историйка!

Но это не все.

Как бы для того, чтобы доказать самой себе, какая она нелогичная дура, судьба устроила следующую штуку.

Рассудительная женщина имела еще одну тетку с мужниной стороны, Таисию, с сельцом «Лисьи ноги».

Вот и случилось так, что почтительная племянница забыла, которой из теток написала она почтительное письмо про бигос.

Муж, человек занятой и рассеянный, стал уверять, что Таисии с «Лисьими ногами», и посоветовал написать такое же и Александре. Не ломать же себе голову над сюжетами! На всех теток разнообразия не напасешься.

Сказано — сделано. Отослано снова в «Чарнобульбы» письмо про пикник с бигосом.

Казалось бы, одинаковая причина должна породить и одинаковое следствие. Вы думаете, что костромского парня опять выпороли?

Ха-ха! Ничуть не бывало! Это вы так думаете, а на самом деле, благодаря тому письму, совершенно посторонний старик подарил своему кучеру пятьсот рублей.

Логично?

Получила тетка Александра второе письмо про пикник и обиделась.

— И все-то у них дурь в голове! Пикники да микники! Нет, чтобы о старухином здоровье толком порасспросить.

Тетка знала, что такого и слова нет — «микники»,— но, как старуха богатая, позволяла себе порою много лишнего.

Присутствовавший при чтении письма сосед, старик одинокий, вернувшись домой, позвал преданного ему кучера и сказал:

— Я тебе Вавила все состояние завещаю со временем, а у меня, в банке, пятьсот рублей чистоганом да домишко. Только ты меня береги и родственников, буде такие объявятся, гони со двора метлой. Потому у них только на уме, что пикники да микники. Еще отравят.

И кучер получил 500 рублей.

Я могла бы привести еще несколько примеров в доказательство истинности моего открытия, но мне кажется, что достаточно и вышеприведенной истории, чтобы волосы ваши поднялись дыбом.

Я и сама в ужасе и не знаю, как быть дальше.

На всякий случай буду жить спустя рукава. И вам строго завещаю:

Режьте всегда, не примеривши ни одного раза, вместо прежних семи.

Отвечайте всегда не подумавши.
Никогда не смотрите себе под ноги.
Ну, с Богом! Начинаем!

С НЕЗАПАМЯТНЫХ ВРЕМЕН

В городе Малые Суслы уже несколько лет была мужская прогимназия, но влачила она самое жалкое существование.

Начать с того, что у нее не было своего собственного здания, а приходилось разные классы помещать в разных местах. Приготовишки, например, ютились в земской управе, а второй класс занесло за огороды к самому монастырю, так что учителя бегали от урока к уроку, высуня язык и подвернув штаны, чем и побуждали врагов просвещения к писанию доносов на несолидность своего облика.

Вообще, трудно было.

Оборудовали физический кабинет. Купили гремучую змею в спирту, модель уха в разрезе, лейденскую банку, колбу и изображение двуутробки натуральной величины в красках. Городской голова уступил горницу даром. Только что устроились, не минуло и недели, как все пошло прахом. Головиный пасынок, известный драчун и пьяница, выпил весь спирт из-под змеи и, захмелев, тут же въехал кулаком в ухо в разрезе. А головиха, отсылая гостинцы к сестре в Кострому, наложила по ошибке соленых груздей прямо в лейденскую банку, да так и отправила.

Кабинет был разорен — на одной двуутробке далеко не уедешь! Стали просить разрешение строить собственное здание. После долгих хлопот разрешение это наконец было получено.

Город ликовал. Предводитель дворянства закатил обед с кулебякой, а председатель управы, меценат и златоуст, вызвался сказать речь.

Все замерли, когда он встал с места и вдохновенно поднял вверх указательный палец.

— Господа! — начал он.— Еще с незапамятных времен, когда земной шар представлял из себя беспорядочное обиталище хищных зверей и растений и был, вообще, совершенно пустынный и круглый, когда нашей великой и славной матушки-Руси еще не было и в зачатке... То есть как это так не было и в зачатке? —

вдруг остановил он себя довольно строго.— Русь была! Само собою разумеется, что была, но была она совсем не в таком виде, в каком мы наблюдаем и прославляем ее теперь и когда поражаются ее ширью многие иностранцы, а в совершенно другом! Еще татарские становища рыскали по ее многострадальному лику, производя свое иго и налагая дань... То есть как это татары? —уличил он себя снова.— При чем тут татары? Не татары здесь были, а, скажем, Иоанн Грозный, вот кто! Да и не Иоанн Грозный, а вернее, что Петр Великий. Могучий преобразователь, который, прорубая окно в Европу, тем не менее не забывал и родной своей страны, ежечасно проливая за нее свою кровь и слезы. Много недовольных было, и многим не нравились великие реформы, которые могущественный монарх... Да и не при Петре это вовсе было. Гм... Вовсе даже не при Петре! Было это при Екатерине Великой. При императрице Екатерине Великой. Вот когда! Императрица Екатерина Великая была, как известно, Ангальт-Цербтского происхождения. Вступив на престол своего нового отечества, она поклялась посвятить всю свою жизнь благу народному и окружила себя достойными соправителями. Одним взмахом пера прекратив взятки...

...Да и не при Екатерине вовсе это было. Зубов уж был из изгнания возвращен... Какая же тут Екатерина! Александр Благословенный, вот кто! При Александре Павловиче, в то время как на западе... Позвольте! А как же турецкая-то война? Турецкая-то война при Николае была! Вот когда! Стало быть, еще при Николае I, когда Россия принуждена была... Да и не при Николае I это было, а при Александре Втором. Впрочем, как же это при Александре Втором? Позвольте, господа, попечитель-то когда к нам приезжал?

— Да в прошлом году! В прошлом году постом приезжал,— хором отвечали слушатели.

— В прошлом году? Так вот, стало быть, еще когда! Еще, стало быть, в прошлом году возникла у нас мысль выстроить собственное здание для прогимназии. И вот, значит, теперь получили мы разрешение. Ура-а!

— Урр-аа! — восторженно подхватили все и кинулись качать златоуста.

А в самом конце стола, примостившись боком между дьяконом и головиным пьяницей, сидел молодой

учитель чистописания. Он не смел качать председателя управы. Для этого он был слишком мелкая сошка и не имел даже крахмального белья.

Но он смотрел, как все лобызают златоуста и чокаются с ним, поливая шампанским его приятный круглый живот в белом пике, и весь горел и томился тоскливым вопросом:

— Отчего так? Отчего одним и слава, и талант? Отчего одним все, а другим ничего?

ПРАЧЕЧНАЯ

В городе еще душно.

Окна весь день открыты настежь, и весь наш огромный шестиэтажный дом живет одной общей жизнью.

Тайн никаких.

Если у кухарки из третьего этажа пережарилась говядина, то весь дом участвует в этом происшествии, по крайней мере, тремя чувствами. Слышит визги разгневанной барыни, обоняет кухонный чад и видит, как кухарка, высунувшись в окно, грозит кулаком безответным небесам.

Но все на свете имеет свой порядок и свое место.

Первое, что вы слышите,— это вопль из прачечной:

Мамашенька руга-а-ла-а-а!
Чи-иво я так грустна-а-а!

Вы не видите поющей, но и так знаете: петь должна рыжая прачка, потому что только из рыжего веснушчатого носа могут выходить на свет Божий такие звуки — и-и.

Это первое впечатление остается и подновляется весь день. Вся остальная жизнь проходит на фоне этого пения и окрашивается им. Жизнь — такая маленькая и урывчатая, а пение сплошное и бесконечное.

Конечно, бывают за день и более свежие впечатления, заглушающие прачку. Но надолго ли!

В восемь утра приходит во двор баба и звонко и долго убеждает нас, что слива — ягода.

— Слива — ягода, ягода!

Распространив эти заведомо ложные слухи, она уступает место какой-то ерунде с «ту-уфлями, чулками и нитками». А прачка все поет про мамашеньку. Между тем события назревают. Жизнь не ждет.

В третьем этаже кто-то выпил баринов коньяк, и вопли невинно заподозренных надрывают сердце. Только к вечеру выясняется, что коньяк выпился сам собой.

В два часа дня господин из бельэтажа начинает подозревать свою жену в неверности. Подозревает он ее вплоть до обеда, шумно, бурно, открыто. Излагает свои мотивы просто и ясно. Может быть, он вел бы себя иначе, если б прачка не пела в это время:

Там играла луна сы перекатнай валной-й-й
И шевелила та-ску ва груде маладой-й-й.

Теперь ее можно видеть еще лучше. Да, она рыжая, курносая. Она широко расставляет руки с красными локтями и раздутыми красными суставами пальцев. С них каплет мыльная пена.

Ва груде ма-ла-дой-й-й!

Заходит во двор татарин. Грустно окидывает взглядом все шесть этажей.

— Халат! Халат!

И действительно, халат. Весь дом похож на халат, старый, из разношерстных заплат. Эх, татарин, татарин, зачем проворонил и свое и наше счастье! Трудно нам без тебя. И где-то твое родное игушко?

Дворник с пылом Дмитрия Донского гонит татарина со двора.

...И над рекой-й-й
Вьется мрамер морской-й-й

В шесть часов вечера в шестом этаже вернувшийся со службы чиновник начинает воспитывать своих шестерых детей. (Очевидно, цифра шесть играет в его жизни фатальную роль.)

— Кто разбил блюдечко? Отвечай! Ты должен всегда говорить правду отцу! Правду, правду отвечай!

И, внушив это, тут же показывает всю несостоятельность своей теории. Все шесть этажей слышат вопли одного из шести младенцев, сказавшего правду, и многие впечатлительные люди дают зарок — не открывать свою душу родителям.

Там играла луна
Сы перека-ты-най валной-й-й.

Может быть, если б луна не играла, младенец не вопил бы так отчаянно?

В восемь часов в подвале бьют сапожникова мальчишку.

В девятом — последний всплеск «перека-ты-ной валны», и в «груде молодой» замирают звуки до следующего утра.

Но это не беда: в девять — на крышу вылезают кошки и оплакивают погибшую любовь минувшего лета теми же звуками.

Уау-ой-й-й!

Едем в кафешантан! Едем все, сколько нас здесь есть. Все, слышавшие прачку и боящиеся услышать кошку.

В кафешантане будет хорошо. Застучат каблуки испанок, вспыхнут огоньки бриллиантов и обольют гибкие шеи, тонкие нежные руки. Музыка скверная, развратная, как перигорский трюфель, взращенный на перегное, но она выдумана и сделана искусно и специально. И уж до такой степени далека от прачки и кошки, что и ассоциаций никаких возникнуть не может. А ведь этого и надо. Только этого,— чтоб подальше от них хоть на два-три часа.

Программы новые и очень интересные. Обещаны, между прочим, какие-то «любимицы публики, русские певицы нового жанра — Пелагея Егоровна Назарова и Степанида Трофимовна Пахомова».

Интересно.

Ну вот, приехали. Сели.

Защелкали испанские каблучки, вспыхнули огоньки бриллиантов, промелькнул бешеный вихрь разноцветных воланов.

Наконец, выкинули № 12-й. Все оживились,— это и был «новый жанр».

На сцену вышла женщина с круглым носом и распаленным ртом. Над скуластым лицом, словно для смеха, виднелась прическа Клео-де-Мерод.

Женщина расставила ширококостные руки с красными локтями и суставами пальцев и, задрав нос кверху, загнусила:

Посмотри над рекой-й-й,
Виется мрамер морской-й-й!

Уж не галлюцинация ли это?

Какой скандал! Как могла залезть сюда прачка? Кто ее впустил?

...А ва груде молодой-й-й!

Прачка чувствовала себя как дома. Вздыхала, сопела, изредка, по вкоренившейся привычке, вытирала руки об юбку и гнусила от всей души.

Я все ждала, когда ее наконец выведут. Но ей везло. Ее не вывели, а, напротив того, попросили погнусить еще немножечко. И она спела о том, как убили «прилесную чайку», вдобавок совершенно невинную. Музыка соответствовала сюжету, и даже аккомпаниатор играл как заправский убийца, потерявший стыд и совесть.

— Браво, Назарова, браво! — кричала публика.

И прачка спела на бис трагическую историю о том, как парень надул девку, не заплатив ей обещанную полтину.

И только знает рожь высокая...

сколько девка понесла убытка. И «Гей ты, доля женская».

И опять вызовы без конца, и новая трагедия, но уже с приплясом, о том, как опять «примяли рожь высокую», и опять кто-то кого-то обсчитал.

Еще не смолкли аплодисменты расчувствовавшейся публики, как на сцену ухарски выплыла вторая прачка и, шмыгнув носом, призадумалась. Очевидно, ей строго было внушено перед публикой в руку не сморкаться, и она теперь не знала, как и быть.

Но, отогнав тяжелую мысль прочь, она запела.

В противовес лирической Пелагее, репертуар Степаниды оказался оттенка героического:

Гей, чаво кобылы мчатся,
Тешут душу ямщику!

Седок понукает ямщика:

Знать, не знал седок угрюмый,
Что ямщик давно влюблен...

На бис — снова ямщицкие амуры. И так раз шесть подряд.

А из-за кулис уже выглядывает третья баба и дожевывает что-то, утирая локтем подбородок.

Вот и она выскочила:

Тпру! Ямщик, что кони стали.
Парень девку загубил...

Прачечная орудовала в полном составе. Мы уходим, медленно пробираясь к выходу.

А четвертая прачка надрывается:

Во вчерашнем лесу
Отдалась, задалась...

Вот мы уже около двери. Последнее усилие...

Эх, ямщик, ямщик бесстыжий!

Мы спасены. Сидим за столиком, пьем холодный нарзан. На открытой сцене танцуют дрессированные слоны. Они не похожи на прачку, и мы смотрим на них, не отрывая глаз.

За соседним столиком разговор.

Толстый человек говорит вразумительно:

— Не нравится-а? Назарова-а? Нужно, батенька, русскую жилу иметь, чтоб понимать. А у вас и фамилия от немецкого корня. Да уж нечего! Да уж так! Вот вы теперь смотрите, как энтот, как его, крокодил, что ли, польку танцует. А разве его можно сравнить, скажем, с русским пением? Нельзя! Потому он просто зверь из физиологического сада. И баста. А Назарова — она просто прачкой была, а вон как нынче. А почему?.. А так!.. Как так? А просто так. Вот как!

НЕДЕЛИКАТНОСТИ

Журфикс был в полном разгаре.

Молодой моряк — душа общества — декламировал, импровизировал, читал Бальмонта под собственную музыку:

«Я в мир-р пришел, чтоб видеть солн-н-це!»

Вдохновенно ворочал круглыми глазами и под конец прочел свое собственное стихотворение, до такой степени похожее на бальмонтовское, что барышни даже не разобрали, которое чье.

Потом играли в рулетку, потом ужинали.

За ужином толстый полковник рассказывал горбуновские сценки, путая и перевирая. Слушатели доверчиво смеялись.

— Пузырь... Он те полетит... Накачали воздуху, так и полетит...

Мой сосед, моряк, душа общества, вдруг загрустил...

— Все это было когда-то так! Теперь не то!

— О чем вы!

— Не то теперь! Теперь они не скажут «пузырь» или «водоглаз». Скорее мы с вами скажем. Сегодня утром, как раз после того, как я подобрал музыку к «Полевой ромашке», пришел ко мне матрос по делу. Я, нужно вам признаться, специалист по беспроволочному... как это называется... гм... да, по беспроволочному телеграфу. У меня, понимаете, звучат в душе: «Я зовусь по-ле-вая ромашка!», а матрос так и жарит: «переменный ток когерер, самоиндукция...» Стою как дурак!

— Чего же вы так? — удивляюсь я.— Ведь вы специалист?

Душа общества криво усмехается.

— На днях еду в трамвае,— вполголоса, точно на исповеди, изливает он,— вдруг остановились, ни туда, ни назад. Я и говорю вагоновожатому: «Видно, братец, что-то в машине заело». А он чуть-чуть отвернулся и говорит: «Нет, это просто мотор замкнулся на себя». И чувствую, что, не будь ему так за меня стыдно, он бы тут же пустился объяснять, как мотор замыкается.

Толстый полковник рассказывал анекдот, как мужик хотел послать сапоги по телеграфу.

— Да, да! — приговаривал моряк.— Это мы с вами пошлем! А мужик не пошлет. Мужик вам скажет, какой аппарат Морзе, а какой не Морзе. Говорю недавно своим матросам: «Вот, братцы, теперь в беспроволочной телеграфии введена этакая особенная, как ее... дуга, очень сильная, так что можно будет далеко телеграфировать». А матросик-монтер мне в ответ: «Это вы про дугу Паульсена? Действительно, благодаря монохроматичности переменного поля, допустима более точная синтонизация на основное колебание».

Верите ли, у меня было такое чувство, как будто он меня при всех колотит. И так, и этак, и перевернет... Да вдруг как крикну: «Мо-олчать!» Повернулся и ушел. Ужасно глупо! Ужасно!

Но что же мне оставалось, когда я ему: «этакая... как ее... дуга», а он переменного Паульсена или как там его... Прямо неделикатно.

— Вы это серьезно?

— Как вам сказать? Понимаю, что глупо, а ничего не могу поделать!

Он задумался и еще раз сказал про себя:

— Неделикатно!

После ужина опять сели играть в рулетку. Я быстро проигралась и отправилась домой.

В переднюю проводила меня дочь хозяйки дома, молоденькая барышня, прошлой весной окончившая институт.

Она загадочно улыбалась, лукаво щурила глаза и, наконец, шепнула:

— Вы не скажете маме? Дайте слово, что не скажете.

— Ну?

— Нет, вы дайте слово!

Ей так хотелось в чем-то признаться, что даже в горле у нее пищало.

— Ну, все равно, я вам верю. Знаете, мы вчера какую штуку выкинули? Вы прямо не поверите? Я, Лиля Корина, ее брат и Владимир Андреевич отправились потихоньку в кафешантан. Мама думает, что я была у Лилии, а Лилина мама думает, что Лиля была у меня. Всех надули!

— Ну, что же, весело было?

— Ах! Вы себе представить не можете! Там танцевали «Ой-ра». Это так неприлично!

И снова у нее в горле само собою пискнуло от приятного волнения.

— Непременно поедем еще раз. А Владимир Андреич был совершенно пьян! Ужасно! Только, ради Бога, маме не говорите. На будущей неделе опять поедем. Ах, как это все неприлично!

В передней молоденькая горничная надевала мне галоши.

— Что это вы, Глаша, какая сегодня завитая? — спросила я.

— Я вчера со двора ходила.

— Весело было?

— Да, очень интересно было,— отвечала горничная с достоинством.— Собралось человек пятнадцать. Играли в суд. Один молодой человек был прокурором, одна девушка — защитником. Судьи были, присяжные,— все как следует. Очень интересно.

Я вспомнила, как зимой предлагал кто-то устроить эту игру в одном из кабаре и как большинством голосов затея была отвергнута. Кричали, что скучно, что люди собираются отдохнуть и повеселиться, а не голову ломать над юридическими хитростями.

— От вас все разбегутся в карточные комнаты!

— А действительно тоска! — соглашалась и я с другими.

— Скажите, Глаша,— робко спросила я.— Вам не скучно было?

— Что вы, барыня! Не в карты же нам играть! Приятно развлечься чем-нибудь действительно интересным.

Мы переглянулись с бывшей институткой.

Глаша любила jeux d'esprit [1], а мы...

Мы сказали друг другу глазами:

— Как это неделикатно!

ЗАВОЕВАНИЕ ВОЗДУХА

Гулкая трактирная машина скрежетала вальс из «Евгения Онегина». Было душно, жарко. Пахло салом и жареным луком.

Околоточный блаженствовал. Закинув голову вверх, он смотрел крошечными свиными глазками на розовый цветок электрической лампочки и мечтал вслух.

Лавочник слушал молча, перебирал пальцами, точно что-то подсчитывал и прикидывал.

— Полетела Россия-матушка,— говорил околоточный с умилением.— Сидела-сидела и полетела. Фррр... под самые облака. Благодать! Думал ли ты дожить до того, что люди вверх головой полетят!

— В Питере, слышно, аэроштаты строят,— сказал лавочник и прикинул пальцами.— И кому они только подряды сдают,— ума не приложу.

— Благода-ать! Только надо дело говорить,— и забот прибавится. Скажем, насчет паспортов. Мужику, скажем, волость не выдает вида, а он сел на шар да и фыррть куда хочет. Это никак нельзя. Придется воздушные участки строить. Как внизу, так и наверху. Пристав — внизу, пристав — наверху. Городовой — внизу, городовой — наверху. Околоточный — внизу, околоточный — наверху. Чтобы, значит, как звезды в воде отражались! Кр-расота!

Сижу это я там, наверху, на каком-нибудь этаком балкончике, и птичек на удочку ловлю.

Вдруг — что такое! — на дежурном баллоне городовой летит!

---

[1] Интеллектуальные игры *(фр.)*.

— Ваше благородие! Беспаспортные поднялись!

— Беспаспортные! Волоки сюда. Уж я разберу.

Ведут... Кто такие? А не хотите ли вниз, сухопутным путем, вверх ногами. Савельев! Запри их пока что в аэростантскую. Кр-р-асота!

А предъявил паспорт — лети. Лети. Мне не жаль! С меня воздуху хватит.

Помолчали. Лавочник подсчитал пальцами.

— Ресторант открыть можно,— сказал он значительно.— Большой шар оборудовать, с крепкими напитками. Можно на канате держать, чтобы, значит, в чужой участок не залетел. А то вашей милости плати, да еще другому, да третьему... Не того-с. Не с чего. Балкончики можно тоже разные. Отдельные кабинеты со стеклянным полом. Входная плата само собой, а кабинет отдельно, а на балкончик выйти — тоже отдельно. Нельзя-с! Самим дороже стоит. Не ндравится, так не ходи.

Но околоточный не слушал.

— Уж я непременно наверх попрошусь. Уж из кожи вон вылезу, а наверх порхну. Представляй себе: на такой незапамятной вышине, где до сих пор царили только львы да орлы, стою я да посматриваю. А снизу кричат: «Феоктист Иванович! Как вас вознесло!» А я им сверху — ручкой, ручкой: «По чину-с! По чину-с!»

— Гравюра! Прямо гравюра!

— Кабинеты — особая цена,— подсчитывал лавочник,— да за вина, что захочу, то и положу. Здесь, сударь, не земля. С облаков тоже вина не надоишь. Хотите пейте, хотите не пейте. У нас чистая публика и претензий никогда не заявляла.

— Одно меня беспокоит,— прервал околоточный.— Боюсь, что жид полетит! Ну, что тогда делать? Ему оседлость дана в Могилевской губернии, а он будет над Москвой парить. И все свои дела сверху обделает.

— Ну! Сверху нельзя.

— Нельзя! Это нам с тобой нельзя, а жид станет этак как-нибудь пальцами вертеть — они это умеют,— ну, а снизу ему свои будут знаки подавать. Вот и готово! Вот и закон обойден! Придется проволочные решетки делать. Высокие. Сажен на пятьсот. Выше-то он не залетит. Ему не расчет выше-то лететь.

— Дорого будет стоить этакая решетка,— прикинул пальцами лавочник.

— И не дешево, да не нам платить. Государственная безопасность требует расходов. Во имя кр-расоты!

— Сверху тоже решеткой забрать придется. Они на машине легко перескакнуть смогут. Нужно солидно делать.

— Вот ты теперь сидишь здесь свинья свиньей, и каждая курица мимо тебя пройти может! Каждый пес тебя хвостом заденет. А там!!! Приду я к тебе в твое заведение, залезу на самую вышку.— Саморылов! Тащи сюда водку! Тащи закуску! Угощай! Гость к тебе прилетел, Феоктист Иваныч. С добрым утром! А? Что ты на это скажешь?

Лавочник подсчитал пальцами, скосил глаза на околоточного и ответил внушительно:

— А что сказать? Очення просто. Видеть вас приятно, а потчевать, извините, нечем. Как ты теперь не нашего околотка, так к нам уже воздушный наведывался и всю закуску к себе отправить велел. Только и всего. Наше вам-с.

КОГДА РАК СВИСТНУЛ

Рождественский ужас

Елка догорела, гости разъехались.

Маленький Петя Жаботыкин старательно выдирал мочальный хвост у новой лошадки и прислушивался к разговору родителей, убиравших бусы и звезды, чтобы припрятать их до будущего года. А разговор был интересный.

— Последний раз делаю елку,— говорил папа Жаботыкин.— Один расход, и удовольствия никакого.

— Я думала, твой отец пришлет нам что-нибудь к празднику,— вставила maman Жаботыкина.

— Да, черта с два! Пришлет, когда рак свистнет.

— А я думал, что он мне живую лошадку подарит,— поднял голову Петя.

— Да, черта с два! Когда рак свистнет.

Папа сидел, широко расставив ноги и опустив голову. Усы у него повисли, словно мокрые, бараньи глаза уныло уставились в одну точку.

Петя взглянул на отца и решил, что сейчас можно безопасно с ним побеседовать.

— Папа, отчего рак?

— Гм?

— Когда рак свистнет, тогда, значит, все будет?

— Гм!..

— А когда он свистит?

Отец уже собрался было ответить откровенно на вопрос сына, но, вспомнив, что долг отца быть строгим, дал Пете легонький подзатыльник и сказал:

— Пошел спать, поросенок!

Петя спать пошел, но думать про рака не перестал. Напротив, мысль эта так засела у него в голове, что вся остальная жизнь утратила всякий интерес. Лошадки стояли с невыдранными хвостами, из заводного солдата пружина осталась невыломанной, в паяце пищалка сидела на своем месте — под ложечкой,— словом, всюду мерзость запустения. Потому что хозяину было не до этой ерунды. Он ходил и раздумывал, как бы так сделать, чтобы рак поскорее свистнул.

Пошел на кухню, посоветовался с кухаркой Секлетиньей. Она сказала:

— Не свистит, потому что у него губов нетути. Как губу наростит, так и свистнет.

Больше ни она, ни кто-либо другой ничего объяснить не могли.

Стал Петя расти, стал больше задумываться.

— Почему-нибудь да говорят же, что коли свистнет, так все и исполнится, чего хочешь.

Если бы рачий свист был только символ невозможности, то почему же не говорят: «когда слон полетит» или «когда корова зачирикает». Нет! Здесь чувствуется глубокая народная мудрость. Этого дела так оставить нельзя. Рак свистнуть не может, потому что у него и легких-то нету. Пусть так! Но неужели же не может наука воздействовать на рачий организм и путем подбора и различных влияний заставить его обзавестись легкими.

Всю свою жизнь посвятил он этому вопросу. Занимался оккультизмом, чтобы уяснить себе мистическую связь между рачьим свистом и человеческим счастьем. Изучал строение рака, его жизнь, нравы, происхождение и возможности.

Женился, но счастлив не был. Он ненавидел жену за то, что та дышала легкими, которых у рака не было. Развелся с женой и всю остальную жизнь служил идее.

Умирая, сказал сыну:

— Сын мой! Слушайся моего завета. Работай для счастья ближних твоих. Изучай рачье телосложение, следи за раком, заставь его, мерзавца, изменить свою натуру. Оккультные науки открыли мне, что с каждым рачьим свистом будет исполняться одно из самых горячих и искренних человеческих желаний. Можешь ли ты теперь думать о чем-либо, кроме этого свиста, если ты не подлец? Близорукие людишки строят больницы и думают, что облагодетельствовали ближних. Конечно, это легче, чем изменить натуру рака. Но мы, мы — Жаботыкины, из поколения в поколение будем работать и добьемся своего!

Когда он умер, сын взял на себя продолжение отцовского дела. Над этим же работал и правнук его, а праправнук, находя, что в России трудно заниматься серьезной научной работой, переехал в Америку. Американцы не любят длинных имен и скоро перекрестили Жаботыкина в мистера Джеба, и, таким образом, эта славная линия совсем затерялась и скрылась от внимания русских родственников.

Прошло много, очень много лет. Многое на свете изменилось, но степень счастья человеческого осталась ровно в том же положении, в каком была в тот день, когда Петя Жаботыкин, выдирая у лошадки мочальный хвост, спрашивал:

— Папа, отчего рак?

По-прежнему люди желали больше, чем получали, и по-прежнему сгорали в своих несбыточных желаниях и мучились.

Но вот стало появляться в газетах странное воззвание:

«Люди! Готовьтесь! Труды многих поколений движутся к концу! Акционерное общество «Мистер Джеб энд компани» объявляет, что 25 декабря сего года в первый раз свистнет рак, и исполнится самое горячее желание каждого из ста человек (1%). Готовьтесь!»

Сначала люди не придавали большого значения этому объявлению. «Вот,— думали,— верно, какое-нибудь мошенничество. Какая-то американская фирма чудеса обещает, а все сведется к тому, чтобы прорекламировать новую ваксу. Знаем мы их!»

Но чем ближе подступал обещанный срок, тем чаще стали призадумываться над американской затеей, покачивали головой и высказывались надвое.

А когда новость подхватили газеты и поместили

портрет великого изобретателя и снимок с его лаборатории во всех разрезах, никто уже не боялся признаться, что верит в грядущее чудо.

Вскоре появилось и изображение рака, который обещал свистнуть. Он был скорее похож на станового пристава из Юго-Западного края, чем на животное хладнокровное. Выпученные глаза, лихие усы, выражение лица бравое. Одет он был в какую-то вязаную куртку со шнурками, а хвост не то был спрятан в какую-то вату, не то его и вовсе не было.

Изображение это пользовалось большой популярностью. Его отпечатывали и на почтовых открытках, раскрашенное в самые фантастические цвета,— зеленый с голубыми глазами, лиловый в золотых блесках и т. д. Новая рябиновая водка носила ярлык с его портретом. Новый русский дирижабль имел его форму и пятился назад. Ни одна уважающая себя дама не позволяла себе надеть шляпу без рачьих клешней на гарнировке.

Осенью компания «Мистер Джеб энд компани» выпустила первые акции, которые так быстро пошли в гору, что самые солидные биржевые «зайцы» стали говорить о них почтительным шепотом.

Время шло, бежало, летело. В начале октября сорок две граммофонные фирмы выслали в Америку своих представителей, чтобы записать и обнародовать по всему миру первый рачий свист.

25 декабря утром никто не заспался. Многие даже не ложились, высчитывая и споря, через сколько секунд может на нашем меридиане воздействовать свист, раздавшийся в Америке. Одни говорили, что для этого пойдет времени не больше, чем для электрической передачи. Другие кричали, что астральный ток быстрее электрического, а так как здесь дело идет, конечно, об астральном токе, а не о каком-нибудь другом, то и так далее.

С восьми часов утра улицы кишели народом. Конные городовые благодушно наседали на публику лошадиными задами, а публика радостно гудела и ждала.

Объявлено было, что тотчас по получении первой телеграммы дан будет пушечный выстрел.

Ждали, волновались. Восторженная молодежь громко ликовала, строя лучезарные планы. Скептики кряхтели и советовали лучше идти домой и позавтракать, потому что, само собой разумеется, ровно ничего не будет, и дураков валять довольно глупо.

Ровно в два часа дня раздался ясный и гулкий пушечный выстрел, и в ответ ему ахнули тысячи радостных вздохов.

Но тут произошло что-то странное, непредвиденное, необычное, что-то такое, в чем никто не смог и не захотел увидеть звена сковывавшей всех цепи: какой-то высокий толстый полковник вдруг стал как-то странно надуваться, точно нарочно; он весь разбух, слился в продолговатый шар; вот затрещало пальто, треснул шов на спине, и,словно радуясь, что преодолел неприятное препятствие, полковник звонко лопнул и разлетелся брызгами во все стороны.

Толпа шарахнулась. Многие, взвизгнув, бросились бежать.

— Что такое? Что же это?

Бледный солдатик, криво улыбаясь трясущимися губами, почесал за ухом и махнул рукой:

— Вяжи, ребята! Мой грех! Я ему пожелал: «Чтоб те лопнуть!»

Но никто не слушал и не трогал его, потому что все в ужасе смотрели на дико визжавшую длинную старуху в лисьей ротонде; она вдруг закружилась и на глазах у всех словно юркнула в землю.

— Провалилась, подлая! — напутственно прошамкали чьи-то губы.

Безумная паника охватила толпу. Бежали, сами не зная куда, опрокидывая и топча друг друга. Слышался предсмертный храп двух баб, подавившихся собственными языками, а над ними громкий вой старика:

— Бейте меня, православные! Моя волюшка в энтих бабах дохнет!

Жуткая ночь сменила кошмарный вечер. Никто не спал. Вспоминали собственные черные желания и ждали исполнения над собою чужих желаний.

Люди гибли как мухи. В целом свете только одна какая-то девчонка в Северной Гвинее выиграла от рачьего свиста: у нее прошел насморк по желанию тетки, которой она надоела беспрерывным чиханьем. Все остальные добрые желания (если только они были) оказались слишком вялыми и холодными, чтобы рак мог насвистать их исполнение.

Человечество быстрыми шагами шло к гибели и погибло бы окончательно, если бы не жадность «Мистера Джеба энд компани», которые, желая еще более вздуть свои акции, переутомили рака, понуждая

его к непосильному свисту электрическим раздражением и специальными пилюлями.

Рак сдох.

На могильном памятнике его (работы знаменитого скульптора по премированной модели) напечатана надпись:

«Здесь покоится свистнувший экземпляр рака — собственность «Мистера Джеба энд компани», утоливший души человеческие и насытивший пламеннейшие их желания.

— Не просыпайся!»

ПУТЕШЕСТВЕННИК

В вагоне ехали двое: помещик и путешественник.

Помещик вздыхал, зевал, курил, томился и на каждой станции выходил закусывать.

Путешественник важничал. Через плечо у него висело пять ремешков: на одном болталась фляжка, на другом — дорожная сумка, на третьем — кожаный футляр для папирос, на четвертом — бинокль, и на пятом — фотографический аппарат. Кроме того, на цепочке у жилетки прицеплен был огромный перочинный нож.

Через два часа совместного путешествия спутники разговорились. Помещик купил на станции грушу, и путешественник любезно предложил свой ножик, чтобы очистить ее.

— Замечательный ножик! — хвалил он.— Содержит пятнадцать предметов крайней необходимости: большой нож, средний нож, маленький нож, ложку, вилку, пробочник, отвертку, шильце, ногтечистку, зубочистку, уховертку, пилочку, вздержку, ножнички и маленькую тыкалку. Незаменим в путешествии! Представьте себе, что вы где-нибудь в пустыне, достать ничего нельзя, или даже вот как сейчас... Или если, не дай Бог, какое-нибудь несчастье, и нужен наспех инструмент... Берете, и — моментально! Прикажете ножичек? Извольте!

Помещик поблагодарил, взял инструмент, потянул — вытащил вилку. Закрыл, потянул снова — вытащил уховертку, снова закрыл, потянул — вытащил ножницы.

— Позвольте, вы не так! — остановил его путеше-

ственник.— Дайте сюда. Я сразу. Вам что? Ножичек? Который? Большой? Извольте большой,— воскликнул он, вытягивая ногтечистку.— Ах! Ошибся... Вот он! — и вытянул шильце.— Это что? Ах да, верно, я не так... Вот ножик!

Из футляра медленно, но верно вылезла ложка.

— Да полно вам! — успокаивал его помещик.— Вон даже покраснели весь.

И, обтерев грушу рукавом пиджака, принялся закусывать.

— Нет, зачем же! Я сейчас... Как можно, имея под руками все удобства, не пользоваться ими. Дело в том, что мы слишком торопимся. Нужно вытаскивать все подряд, и тогда уж непременно нападешь на желаемый предмет. Это безусловно. Вот так. Ай! Эта чертова тыкалка всегда угодит под ноготь. А вот и зубочистка. Теперь, кажется, уж близко! Впрочем, вам, как я вижу, больше уже нет надобности. Вы изволили скушать.

— Мерси. Я уж того, и так обошелся. Я в путешествии неприхотлив.

— А давно вы изволите путешествовать?

— Да изрядно. Уж часа четыре.

Путешественник насмешливо усмехнулся.

— Я еду уже восьмой месяц и то считаю, что недавно.

— Ах вы, несчастный!

— То есть почему же это — несчастный, позвольте вас спросить? Путешествие — моя жизнь. Что может быть приятнее?

— Да что же вам, собственно говоря, в этом деле так нравится? — удивился помещик.

— Ах, масса интересного! Представьте себе эти горы, черт знает сколько фут над уровнем моря, снежные вершины...

— Да мне-то какое дело! Полагаю, что снежная вершина меня никоим образом касаться не может...

— Ах, как можно так говорить!.. Какая-нибудь скала Тиверия... Камень, если бросить сверху, летит целых двенадцать секунд!

— А вам, что ж, непременно надо, чтоб поскорее?

— Ведь это же чудо природы! Вот был я, например, в Малой Азии. Можете себе представить — двенадцать дней с седла не слезал!

— Как, и не переодевались?

— Где уж там?

— Неужто и не мылись?

— Ну разумеется!..

— Это двенадцать-то дней! Ну, простите меня, а должен я вам сказать, что вы изрядная неряха!

— Две недели на верблюдах ехал! Качает, как в море. Каждый день к вечеру морская болезнь делалась. Восторг!

— Я вот четыре часа в вагоне, и то в голове стучит!

— Да, это бывает. Приходилось мне по десяти дней не выходить из вагона. Под конец совсем ошалеваешь. Доктора объясняют это сотрясением мозга. Зато сколько интересного увидишь! В каждой стране свои нравы... свои обычаи.

— А тоже нос-то совать в чужие дела не особенно прилично. Мне бы даже и совестно было.

— А знаменитый страсбургский собор! Нарочно ездил, только чтобы взглянуть!

— Экий ты, право, любопытник! А мне хоть бы что! Вот позавчера мельнику брусом ногу придавило. Все село сбежалось глазеть. А я даже и не подумал пойти. Очень мне нужно. Всего не пересмотришь.

— А музеи, картинные галереи! Идешь — удивляешься, сколько в каждую вещь красоты убухано! На миллионы, на биллионы.

— А по мне, хошь на миллиарды, хошь на биллиарды, — их дело.

— Идешь — глаза разбегаются.

— Нас за это еще в детстве драли. Коль идешь, мол, так смотри под ноги, а не по сторонам!

— Всего даже и не упомнишь. Порою так прямо досадно станет. Легко очень забывается. И спутать можно. А второй раз ехать на то же место уж больно дорого.

— Ну и какая вам от всего этого польза?

— И очень даже большая. От путешествия человек развивается. Вот вы мне, например, скажете: «Я люблю Париж». А я вам в ответ: «А я был в Париже. Стоит на Сене, а в нем Нотр-Дам». Скажете вы мне: «Швейцария». А я и в Швейцарии был. «Ниагара» — и в Ниагаре. Словом, ничем меня не забьете.

— Нет, забью!

— Нет, не забьете!

— А я вам говорю, что забью!

— А я вам отвечаю, что не забьете!..

— Хотите пари?

— Ладно. На «катеньку». Идет?

— Идет!

— Ну-с, так вот вы уверяете, что везде были и все местные достопримечательности видели. А я вам говорю, что иной самый простой серый мужик больше вашего видал. Вы вон в вагоне мозги трясли, а он, мужик-то этот, сидя на месте, больше вас видел. А!

— Ничего не понимаю. Какой мужик?

— А вот, например, позвольте вас спросить, многоуважаемый господин, видели ли вы ногу нашего мельника? А? Видели? Ну да, когда ему брусом придавило?

— Что за вздор! Конечно, нет!

— Ну, вот видите! А у меня все село, все мужики видели. Вот зайдет где-нибудь про него разговор, а вы и опростоволоситесь. Люди говорить будут, а вы глазами моргать. Вот вам и развитие! Раз это по вашей части, чтобы все знать, так как же вы мельника-то проморгали! Ха-ха! Давайте «катеньку»!

Из «Всеобщей истории, обработанной «Сатириконом»

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ

Предисловие

Что такое история, как таковая,— объяснять незачем, так как это каждому должно быть известно с молоком матери. Но что такое древняя история — об этом нужно сказать несколько слов.

Трудно найти на свете человека, который, хотя раз в жизни, выражаясь языком научным, не влопался бы в какую-нибудь историю. Но как бы давно это с ним ни случилось, тем не менее происшедший казус мы не вправе назвать древней историей. Ибо пред лицом науки все имеет свое строгое подразделение и классификацию.

Скажем короче:

а) Древняя история есть такая история, которая произошла чрезвычайно давно.

б) Древняя история есть такая история, которая произошла с римлянами, греками, ассириянами, финикиянами и прочими народами, говорившими на мертворожденных языках.

Все, что касается древнейших времен и о чем мы ровно ничего не знаем, называется периодом доисторическим.

Ученые, хотя и ровно ничего об этом периоде не знают (потому что если бы знали, то его пришлось бы уже назвать историческим), тем не менее разделяют его на три века:

1) Каменный, когда люди при помощи бронзы делали себе каменные орудия;

2) Бронзовый, когда при помощи камня делали бронзовые орудия;

3) Железный, когда при помощи бронзы и камня делали железные орудия.

Вообще изобретения тогда были редки и люди на выдумки были туги; поэтому, чуть что изобретут,— сейчас по имени изобретения называют и свой век.

В наше время это уже немыслимо, потому что каждый день пришлось бы менять веку название:

Пилюлиарский век, Плоскошинный век, Синдетиконский век и т. д. и т. д., что немедленно вызвало бы распри и международные войны.

В те времена, о которых ровно ничего не известно, люди жили в шалашах и ели друг друга; затем, окрепнув и развив мозг, стали есть окружающую природу: зверей, птиц, рыб и растения. Потом, разделившись на семьи, начали ограждаться частоколами, через которые сначала в продолжение многих веков переругивались; затем стали драться, затеяли войну, и, таким образом, возникло государство, государственный быт, на котором основывается дальнейшее развитие гражданственности и культуры.

Древние народы разделяются по цвету кожи на черных, белых и желтых.

Белые в свою очередь разделяются на:

1) Арийцев, происшедших от Ноева сына Иафета и названных так, чтоб не сразу можно было догадаться — от кого они произошли.

2) Семитов — или не имеющих права жительства и

3) Хамитов, людей в порядочном обществе не принятых.

Обыкновенно историю делят всегда хронологически от такого-то до такого-то периода. С древней историей так поступить нельзя, потому что, во-первых, никто ничего о ней не знает, а во-вторых, древние народы жили бестолково, мотались из одного места в другое, из одной эпохи в другую, и все это без железных дорог, без порядку, причины и цели. Поэтому учеными людьми придумано рассматривать историю каждого народа отдельно. Иначе так запутаешься, что и не выберешься.

ВОСТОК

ЕГИПЕТ

Египет находится в Африке и славится издавна пирамидами, сфинксами, разлитием Нила и царицей Клеопатрой.

Пирамиды суть здания пирамидальной формы, которые воздвигались фараонами для своего прославления. Фараоны были люди заботливые и не доверяли даже самым близким людям распоряжаться своим трупом по их усмотрению. И, едва выйдя из младенческого возраста, фараон уже присматривал себе укромное местечко и начинал строить пирамиду для своего будущего праха.

После смерти тело фараона с большими церемониями потрошили изнутри и набивали ароматами. Снаружи заключали его в раскрашенный футляр, все вместе ставили в саркофаг и помещали внутри пирамиды. От времени то небольшое количество фараона, которое заключалось между ароматами и футляром, высыхало и превращалось в твердую перепонку. Так непроизводительно тратили древние монархи народные деньги!

Но судьба справедлива. Не прошло и нескольких десятков тысяч лет, как египетское население вернуло свое благосостояние, торгуя оптом и в розницу бренными трупами своих повелителей, и во многих европейских музеях можно видеть образцы этих сушеных фараонов, прозванных за свою неподвижность мумиями. За особую плату сторожа музеев позволяют посетителям пощелкать мумию пальцем.

Далее, памятниками Египта служат развалины храмов. Более всего сохранилось их на месте древних Фив, прозванных по числу своих двенадцати ворот «стовратными». Теперь, по свидетельству археологов, ворота эти переделаны в арабские деревни. Так иногда великое обращается в полезное!

Памятники Египта часто покрыты письменами, которые разобрать чрезвычайно трудно. Ученые поэтому прозвали их иероглифами.

Жители Египта делились на разные касты. К самой важной касте принадлежали жрецы. Попасть в жрецы было очень трудно. Для этого нужно было изучать геометрию, до равенства треугольников включительно, и географию, обнимавшую в те времена пространство земного шара не менее шестисот квадратных верст.

Дела жрецам было по горло, потому что, кроме географии, им приходилось еще заниматься и богослужением, а так как богов у египтян было чрезвычайно много, то иному жрецу подчас за весь день трудно было урвать хоть часок на географию.

В воздании божеских почестей египтяне не были особенно разборчивы. Они обожествляли солнце, корову, Нил, птицу, собаку, луну, кошку, ветер, гиппопотама, землю, мышь, крокодила, змею и многих других домашних и диких зверей.

Ввиду этой богомногочисленности, самому осторожному и набожному египтянину ежеминутно приходилось совершать различные кощунства. То наступит кошке на хвост, то цыкнет на священную собаку, то съест в борще святую муху. Народ нервничал, вымирал и вырождался.

Среди фараонов было много замечательных, прославивших себя своими памятниками и автобиографиями, не ожидая этой любезности от потомков.

ВАВИЛОН

Тут же неподалеку находился и Вавилон, известный своим столпотворением.

АССИРИЯ

Главным городом Ассирии был Ассур, названный так в честь бога Ассура, получившего, в свою очередь, это имя от главного города Ассура. Где здесь конец, где начало — древние народы по безграмотности разобраться не могли и не оставили никаких памятников, которые могли бы нам помочь в этом недоумении.

Ассирийские цари были очень воинственны и жестоки. Врагов своих поражали более всего своими именами, из которых Ассур-Тиглаф-Абу-Хериб-Назир-Нипал было самым коротеньким и простеньким. Собственно говоря, это было даже не имя, а сокращенная ласкательная кличка, которую за маленький рост дала юному царю его мамка.

Обычай же ассирийских крестин был таков:

Как только у царя рождался младенец мужского, женского или иного пола, сейчас же специально обученный писарь садился и, взяв в руки клинья, начинал писать на глиняных плитах имя новорожденного. Когда, истомленный трудом, писарь падал мертвым, его сменял другой, и так дальше до тех пор, пока младенец не достигал зрелого возраста. К этому сроку все его имя считалось полностью и правильно написанным до конца.

Цари эти были очень жестоки. Громко выкликая свое имя, они, прежде чем завоюют страну, уже рассаживали ее жителей на колья.

По сохранившимся изображениям современные ученые усматривают, что у ассириян очень высоко стояло парикмахерское искусство, так как у всех царей бороды завиты ровными, аккуратными локонами.

Если отнестись к этому вопросу еще серьезнее, то можно удивиться еще более, так как видно ясно, что в ассирийские времена не только люди, но и львы не пренебрегали парикмахерскими щипцами. Ибо зверей этих ассирияне изображают всегда с такими же завитыми в локоны гривами и хвостами, как и бороды их царей.

Поистине изучение образцов древней культуры может принести существенную пользу не только людям, но и животным.

Последним ассирийским царем считается, выражаясь сокращенно, Ашур-Адонай-Абан-Нипал. Когда его столицу осадили Мидяне, хитрый Ашур велел на площади своего дворца развести костер; затем, сложив на него все свое имущество, влез наверх сам со всеми женами и, застраховавшись, сгорел дотла.

Раздосадованные враги поспешили сдаться.

ПЕРСЫ

На Иране жили народы, название которых оканчивалось на «яне»: Бактряне и Мидяне, кроме Персов, которые оканчивались на «сы».

Бактряне и Мидяне быстро утратили свое мужество и предались изнеженности, а у персидского царя Астиага родился внук Кир, основавший персидскую монархию.

О молодости Кира Геродот рассказывает трогательную легенду.

Однажды Астиагу приснилось, что из его дочери выросло дерево. Пораженный неприличностью этого сна, Астиаг велел магам разгадать его. Маги сказали, что сын дочери Астиага будет царствовать над целой Азией. Астиаг очень огорчился, так как желал для своего внука более скромной судьбы.

— И через золото слезы льются! — сказал он и поручил своему придворному придушить младенца.

Придворный, которому было и своего дела по гор-

ло, передоверил это дельце одному знакомому пастуху. Пастух же, по необразованности и халатности, все перепутал и, вместо того чтобы придушить, стал ребенка воспитывать.

Когда ребенок подрос и начал играть со сверстниками, то велел однажды выпороть сына одного вельможи. Вельможа пожаловался Астиагу. Астиаг заинтересовался широкой натурой ребенка. Побеседовав с ним и освидетельствовав пострадавшего, он воскликнул:

— Это Кир! Так пороть умеют только в нашем семействе.

И Кир упал в объятия деда.

Войдя в возраст, Кир победил царя Лидийского Креза и стал его жарить на костре. Но во время этой процедуры Крез вдруг воскликнул:

— О, Солон, Солон, Солон!

Это очень удивило мудрого Кира.

— Подобных слов,— признавался он друзьям,— я еще никогда не слышал от жарившихся.

Он поманил Креза к себе и стал расспрашивать, что это значит.

Тогда Крез рассказал, что его посетил греческий мудрец Солон. Желая пустить мудрецу пыль в глаза, Крез показал ему свои сокровища и, чтобы подразнить, спросил Солона — кого он считает самым счастливым человеком на свете.

Если б Солон был джентльменом, он, конечно, сказал бы: «Вас, ваше величество». Но мудрец был человек простоватый, из недалеких, и ляпнул, что «прежде смерти никто не может сказать про себя, что счастлив».

Так как Крез был царь развитой не по летам, то тотчас понял, что после смерти, вообще, люди редко разговаривают, так что и тогда похвастаться своим счастьем не придется, и очень на Солона обиделся.

История эта сильно потрясла слабонервного Кира. Он извинился перед Крезом и не стал его дожаривать.

После Кира царствовал сын его Камбиз. Камбиз пошел воевать с Эфиопами, зашел в пустыню и там, сильно страдая от голода, съел мало-помалу все свое войско. Поняв трудность подобной системы, он поспешил воротиться в Мемфис. Там в это время праздновали открытие нового Аписа.

При виде этого здорового, откормленного быка отощавший на человечине царь кинулся на него и собственноручно приколол — а заодно и брата своего Смердиза, который вертелся под ногами.

Этим воспользовался один ловкий маг и, объявив себя Лжесмердизом, немедленно начал царствовать. Персы ликовали:

— Да здравствует наш царь Лжесмердиз! — кричали они.

В это время царь Камбиз, окончательно помешавшийся на говядине, погиб от раны, которую нанес себе сам, желая отведать собственного мяса.

Так умер этот мудрейший из восточных деспотов.

После Камбиза царствовал Дарий Гистасп, который прославился походом на Скифов.

Скифы были очень храбры и жестоки. После сражения устраивали пиршества, во время которых пили и ели из черепов свежеубитых врагов.

Те из воинов, которые не убили ни одного врага, не могли принимать участия в пиршестве за неимением своей посуды и наблюдали издали за торжеством, терзаемые голодом и угрызениями совести.

Узнав о приближении Дария Гистаспа, скифы послали ему лягушку, птицу, мышь и стрелу.

Этими незатейливыми дарами они думали смягчить сердце грозного врага.

Но дело приняло совсем другой оборот.

Один из воинов Дария Гистаспа, которому сильно надоело болтаться за своим повелителем по чужим землям, взялся истолковать истинное значение скифской посылки.

Это значит, что если вы, персы, не будете летать, как птицы, грызть, как мышь, и прыгать, как лягушка, то не вернетесь к себе домой вовеки.

Дарий не умел ни летать, ни прыгать. Он перепугался до смерти и велел поворачивать оглобли.

Дарий Гистасп прославился не только этим походом, но и столь же мудрым правлением, которое вел с таким же успехом, как и военные предприятия.

Древние персы вначале отличались мужеством и простотой нравов. Сыновей своих учили трем предметам:

1) Ездить верхом;
2) Стрелять из лука и
3) Говорить правду.

Молодой человек, не сдавший экзамена по всем этим трем предметам, считался неучем и не принимался на государственную службу.

Но мало-помалу персы стали предаваться изнеженному образу жизни. Перестали ездить верхом, забыли, как нужно стрелять из лука, и, праздно проводя время, резали правду-матку. Вследствие этого огромное Персидское государство стало быстро приходить в упадок.

Прежде персидские юноши ели только хлеб и овощи. Развратясь, они потребовали супу (330 г. до Р. X.). Этим воспользовался Александр Македонский и завоевал Персию.

ГРЕЦИЯ

Греция занимает южную часть Балканского полуострова.

Сама природа разделила Грецию на четыре части:

1) Северную, которая находится на севере;
2) Западную — на западе;
3) Восточную — на востоке и, наконец,
4) Южную — занимающую юг полуострова.

Это оригинальное разделение Греции издавна привлекало к ней взоры всей культурной части населения земного шара.

В Греции жили так называемые «греки».

Говорили они на мертвом языке и предавались сочинению мифов о богах и героях.

Любимый герой греков был Геркулес, прославившийся тем, что вычистил Авгиевы конюшни и тем подал грекам незабываемый пример чистоплотности. Кроме того, этот аккуратник убил свою жену и детей.

Вторым любимым героем греков был Эдип, который по рассеянности убил своего отца и женился на своей матери. От этого по всей стране сделалась моровая язва, и все открылось. Эдипу пришлось выколоть себе глаза и отправиться путешествовать с Антигоной.

В южной Греции произошел миф о Троянской войне или: Прекрасная Елена, в трех действиях, с музыкой Оффенбаха.

Дело было вот как: у царя Менелая (комик буфф) была жена, прозванная за красоту и за то, что носила платье с разрезом,— Прекрасной Еленой. Ее похитил

Парис, что Менелаю очень не понравилось. Тогда началась Троянская война.

Война была ужасна. Менелай оказался совсем без голоса, а все прочие герои врали нещадно.

Тем не менее война эта осталась в памяти благодарного человечества; так, например, фраза жреца Калхаса: «Слишком много цветов» — цитируется до сих пор многими фельетонистами не без успеха.

Кончилась война благодаря вмешательству хитроумного Одиссея. Чтоб дать возможность воинам пробраться в Трою, Одиссей сделал деревянного коня и посадил в него воинов, а сам ушел. Трояне, утомленные долгой осадой, не прочь были поиграть деревянной лошадкой, за что и поплатились. В самый разгар игры из лошади вылезли греки и завоевали беспечных врагов.

После разрушения Трои греческие герои вернулись домой, но не на радость себе. Оказалось, что жены их за это время выбрали себе новых героев и предавались измене мужьям, которых и убили немедленно после первых рукопожатий.

Хитроумный Одиссей, предвидя все это, не вернулся прямо домой, а сделал небольшой крюк в десять лет, чтобы дать время жене своей Пенелопе приготовиться к встрече с ним.

Верная Пенелопа ждала его, коротая время со своими женихами.

Женихам очень хотелось на ней жениться, но она рассудила, что гораздо веселее иметь тридцать женихов, чем одного мужа, и надувала несчастных, оттягивая день свадьбы. Днем Пенелопа ткала, ночью порола сотканное, а заодно и сына своего Телемака. История эта кончилась трагически: Одиссей вернулся.

«Илиада» изображает нам военную сторону греческой жизни. «Одиссея» рисует бытовые картины и общественные нравы.

Обе эти поэмы считаются произведениями слепого певца Гомера, имя которого пользовалось в древности столь большим уважением, что семь городов оспаривали честь быть его родиной. Какая разница с судьбой современных нам поэтов, от которых часто не прочь отказаться собственные родители!

На основании «Илиады» и «Одиссеи» о героической Греции мы можем сказать следующее:

Народонаселение Греции разделялось на:

1) царей,

2) воинов и

3) народ.

Каждый исполнял свою функцию.

Царь царствовал, воины сражались, а народ «смешанным гулом» выражал свое одобрение или неодобрение двум первым категориям.

Царь, обыкновенно, человек небогатый, производил свой род от богов (слабое утешение при пустом казначействе) и поддерживал свое существование более или менее добровольными подарками.

Знатные мужи, окружающие царя, также производили свой род от богов, но уже в более отдаленной степени, так сказать — седьмая вода на киселе.

На войне эти знатные мужи выступали впереди остального войска и отличались пышностью своего вооружения. Сверху их закрывал шлем, посредине панцирь и со всех сторон щит. Одетый таким образом, знатный муж ехал в бой на парной колеснице с кучером — спокойно и уютно, как в трамвае.

Сражались все врассыпную, каждый за себя, поэтому, даже побежденные, могли много и красноречиво рассказывать о своих военных подвигах, которых никто не видал.

Кроме царя, воинов и народа были в Греции еще и рабы, состоящие из бывших царей, бывших воинов и бывшего народа.

Положение женщины у греков было завидное по сравнению с положением ее у восточных народов.

На греческой женщине лежали все заботы о домашнем хозяйстве, пряденье, тканье, мытье белья и прочие разнообразные хлопоты домоводства, тогда как восточные женщины принуждены были проводить время в праздности и гаремных удовольствиях среди докучной роскоши.

Религия греков была политеическая, причем боги находились в постоянном общении с людьми, а во многих семьях бывали часто и совсем запросто. Иногда боги вели себя легкомысленно и даже неприлично, повергая выдумавших их людей в горестное недоумение.

В одном из древнегреческих молитвенных песнопений, дошедших до наших дней, мы явно слышим скорбную ноту:

Неужели же, боги,
Это вас веселит,
Когда наша честь
Кувырком, кувырком
Полетит?!

Понятие о загробной жизни было у греков весьма смутное. Тени грешников отсылались в мрачный Тартар (по-русски — в тартарары). Праведники блаженствовали в Элизиуме, но настолько скудно, что сведущий в этих делах Ахиллес признался откровенно: «Лучше быть на земле поденщиком бедняка, чем царствовать над всеми тенями мертвых». Рассуждение, поразившее своей меркантильностью весь древний мир.

Будущее свое греки узнавали посредством оракулов. Наиболее почитаемый оракул находился в Дельфах. Здесь жрица, так называемая Пифия, садилась на так называемый треножник (не следует смешивать ее со статуей Мемнона) и, придя в исступление, произносила бессвязные слова.

Греки, избалованные плавной речью с гекзаметрами, стекались со всех концов Греции послушать бессвязные слова и перетолковать их по-своему.

Судились греки в Амфиктионовом судилище.

Судилище собиралось два раза в год; весенняя сессия была в Дельфах, осенняя в Фермопилах.

Каждая община посылала в судилище двух присяжных. Присягу эти присяжные придумали очень хитрую. Вместо того чтоб обещать судить по совести, взяток не брать, душой не кривить и родственников не выгораживать — они давали следующую присягу: «Клянусь никогда не разрушать города, принадлежащего к союзу Амфиктионову, и никогда не лишать его текучей воды ни в мирное, ни в военное время».

Только и всего!

Но это показывает, какой нечеловеческой силой обладал древнегреческий присяжный. Какому-нибудь даже самому завалящему из них ничего не стоило разрушить город или остановить текучую воду. Поэтому понятно, что осторожные греки не приставали к ним с клятвами насчет взяток и прочей ерунды, а старались обезвредить этих зверей в главнейшем.

Летосчисление свое греки вели по самым главным событиям своей общественной жизни, то есть по Олимпийским играм. Игры эти заключались в том, что

древнегреческие юноши состязались в силе и ловкости. Все шло как по маслу, но тут Геродот затеял во время состязаний читать вслух отрывки из своей истории. Поступок этот возымел надлежащее действие; атлеты расслабли, публика, ломившаяся доселе на Олимпиаду как бешеная, отказалась идти туда даже за деньги, которые щедро сулил ей честолюбивый Геродот. Игры прекратились само собой.

СПАРТА

Лакония составляла юго-восточную часть Пелопоннеса и получила свое название от манеры тамошних жителей выражаться лаконически.

Летом в Лаконии было жарко, зимой холодно. Эта необычайная для других стран система климата, по свидетельству историков, способствовала развитию жестокости и энергии в характере жителей.

Главный город Лаконии, без всякой причины, назывался Спартой.

В Спарте был ров, наполненный водой, чтобы жители могли упражняться в сбрасывании друг друга в воду. Сам город не был огражден стенами: мужество граждан должно было служить ему защитой. Это, конечно, стоило местным отцам города дешевле самого плохого частоколишки.

Спартанцы, хитрые по природе, устроили так, что у них царствовали всегда два царя зараз. Цари грызлись между собой, оставляя народ в покое. Конец этой вакханалии положил законодатель Ликург.

Ликург был царского рода и опекал своего племянника.

При этом он все время тыкал всем в глаза своей справедливостью. Когда терпение окружающих наконец лопнуло, Ликургу посоветовали отправиться путешествовать. Думали, что путешествие разовьет Ликурга и так или иначе повлияет на его справедливость.

Но, как говорится, вместе тошно, а врозь скучно. Не успел Ликург освежиться в обществе египетских жрецов, как соотечественники потребовали его возвращения. Ликург вернулся и утвердил в Спарте свои законы.

После этого, опасаясь слишком горячей благодарности со стороны экспансивного народа, он поспешил сам себя уморить голодом.

— Зачем предоставлять другим то, что можешь сделать сам! — были его последние слова.

Спартанцы, увидя, что с него взятки гладки, стали воздавать его памяти божеские почести.

Население Спарты делилось на три сословия: спартиатов, периэков и илотов.

Спартиаты были местные аристократы, занимались гимнастикой, ходили голые и вообще задавали тон.

Периэкам гимнастика была запрещена. Вместо того они платили подати.

Хуже всех приходилось илотам, или, по выражению местных остряков, «недоэкам». Они обрабатывали поля, ходили воевать и часто восставали на своих господ. Последние, чтобы склонить их на свою сторону, придумали так называемую криптию, то есть попросту в известный час убивали всех встречных илотов. Это средство быстро заставило илотов одуматься и зажить в полном довольстве.

Спартанские цари пользовались большим уважением, но не большим кредитом. Народ верил им только на месяц, затем заставлял снова присягать законам республики.

Так как в Спарте царствовало всегда два царя и была притом еще и республика, то все это вместе называлось республикой аристократической.

По законам этой республики спартанцам был предписан самый скромный, по их понятиям, образ жизни. Например, мужчины не имели права обедать дома; они собирались веселой компанией в так называемых ресторанах — обычай, соблюдаемый многими людьми археологической складки и в наше время, как пережиток седой старины.

Любимое кушанье их составляла черная похлебка, приготовлявшаяся из свиного отвара, крови, уксуса и соли. Похлебку эту, как историческое воспоминание славного прошлого, и доселе еще приготовляют у нас в греческих кухмистерских, где она известна под названием «брандахлыста».

В одежде спартанцы были также очень скромны и просты. Только перед битвой наряжались они в более сложный туалет, состоявший из венка на голове и флейты в правой руке. В обычное же время отказывали себе в этом.

Воспитание детей было очень суровое. Чаще всего их сразу убивали. Это делало их мужественными и стойкими.

Образование они получали самое основательное: их учили не кричать во время порки. В 20 лет спартиат сдавал экзамен по этому предмету на аттестат зрелости. В 30 — он делался супругом, в 60 освобождался от этой обязанности.

Девушки спартанские занимались гимнастикой и были столь прославлены своей скромностью и добродетелью, что везде богатые люди старались наперерыв залучить спартанскую девушку в кормилицы для своих детей.

Скромность и уважение к старшим было первым долгом молодых людей.

Самым неприличным у спартанского молодого человека считались его руки. Если он был в плаще, он прятал руки под плащ. Если он был голым, то засовывал их куда ни попало: под скамейку, под куст, под собеседника, или, наконец, садился на них сам (900 г. до Р. Х.).

Они с детства приучались говорить лаконически, то есть коротко и сильно. На длинную витиеватую ругань врага спартанец отвечал только: «От дурака слышу».

Женщина в Спарте пользовалась уважением, и ей разрешалось изредка тоже поговорить лаконически, чем она пользовалась, воспитывая детей и заказывая обед кухарке-илотке.

Так, одна спартанка, отдавая щит сыну, сказала лаконически: «С ним или на нем».

А другая, отдавая кухарке петуха для жаренья, сказала лаконически: «Пережаришь — вздую».

Как высокий пример мужественности спартанской женщины приводится следующая история.

Одна женщина, по имени Лэна, знавшая о противозаконном заговоре, чтобы не выдать случайно имени заговорщиков, откусила себе язык и, выплюнув его, сказала лаконически:

«Милостивые государи и милостивые государыни! Я, нижеподписавшаяся, спартанская женщина, имею честь сказать вам, что если вы думаете, что мы, спартанские женщины, способны на низкие поступки, как-то:

а) доносы,

б) сплетню,

в) выдачу своих сообщников и

г) клевету,

то вы сильно ошибаетесь и ничего подобного от меня не дождетесь. И пусть странник передаст Спарте, что я выплюнула здесь свой язык, верная законам о гимнастике своего отечества».

Ошеломленные враги вставили в Лэну еще одно «э», и она стала Лээна, что значит «Львица».

УПАДОК СПАРТЫ

Постоянное купанье и лаконический разговор сильно ослабили умственные способности Спартанцев, и они значительно отстали в развитии от других Греков, которые за любовь к гимнастике и спорту прозвали их «Спортанцами».

Спартанцы воевали с Мессенянами и однажды так струсили, что послали за помощью к Афинянам. Те, вместо воинских орудий, прислали им в помощь поэта Тиртея, заряженного собственными стихами. Услышав его декламацию, враги дрогнули и обратились в бегство. Спартанцы овладели Мессенией и завели у себя гегемонию.

АФИНЫ

Вторая знаменитая республика была Афины, оканчивавшаяся мысом Суний.

Богатые залежи мрамора, годного для памятников, естественно породили в Афинах славных мужей и героев.

Все горе Афин-республики, в высшей степени аристократической, заключалось в том, что жители ее делились на филы, димы, фратрии и подразделялись на паралиев, педиаков и диакриев. Кроме того, они делились еще и на эвпатридов, геомаров, демиургов и разную мелочь.

Все это вызывало в народе постоянные волнения и смуты, которыми пользовались верхи общества, разделявшиеся на архонтов, эпонимов, басилевсов, полемархов и тесмотетов, и угнетали народ.

Один богатый эвпатрид Килон попытался уладить дело. Но афинский народ отнесся столь недоверчиво к его начинаниям, что Килон, по примеру прочих греческих законодателей, поспешил отправиться путешествовать.

СОЛОН

Солон, человек не богатый и занимавшийся торговлей, приобрел опытность в путешествиях и потому, не опасаясь дурных для себя последствий, задумал облагодетельствовать страну, написав для нее прочные законы.

Чтобы заслужить доверие граждан, он притворился сумасшедшим и стал писать стихи про остров Саламин, о котором в порядочном греческом обществе говорить было не принято, так как остров этот с большим конфузом для Афинян был завоеван Мегарой.

Прием Солона имел успех, и ему поручили составление законов, чем он и воспользовался очень широко, подразделив жителей, кроме всего прочего, еще на пентакозиомедимнов, зеогитов и тетов (знаменитых тем, что «роскошные бриллианты, стоящие 4 рубля, продают за 1 рубль только еще неделю»).

На семейный быт Солон также обратил серьезное внимание. Он запретил невесте приносить мужу в приданое более трех платьев, зато потребовал от женщины скромности уже в количестве неограниченном.

Юноши афинские до 16 лет воспитывались дома, а войдя в зрелый возраст, занимались гимнастикой и умственным образованием, которое было столь легко и приятно, что даже называлось музыкой.

Кроме вышеизложенного, афинским гражданам вменялось в строгую обязанность почитать родителей; при избрании гражданина на какую-либо высокую государственную должность закон предписывал навести предварительную справку, почитает ли он родителей и не ругает ли их, и если ругает, то какими именно словами.

Человек, претендовавший на чин древнегреческого статского советника, должен был выправить свидетельство и о почтительности в отношении своих теток и свояченица. Это порождало массу неудобств и затруднений для замыслов честолюбивого человека. Сплошь и рядом человек принужден был отказываться от министерского портфеля, благодаря капризу какого-нибудь старого дедки, торгующего на базаре гнилым рахат-лукумом. Тот покажет, что его недостаточно уважали, и всей карьере капут.

Кроме того, высшие власти должны были постоянно справляться, чем занимаются граждане,

и наказывать людей праздных. Часто случалось, что полгорода сидело без сладкого блюда. Вопли несчастных не поддавались описанию.

ПИЗИСТРАТ И КЛИСФЕН

Утвердив свои законы, Солон не замедлил отправиться путешествовать.

Отсутствием его воспользовался его же родственник, местный аристократ Пизистрат, который стал тиранить Афины при помощи своего красноречия.

Вернувшийся Солон тщетно уговаривал его одуматься. Растиранившийся Пизистрат не слушал никаких доводов и делал свое дело.

Прежде всего он заложил в Ломбардии храм Зевса и умер, не внеся процентов.

После него унаследовали власть сыновья его Гиппий и Гиппарх, названные так в честь знакомых лошадей (526 г. до Р. Х.). Но их вскоре частью убили, частью изгнали из отечества.

Тут выдвинулся Клисфен — глава народной партии и заслужил доверие граждан, разделив их на 10 фил (вместо прежних четырех!) и каждую филу на димы. Мир и спокойствие не замедлили воцариться в измученной смутами стране.

Кроме того, Клисфен придумал способ отделываться от неприятных граждан посредством тайной подачи голосов, или остракизма. Чтобы благодарный народ не успел испробовать это симпатичное нововведение на его же спине, мудрый законодатель отправился путешествовать.

Постоянно делясь на филы, димы и фратрии, Афины быстро ослабели, как ослабела Спарта, не делясь ровно никак.

«Куда ни кинь — все клин!» — вздыхали историки.

ОСТАЛЬНАЯ ГРЕЦИЯ

Второстепенные греческие государства шли той же стезей.

Монархии мало-помалу сменялись более или менее аристократическими республиками. Но и тираны тоже не зевали и время от времени захватывали в руки верховную власть и, отвлекая от себя внимание народа

постройками общественных зданий, упрочивали свое положение, а затем, потеряв последнее, отправлялись путешествовать.

Спарта скоро поняла неудобство двух единовременных царей. Во время войны цари, желая выслужиться, оба отправлялись на поле битвы, и если при этом их обоих убивали, то народу приходилось приниматься снова за смуты и междуусобия, выбирая новую пару.

Если же на войну отправлялся только один царь, то второй пользовался случаем, чтоб выкурить своего собрата окончательно и завладеть Спартой безраздельно.

Было отчего потерять голову.

КОЛОНИИ

Необходимость для законодателей путешествовать после утверждения каждого нового закона очень оживила Грецию.

Целые толпы законодателей посещали то одну, то другую соседнюю страну, устраивая нечто вроде современных нам экскурсий сельских учителей.

Окрестные страны шли навстречу законодательским нуждам. Они выдавали удешевленные круговые билеты (Rundreise), делали скидки в гостиницах. Соединенная лодочная компания с ограниченной ответственностью «Мемфис и Меркурий» возила экскурсантов совсем даром и только просила не скандалить и не сочинять во время пути новых законов.

Таким образом, греки знакомились с соседними местностями и устраивали себе колонии.

ПОЛИКРАТ И РЫБЬИ ШТУКИ

На острове Самосе прославился тиран Поликрат, которого допекали морские рыбы. Какую бы дрянь ни бросил Поликрат в море, рыбы немедленно вытаскивали ее наружу в собственных животах.

Раз он бросил в воду крупную золотую монету. На другое же утро ему подали на завтрак жареную семгу. Тиран с жадностью разрезал ее. О, ужас! В рыбе лежал его золотой с процентами за одни сутки из двенадцати годовых.

Все это окончилось крупным несчастьем. По словам историков, «незадолго до своей смерти тиран был убит персидским сатрапом».

БЕЗУМЕЦ ГЕРОСТРАТ

Город Эфес был знаменит своим храмом богини Артемиды. Храм этот сжег Герострат, чтобы прославить свое имя. Но греки, узнав, с какой целью было сделано ужасное преступление, решили в наказание предать забвению имя преступника.

Для этого были наняты специальные глашатаи, которые в продолжение многих десятков лет разъезжали по всей Греции и объявляли следующее распоряжение:

«Не смейте помнить имя безумного Герострата, сжегшего из честолюбия храм богини Артемиды».

Греки так хорошо знали этот наказ, что можно было любого из них ночью разбудить и спросить: «Кого ты должен забыть?» И он, не задумываясь, ответил бы: «Безумного Герострата».

Так справедливо был наказан преступный честолюбец.

Из греческих колоний следует еще отметить Сиракузы, жители которой славились слабостью духа и тела.

БОРЬБА С ПЕРСАМИ. МИЛЬТИАД ПРИ МАРАФОНЕ

Персидский царь Дарий очень любил воевать. В особенности хотелось ему победить афинян. Чтобы не забыть как-нибудь в домашних хлопотах об этих своих врагах, он сам себя раздразнивал. Каждый день за обедом прислуга забывала поставить что-нибудь на стол: то хлеб, то соль, то салфетку. Если Дарий делал замечание нерадивым слугам, те хором отвечали ему по его же наущению: «А ты, Дарьюшка, помнишь ли об Афинянах?..»

Раздразнив себя до исступления, Дарий послал зятя своего Мардония с войсками завоевать Грецию. Мардоний был разбит и отправился путешествовать, а Дарий набрал новое войско и послал его на Марафон, не сообразив, что на Марафоне водится Мильтиад. О последствиях этого поступка распространяться не будем.

Все греки прославляли имя Мильтиада. Тем не менее жизнь свою пришлось Мильтиаду окончить смертью. При осаде Пароса он был ранен, и за это сограждане приговорили его к штрафу под тем предлогом, что он-де неосторожно обращался со своей кожей, которая принадлежит отечеству.

Не успел Мильтиад закрыть глаза, как в Афинах уже возвысились два мужа — Фемистокл и Аристид.

Фемистокл прославился тем, что лавры Мильтиада не давали ему спать (483). Злые афинские языки уверяли, что просто он прогуливал все ночи напролет и сваливал все на лавры. Ну, да Бог с ним. Кроме того, Фемистокл знал по имени и отчеству всех именитых граждан, что весьма льстило последним. Письма Фемистокла ставились в образец афинскому юношеству.

«...И еще кланяюсь папеньке моему Олигарху Кимоновичу и тетеньке Матроне Анемподистовне и племяннику нашему Каллимаху Мардарионовичу и т. д. и т. д.».

Аристид же предавался исключительно одной справедливости, но столь рьяно, что возбудил законное негодование в согражданах и при помощи остракизма отправился путешествовать (483).

ЛЕОНИД ПРИ ФЕРМОПИЛАХ

Царь Ксеркс, преемник Дария Гистаспа, пошел на греков с несметным (тогда еще не умели делать предварительной сметы) войском. Навел мосты через Геллеспонт, но буря их разрушила. Тогда Ксеркс высек Геллеспонт, и в море тотчас же водворилось спокойствие. После этого розгосечение было немедленно введено во всех учебных заведениях.

Ксеркс подошел к Фермопилам. У греков как раз был в это время праздник, так что заниматься пустяками было некогда. Отправили только спартанского царя Леонида с дюжиной молодцов, чтоб защитил проход.

Ксеркс послал к Леониду с требованием выдать оружие.

Леонид отвечал лаконически:

«Приди и возьми».

Персы пришли и взяли.

САЛАМИН

Вскоре произошло сражение при Саламине. Ксеркс наблюдал за битвой, сидя на высоком троне.

Увидя, как колотят его персов, восточный деспот кубарем свалился с трона и, потеряв мужество (480 г. до Р. Х.), воротился в Азию.

Затем произошла битва у города Платеи. Оракулы предсказали поражение тому войску, которое первое вступит в бой. Войска стали выжидать. Но спустя десять дней раздался характерный треск. Это лопнуло терпение Мардония (479 г.), и он начал сражение и был разбит на голову и на прочие части тела.

ВРЕМЕНА ГЕГЕМОНИИ

Благодаря проискам Фемистокла Гегемония перешла к Афинянам. Афиняне посредством остракизма отправили этого любителя гегемоний путешествовать. Фемистокл пошел к персидскому царю Артаксерксу. Тот дал ему большие подарки в надежде воспользоваться его услугами. Но Фемистокл низко обманул доверие деспота. Он принял подарки, но, вместо того чтобы служить, преспокойно отравился.

Вскоре умер и Аристид. Республика похоронила его по первому разряду и дала его дочерям солоновское приданое: три платья и скромность.

ПЕРИКЛ

После Фемистокла и Аристида в Афинской республике на первый план выступил Перикл, который умел живописно носить свой плащ.

Это сильно подняло эстетические стремления Афинян. Под влиянием Перикла город украсили статуями, и в домашний быт греков проникла пышность. Ели они без ножей и вилок, причем женщины не присутствовали, так как зрелище это считалось нескромным.

Почти у каждого человека за обеденным столом сидел какой-нибудь философ. Слушать философские рассуждения за жарким считалось столь же необходимым для древнего грека, как для наших современников румынский оркестр.

Перикл покровительствовал наукам и ходил к гетере Аспазии заниматься философией.

Вообще философы, даже если они и не были гетерами, пользовались большим почетом. Изречения их записывались на колоннах храма Аполлона в Дельфах.

Лучшие из этих изречений философа Биаса: «Не делай многих дел»,— поддержавшее многих лентяев на их природном пути, и философа Фалеса Милетского: «Поручительство принесет тебе заботу», о котором

многие вспоминают, дрожащей рукой ставя свой бланк на дружеском векселе.

Перикл умер от моровой язвы. Друзья, собравшиеся у его смертного одра, громко перечисляли его заслуги. Перикл сказал им:

— Вы позабыли самое лучшее: в жизни своей я никого не заставлял носить траурное платье.

Этими словами блестящий красноречивец хотел сказать, что никогда в жизни он не умирал.

АЛКИВИАД

Алкивиад был известен разгульным образом жизни и, чтоб заслужить доверие граждан, обрубил хвост своей собаке.

Тогда Афиняне, как один человек, поручили Алкивиаду начальство над флотом. Алкивиад уже отправился на войну, когда его вернули, заставляя сначала отсидеть за учиненный им перед отъездом уличный скандал. Он бежал в Спарту, потом раскаялся и бежал снова в Афины, потом раскаялся в необдуманном раскаянии и снова бежал в Спарту, потом опять в Афины, потом к Персам, потом в Афины, потом снова в Спарту, из Спарты в Афины.

Он бегал как сумасшедший, развивая невероятную скорость и сокрушая все на своем пути. Бесхвостая собака еле поспевала за ним и на пятнадцатом перегоне сдохла (412 г. до Р. Х.). Над ней стоит памятник, на котором Спартанцы начертали лаконически: «Странник, я сдохла».

Долго еще носился Алкивиад как бешеный из Спарты в Афины, из Афин к Персам. Несчастного пришлось пристрелить из жалости.

СОКРАТ

Однажды у афинского ваятеля неожиданно родился сын, прозванный за мудрость и любовь к философии Сократом. Сократ этот не обращал внимания на холод и на жару. Но не такова была жена его Ксантиппа. Грубая и необразованная женщина мерзла во время холодов и распаривалась от жары. Философ относился к недостаткам жены с невозмутимым хладнокровием. Однажды, рассердившись на мужа, Ксантиппа вылила ему на голову ведро с помоями (397 г. до Р. Х.).

Сограждане приговорили Сократа к смерти. Ученики советовали маститому философу отправиться лучше путешествовать. Но тот отказался за старостью лет и стал пить цикуту, пока не умер.

Многие уверяют, что Сократа нельзя ни в чем винить потому-де, что он весь целиком был выдуман своим учеником Платоном. Другие замешивают в эту историю и жену его Ксантиппу (398 г. до Р. Х).

МАКЕДОНИЯ

В Македонии жили македонцы. Царь их Филипп Македонский был умный и ловкий правитель. В беспрерывных военных предприятиях он потерял глаза, грудь, бок, руки, ноги и горло. Часто трудные положения заставляли его терять и голову, так что храбрый воитель оставался совсем налегке и управлял народом при помощи одной грудобрюшной преграды, что, однако, не могло остановить его энергии.

Филипп Македонский задумал покорить Грецию и начал свои происки. Против него выступил оратор Демосфен, который, набрав в рот мелких камушков, убедил греков противиться Филиппу, после чего набрал в рот воды. Этот способ объясняться называется филиппиками (346 г. до Р. Х.).

Сын Филиппа был Александр Македонский. Хитрый Александр родился нарочно как раз в ту ночь, когда сжег храм безумный грек Герострат; сделал он это для того, чтоб присоседиться к Геростратовой славе, что ему и удалось вполне.

Александр с детства любил роскошь и излишества и завел себе Буцефала.

Одержав много побед, Александр впал в сильное самовластие. Однажды друг его Клит, спасший ему когда-то жизнь, упрекнул его в неблагодарности. Чтоб доказать противное, Александр немедленно собственноручно убил несправедливца.

Вскоре после этого он убил еще кое-кого из своих друзей, боясь упреков в неблагодарности. Та же участь постигла полководца Пармениона, сына его Филона, философа Каллисфена и многих других. Эта невоздержность в убиении друзей подорвала здоровье великого завоевателя. Он впал в неумеренность и умер значительно раньше своей смерти.

РИМ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИТАЛИИ

Италия по виду похожа на башмак с очень теплым климатом.

НАЧАЛО РИМА

В Алабалонге царствовал добродушный Нумитор, которого злой Амулий свергнул с престола. Дочь Нумитора, Рею Сильвию, отдали в весталки. Тем не менее Рея родила двух близнецов, которых записала на имя Марса, бога войны, благо с того взятки гладки. Рею за это зарыли в землю, а детей стал воспитывать не то пастух, не то волчица. Здесь историки расходятся. Одни говорят, что их вскормил пастух на молоке волчицы, другие — что волчица на пастушьем молоке. Мальчики выросли и, подстрекаемые волчицей, основали город Рим.

Сначала Рим был совсем маленький — аршина в полтора, но затем быстро разросся и обзавелся сенаторами.

Ромул убил Рема. Сенаторы взяли Ромула живьем на небо и утвердили свою власть.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Народ римский делился на п а т р и ц и е в, имевших право пользоваться общественными полями, и п л е б е е в, получивших право платить подати.

Кроме того, были еще и пролетарии, о которых распространяться неуместно.

БРАТЬЯ ТАРКВИНЬЕВЫ И К°

В Риме последовательно сменилось несколько царей. Один из них — Сервий-Туллий был убит своим зятем Тарквинием, прославившимся своими сыновьями. Сыновья под фирмой «Братья Тарквиньевы и К°» отличались буйным характером и оскорбляли честь местных Лукреций. Недалекий отец гордился своими сыновьями, за что и был прозван Тарквинием Гордым.

В конце концов народ возмутился, изменил царскую власть и выгнал Тарквиния. Он всей фирмой

отправился путешествовать. Рим сделался аристократической республикой.

Но Тарквиний долго не хотел примириться со своей долей и ходил на Рим войной. Ему удалось между прочим вооружить против Римлян этрусского царя Порсену, но все дело испортил ему некто Муций Сцевола.

Муций решил убить Порсену и пробрался в его лагерь, но, по рассеянности, убил кого-то другого. Проголодавшись во время этого предприятия, Муций начал готовить себе ужин, но, вместо куска говядины, по рассеянности сунул в огонь собственную руку.

Царь Порсена потянул носом (502 г. до Р. Х.): «Жареным пахнет!» Пошел на запах и открыл Муция.

— Что ты делаешь, несчастный! — воскликнул потрясенный царь.

— Я готовлю себе ужин,— отвечал лаконически рассеянный молодой человек.

— Неужели ты будешь есть это мясо? — продолжал ужасаться Порсена.

— Разумеется,— с достоинством отвечал Муций, все еще не замечая своей ошибки.— Это любимый завтрак римских туристов.

Порсена пришел в замешательство и отступил с большими потерями.

Но Тарквиний не скоро успокоился. Он продолжал набеги. Римлянам пришлось в конце концов оторвать от плуга Цинцинната. Эта мучительная операция дала хорошие результаты. Враг был усмирен.

Тем не менее войны с Тарквиньевыми сыновьями подорвали благосостояние страны. Плебеи обеднели, ушли на Священную гору и пригрозили, что выстроят свой собственный город, где каждый будет сам себе патриций. Их с трудом успокоили басней о желудке.

Между тем децемвиры написали законы на медных досках. Сначала на десяти, потом для прочности прибавили еще две.

Затем стали пробовать прочность этих законов, и один из законодателей оскорбил Виргинию. Отец Виргинии пытался поправить де́ло тем, что вонзил дочери нож в сердце, но и это не принесло пользы несчастной. Растерявшиеся плебеи опять ушли на Священную гору. Децемвиры отправились путешествовать.

РИМСКИЕ ГУСИ И БЕГЛЕЦЫ

Несметные полчища Галлов двинулись на Рим. Римские легионы пришли в замешательство и, обратившись в бегство, спрятались в городе Веях, а остальные римляне легли спать. Галлы воспользовались этим и полезли на Капитолий. И здесь они сделались жертвой своей необразованности. На Капитолии жили гуси, которые, услышав шум, стали гоготать.

— Увы нам! — сказал предводитель варваров, услышав это гоготанье.— Вот уже римляне смеются над нашим поражением.

И тотчас же отступил с большими потерями, унося убитых и раненых.

Увидя, что опасность миновала, римские беглецы вылезли из своих Вей и, стараясь не смотреть на гусей (им было стыдно), сказали несколько бессмертных фраз о чести римского оружия.

После галльского нашествия Рим оказался сильно разоренным. Плебеи снова ушли на Священную гору и снова грозили построить свой город. Дело уладил Манлий Капитолийский, но не успел вовремя отправиться путешествовать и был сброшен с Тарпейской скалы.

Затем были изданы Лициннеевы законы. Патриции долго не принимали новых законов, и плебеи много раз ходили на Священную гору слушать басню о желудке.

ЦАРЬ ПИРР

Пирр — царь эпирский, высадился в Италии с несметным войском под предводительством двадцати боевых слонов. В первой битве потерпели поражение Римляне. Но царь Пирр остался этим недоволен.

— Что за честь, когда нечего есть! — воскликнул он.— Еще одна такая победа, и я останусь без войска. Не лучше ли потерпеть поражение, но иметь войска в полном сборе?

Слоны одобрили решение Пирра, и вся компания без особого труда была выгнана из Италии.

ПУНИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ

Желая овладеть Сицилей, Римляне вступили в борьбу с Карфагеном. Так началась первая война между

Римлянами и Карфагенянами, прозванная для разнообразия пунической.

Первая победа принадлежала римскому консулу Дунлию. Римляне отблагодарили его по-своему: они постановили, чтобы его всюду сопровождал человек с зажженным факелом и музыкант, игравший на флейте. Эта почесть сильно стесняла Дунлия в его домашнем обиходе и любовных делах. Несчастный быстро впал в ничтожество.

Пример этот пагубно повлиял на других полководцев, так что во время второй пунической войны консулы из страха заслужить флейту с факелом мужественно отступали перед врагом.

Карфагеняне под предводительством Ганнибала пошли на Рим. Сципион — сын Публия (кто не знает Публия?) с таким пылом отразил пуническое нападение, что получил звание Африканского.

В 146 году Карфаген был разрушен и сожжен. Сципион, родственник Африканского, смотрел на пылающий Карфаген, думал о Риме и декламировал о Трое: так как это было очень сложно и трудно, то он даже заплакал.

ПЕРЕМЕНА НРАВОВ И КАТОН

Прочности римского государства немало способствовала умеренность в образе жизни и твердость характера граждан. Они не стыдились труда, и пищу их составляли мясо, рыба, овощи, плоды, птица, пряности, хлеб и вино.

Но с течением времени все это изменилось, и римляне впали в изнеженность нравов. Многое вредное для себя переняли они от греков. Стали изучать греческую философию и ходить в баню (135 г. до Р. Х.).

Против всего этого восстал суровый Катон, но был уличен согражданами, заставшими его за греческим экстемпорале.

МАРИЙ И СУЛЛА

На северных границах Италии появились несметные полчища Кимвров. Спасать отечество пришел черед Марию и Сулле.

Марий был очень свиреп, любил простоту обихода, не признавал никакой мебели и сидел всегда прямо на

развалинах Карфагена. Он умер в глубокой старости от чрезмерного пьянства.

Не такова была судьба Суллы. Храбрый полководец умер у себя в поместье от невоздержанной жизни.

ЛУКУЛЛ И ЦИЦЕРОН

Тем временем в Риме выдвинулся своими пирами проконсул Лукулл. Он угощал своих приятелей муравьиными языками, комариными носами, соловьиными ногтями и прочей мелкой и неудобоваримой снедью и быстро впал в ничтожество.

Рим же едва не сделался жертвой большого заговора, во главе которого стоял обремененный долгами аристократ Катилина, задумавший захватить государство в свои руки.

Против него выступил местный Цицерон и сгубил врага при помощи своего красноречия.

Народ был тогда неприхотлив, и на сердца слушателей действовали даже такие избитые фразы, как... «O tempora, o mores» [1].

Цицерону поднесли чин «Отца отечества» и приставили к нему человека с флейтой.

ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ И ПЕРВЫЙ ТРИУМВИРАТ

Юлий Цезарь по рождению был человек образованный и легко привлекал к себе сердца людей.

Но под его наружностью скрывалось горячее честолюбие. Более всего хотелось ему быть первым в какой-нибудь деревне. Но достичь этого было очень трудно, и он пустил в ход различные происки, чтоб быть первым хоть в Риме. Для этого он вступил в триумвират с Помпеем и Крассом и, удалившись в Галлию, стал завоевывать расположение своих солдат.

Красс вскоре погиб, и Помпей, мучимый завистью, потребовал возвращения Цезаря в Рим. Цезарь, не желая расставаться с завоеванным расположением солдат, повел последних с собой. Доехав до речки Рубикона, Юлий долго юлил (51—50) перед ней, наконец сказал: «Жребий брошен» — и полез в воду.

Помпей этого никак не ожидал и быстро впал в ничтожество.

---

[1] О времена, о нравы *(лат.)*.

Тогда против Цезаря выступил Катон, потомок того самого Катона, который был уличен за греческой грамматикой. Ему, как и его предку, сильно не повезло. Это было у них фамильное. Он удалился в Утику, где и истек кровью.

Чтоб хоть чем-нибудь отличить его от предка, а заодно и почтить его память, ему дано было прозвище Утического. Слабое утешение для семьи!

ДИКТАТУРА И СМЕРТЬ ЦЕЗАРЯ

Цезарь отпраздновал свои победы и сделался диктатором в Риме.

Он сделал много полезного для страны. Прежде всего преобразовал римский календарь, который пришел в большой беспорядок от неточного времени, так что в иную неделю попадалось четыре понедельника подряд, и все римские сапожники допивались до смерти; а то вдруг пропадет месяца на два двадцатое число, и чиновники, сидя без жалованья, впадали в ничтожество. Новый календарь назван был Юлианским и имел 365 последовательно чередовавшихся дней.

Народ был доволен. Но некто Юний Брут, Цезарев приживальщик, мечтавший завести семь пятниц на неделе, устроил заговор против Цезаря.

Жена Цезаря, видевшая зловещий сон, просила мужа не ходить в сенат, но друзья его сказали, что неприлично манкировать обязанностями из-за женских сновидений. Цезарь пошел. В сенате Кассий, Брут и сенатор по имени просто Каска напали на него. Цезарь завернулся в свой плащ, но, увы, и эта предосторожность не помогла.

Тогда он воскликнул: «И ты, Брут!» По свидетельству историка Плутарха, он при этом подумал: «Мало я тебя, свинью, благодетельствовал, что ты теперь на меня с ножом лезешь!»

Затем он упал к ногам Помпеевой статуи и умер в 44 г. до Р. Х.

ОКТАВИЙ И ВТОРОЙ ТРИУМВИРАТ

В это время вернулся в Рим племянник и наследник Цезаря Октавий. Наследство, однако, успел уже прихватить друг Цезаря пылкий Антоний, оставив закон-

ному наследнику одну старую жилетку. Октавий был, по свидетельству историков, человеком небольшого роста, но тем не менее очень хитрым. Полученную им от пылкого Антония жилетку он немедленно употребил на подарки ветеранам Цезаря, чем и привлек их на свою сторону. Перепала малая толика и престарелому Цицерону, который принялся громить Антония теми же речами, которыми громил некогда Катилину. Опять выехало на сцену «О tempora, о mores». Хитрый Октавий льстил старику и говорил, что почитает его за папеньку.

Использовав старика, Октавий сбросил маску и вступил в союз с Антонием. К ним примазался еще некто Лепид, и образовался новый триумвират.

Пылкий Антоний вскоре попал в сети египетской царицы Клеопатры и впал в изнеженный образ жизни.

Клеопатра переворачивала его в своих сетях, как ревельскую кильку, и часто, вместо обеда, угощала куском жемчужины в уксусе.

Этим воспользовался хитрый Октавий и пошел на Египет с несметными полчищами.

Клеопатра выплыла на своих кораблях и участвовала в сражении, смотря на Антония то зелеными, то фиолетовыми, то пурпурными, то желтыми глазами. Но во время битвы царица вспомнила, что забыла ключи от кладовой, и велела кораблям поворачивать носы домой.

Октавий торжествовал и сам себе назначил человека с флейтой.

Клеопатра же стала расставлять ему свои сети. Она послала служанку к пылкому Антонию со следующими словами: «Барыня приказали вам сказать, что они померли». Антоний в ужасе пал на свой меч.

Клеопатра продолжала расставлять свои сети, но Октавий, несмотря на свой маленький рост, стойко отверг ее ухищрения.

АВГУСТ

Октавий, получивший за все вышеизложенное название Августа, стал управлять государством неограниченно. Но царского титула он не принял.

— К чему? — сказал он.— Зовите меня сокращенно императором.

Август украсил город банями и послал полководца Вара с тремя легионами в Тевтобургский лес, где тот и потерпел поражение.

Август в отчаянии стал колотиться головой об стену, припевая: «Вар, Вар, отдай мне мои легионы».

В стене быстро образовалась так называемая «Варваринская брешь» (9 г. по Р. Х.), а Август промолвил:

— Еще одно такое поражение, и я останусь без головы.

Династия Августа предавалась пышности и быстро впала в ничтожество.

Калигула, сын Германика, превзошел своих предшественников в праздности. Ему было лень даже рубить головы своих подданных, и он мечтал, чтобы у всего человечества была одна голова, которую он мог бы наскоро оттяпать.

Этот ленивец находил, однако, время, чтобы мучить животных. Так, своего лучшего коня, на котором и сам ездил, и воду возил, он заставлял еще по вечерам заседать в сенате.

После его смерти (через посредство телохранителя) и люди, и лошади вздохнули свободнее.

Унаследовавший престол дядя Калигулы Клавдий отличался слабостью характера. Воспользовавшись этим, приближенные исторгли у Клавдия смертный приговор для его жены, развратной Мессалины, и женили его на глубоко испорченной Агриппине. От этих жен был у Клавдия сын Британик, но наследовал престол Нерон, сын глубоко испорченной Агриппины от первого брака.

Юность свою Нерон посвятил истреблению родственников. Затем отдался искусству и постыдному образу жизни.

Во время пожара Рима он, как всякий истый древний римлянин (грек тож), не мог удержаться, чтобы не продекламировать про пожар Трои. За что и был заподозрен в поджигательстве.

Кроме того, он пел столь фальшиво, что самые фальшивые души из придворных не могли порой выносить этого оскорбления барабанной перепонки. Бесстыдный козлетон под конец жизни затеял поехать на гастроли в Грецию, но тут возмутились даже ко всему привыкшие легионы, и Нерон с большим неудовольствием пронзил себя мечом. Погибая от отсутствия самокритики, тиран воскликнул: «Какой великий артист погибает».

После смерти Нерона наступили смуты, и в течение двух лет в Риме переменилось три императора: Гальба, убитый солдатом за скупость, Оттон, погибший от развратной жизни, и Вителлий, отличившийся за свое короткое, но славное царство непомерным обжорством.

Это разнообразие в монархах очень занимало римских солдат. Им весело было, встав поутру, справиться у взводного: «А кто, дяденька, у нас нынче царствует?»

Впоследствии возникло много путаниц, так как цари слишком часто сменялись, и случалось, что новый царь всходил на престол, когда его предшественник не успел еще как следует умереть.

Выбирались цари солдатами на свой вкус и страх. Их брали за большой рост, за физическую силу, за уменье сильно выражаться. Затем стали прямо торговать тронами и продавали его тому, кто больше даст. В «Римском Вестнике» («Nuntius Romanus») сплошь и рядом печатались объявления:

«Отдается дешево хороший трон, малодержаный, за сходную цену».

Или:

«Ищу трон здесь или в провинции. Имею залог. Согласен в отъезд».

На воротах римских домов пестрели билетики:

«Сдаеца трон для одинокова. Спросить унтера Мардарьяна».

Рим несколько отдохнул во время царствования кроткого и пугливого императора, прозванного Нервою, и снова впал в отчаяние, когда на трон влез Комод.

Комод обладал большой физической силой и решил выступать на борьбе в местном Фарсе.

В «Римской Биржевке» («Bursiania Romana») печатались инспирированные правительством статьи о подвигах Комода.

«...И вот массивная мебель катается клубком, сплетясь с Иллирийской ящерицей и награждая последнюю искрометными макаронами и двойными нельсонами».

Близкие люди поспешили отделаться от неудобного Комода. Его задушили.

Наконец воцарился император Диоклетиан, двадцать лет подряд кротко сжигавший христиан. Это был его единственный недостаток.

Диоклетиан был родом из Далмации и сыном вольноотпущенника. Одна ворожея предсказала ему, что он вступит на престол, когда убьет вепря.

Слова эти запали в душу будущего императора, и он многие годы только и делал, что гонялся за свиньями. Однажды, услышав от кого-то, что префект Апр настоящая свинья, он немедленно зарезал префекта и тотчас же сел на трон.

Таким образом, кроткого императора поминали лихом только свиньи. Но эти передряги так утомили престарелого монарха, что он процарствовал только двадцать лет, затем отказался от престола и поехал на родину в Далмацию сажать редьку, сманив к этому полезному занятию и соправителя своего Максимиана. Но тот скоро опять попросился на трон. Диоклетиан же остался тверд.

— Друг,— говорил он.— Если бы ты видел, какая нынче уродилась репа! Ну и репа! Одно слово — репа! До царства ли мне теперь? Человеку не поспеть с огородом управиться, а вы лезете с пустяками.

И действительно, вырастил выдающуюся репу (305 г. по Р. Х.).

РИМСКИЙ БЫТ И КУЛЬТУРА

Классы населения.

Население Римского государства главным образом состояло из трех классов:

1) Знатных граждан (nobelas),

2) Незнатных граждан (подозрительная личность) и

3) Рабов.

Знатные граждане имели массу крупных преимуществ перед остальными гражданами. Во-первых, они имели право платить налоги. Главное же из преимуществ заключалось в праве выставлять у себя дома восковые изображения своих предков. Кроме того, они имели право устраивать на свой счет народные торжества и празднества.

Незнатным гражданам жилось плохо. Они не имели права платить никаких налогов, не имели права служить в солдатах и уныло богатели, занимаясь торговлей и промышленностью.

Рабы мирно обрабатывали поля и устраивали восстания.

Кроме того, были в Риме еще: сенаторы и всадники. Отличались они друг от друга тем, что сенаторы сидели в сенате, а всадники на лошадях.

Сенат.

Сенатом называлось то место, где заседали сенаторы и царские лошади.

Консулы.

Консулы должны были иметь более сорока лет от роду. Это было главное их качество. Консулов всюду сопровождала свита из двенадцати человек с розгами в руках, на предмет крайней необходимости, если консулу захочется кого-нибудь посечь вдали от лесистой местности.

Преторы.

Преторы распоряжались розговым довольствием только на шесть персон.

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО

Великолепное устройство римского войска немало способствовало военным победам.

Главную часть легионов составляли так называемые принципы — опытные ветераны. Поэтому римские солдаты с первых шагов убеждались, как вредно поступаться своими принципами.

Легионы вообще состояли из храбрых воинов, которые приходили в замешательство только при виде врага.

УЧРЕЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫЕ

Между римскими учреждениями первое место занимали учреждения религиозные.

Главный жрец назывался pontifex maximus, что не мешало ему порой надувать свою паству разными фокусами, основанными на ловкости и проворстве рук.

Затем следовали жрецы авгуры, которые отличались тем, что, встречаясь, не могли друг на друга смотреть без улыбки. Видя их развеселые физиономии, и остальные жрецы фыркали себе в рукав. Прихожане, кое-что раскусившие в греческих штучках, помирали со смеху, глядя на всю эту компанию.

Сам pontifex maximus, взглянув на кого-нибудь из своих подчиненных, только бессильно махал рукой и трясся от дряблого старческого смеха.

Тут же подхихикивали и весталки.

Само собой разумеется, что от этого вечного гоготанья римская религия быстро ослабла и пришла в упадок. Никакие нервы не могли выдержать такой щекотки.

Весталки были жрицами богини Весты. Выбирались они из девиц хорошей фамилии и служили при храме, соблюдая целомудрие до 75 лет. После этого срока им позволялось выходить замуж.

Но римские юноши так уважали столь испытанное целомудрие, что редко кто из них решался посягнуть на оное, даже сдобренное двойным солоновским приданым (6 платьев и 2 скромности).

Если же весталка раньше срока нарушала свой обет, то ее хоронили живой, а детей ее, записанных на разных Марсов, воспитывали волчицы. Зная блестящее прошлое Ромула и Рема, римские весталки очень ценили педагогические способности волчиц и считали их чем-то вроде наших ученых фребеличек.

Но надежды весталок были тщетны. Их дети более не основали Рима. В награду за целомудрие весталки получали почет и контрамарки в театрах.

Гладиаторские сражения считались первоначально религиозным обрядом и устраивались при погребениях «для примирения тела усопшего». Вот почему у наших борцов, когда они выступают в параде, всегда такие похоронные физиономии; здесь ясно проявляется атавизм.

Поклоняясь своим богам, римляне не забывали и богов иноземных. По привычке прихватывать где что плохо лежит римляне часто присваивали себе и чужих богов.

Римские императоры воспользовались этим боголюбием своего народа и, решив, что маслом каши не испортишь, ввели обожание своей собственной персоны. После смерти каждого императора сенат причислял его к лику богов. Затем рассудили, что гораздо удобнее делать это еще при жизни императора; последний мог, таким образом, строить себе храм по своему вкусу, тогда как древние боги должны были довольствоваться чем попало.

Кроме того, никто так ревностно не мог бы следить за установленными во имя свое празднествами и религиозными церемониями, как сам бог, лично присутствующий. Это очень подтягивало паству.

ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ

Философией в Риме занимались не только философы; каждый отец семейства имел право философствовать у домашнего очага.

Кроме того, каждый мог отнести себя к какой-нибудь философской школе. Один считал себя пифагорейцем, потому что ел бобы, другой эпикурейцем, потому что пил, ел и веселился. Каждый бесстыдник уверял, что делает гадости только потому, что он принадлежит к цинической школе. Среди важных римлян было много стоиков, имевших препротивное обыкновение сзывать гостей и во время пирожного тут же вскрывать себе жилы. Этот нечистоплотный прием считался верхом гостеприимства.

ДОМАШНИЙ БЫТ И ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН

Жилища у римлян были очень скромны: одноэтажный дом с дырками вместо окон — просто и мило. Улицы были очень узки, так что колесницы могли ехать только в одну сторону, чтобы не встречаться друг с другом.

Пища римлян отличалась простотой. Ели они два раза в день: в полдень закуска (prandium), а в четыре часа обед (coena). Кроме того, поутру они завтракали (фриштик), вечером ужинали и между едой морили червячка. Этот суровый образ жизни делал из римлян здоровых и долговечных людей.

Из провинции доставлялись в Рим дорогие и лакомые яства: павлины, фазаны, соловьи, рыбы, муравьи и так называемые «троянские свиньи» — porcus trojanus — в память той самой свиньи, которую Парис подложил троянскому царю Менелаю. Без этой свиньи ни один римлянин не садился за стол.

Обедал знатный римлянин всегда весь окруженный паразитами. Этот отвратительный обычай укоренился в Риме и не лишал гостей аппетита.

Вначале женщины римские были в полном подчинении у своих мужей — затем они стали угождать не столько мужу, сколько его друзьям, а часто даже и врагам.

Предоставив рабам, рабыням и волчицам воспитание детей, римские матроны заводили знакомства с греческой и римской литературой и изощрялись в игре на цитре.

Разводы происходили столь часто, что иногда не успевали закончить бракосочетания матроны с одним мужчиной, как она уже выходила за другого.

Вразрез со всякой логикой, это многобрачие увеличило, по свидетельству историков, «количество холостых мужчин и уменьшило деторождение», точно дети бывают только у женатых мужчин, а не у замужних женщин!

Народ вымирал. Беспечные матроны резвились, не заботясь нимало о деторождении.

Кончилось плохо. Несколько лет подряд рожали одни только весталки. Правительство встревожилось.

Император Август уменьшил права холостых мужчин, а женатым, напротив того, позволял разрешать себе много лишнего. Но все эти законы уже не привели ровно ни к чему. Рим погиб.

ВОСПИТАНИЕ

Воспитание римлян в цветущую эпоху государства было поставлено очень строго. От молодых людей требовались скромность и послушание старшим.

Кроме того, если они чего-нибудь не понимали, то могли во время прогулки спросить у кого-нибудь объяснения и почтительно выслушать таковое.

Когда Рим пришел в упадок, пошатнулось и образование юношества. Они стали обучаться грамматике и красноречию, и это сильно испортило его нрав.

ЛИТЕРАТУРА

Литература процветала в Риме и развивалась под влиянием греков.

Римляне очень любили писать, а так как писали за них рабы, то почти каждый римлянин, имеющий грамотного раба, считался писателем.

В Риме издавалась газета «Nuncius Romanus» — «Римский Вестник», в котором писал фельетоны на злобу дня сам Гораций.

Императоры тоже не гнушались литературой и помещали изредка в газете какую-нибудь шалость властительного пера.

Можно представить себе трепет редакции, когда

император во главе своих легионов являлся в положенный день за гонораром.

Писателям в те времена, несмотря на отсутствие цензуры, приходилось очень туго. Если на троне сидел эстет — он за малейшую погрешность в стиле или литературной форме приказывал несчастному поэту повеситься. Ни о каких отсидках или заменах штрафом не могло быть и речи.

Обыкновенно императоры требовали, чтобы всякое литературное произведение в блестящей и убедительной форме трактовало о достоинствах его особы.

Это делало литературу очень однообразной, и книги плохо раскупались.

Поэтому писатели любили запираться где-нибудь в тиши и уединении и оттуда уже давать волю своему перу. Но, дав волю, тотчас же предпринимали путешествие.

Один знатный вельможа, по имени Петроний, сделал смешную попытку издавать в Риме (трудно даже поверить!) САТИРИКОН! Безумец вообразил, что журнал этот может в I веке по Р. Х. иметь такой же успех, как и в XX по Р. Х.

Петроний обладал достаточными средствами (каждый день ел комариные брови в сметане, аккомпанируя себе на цитре), обладал он и образованием, и выдержкой характера, но, несмотря на все это, он не мог ждать 20 веков. Он прогорел со своей несвоевременной затеей и, удовлетворив подписчиков, умер, причем выпустил кровь из своих жил на своих друзей.

«САТИРИКОН дождется достойнейших» — были последние слова великого провидца.

НАУКА ПРАВА

Когда повесились более или менее все поэты и писатели — одна отрасль римской науки и литературы достигла высшей степени своего развития, именно — наука права.

Ни в одной стране не было такой массы законоведов, как в Риме, и потребность в них была очень велика.

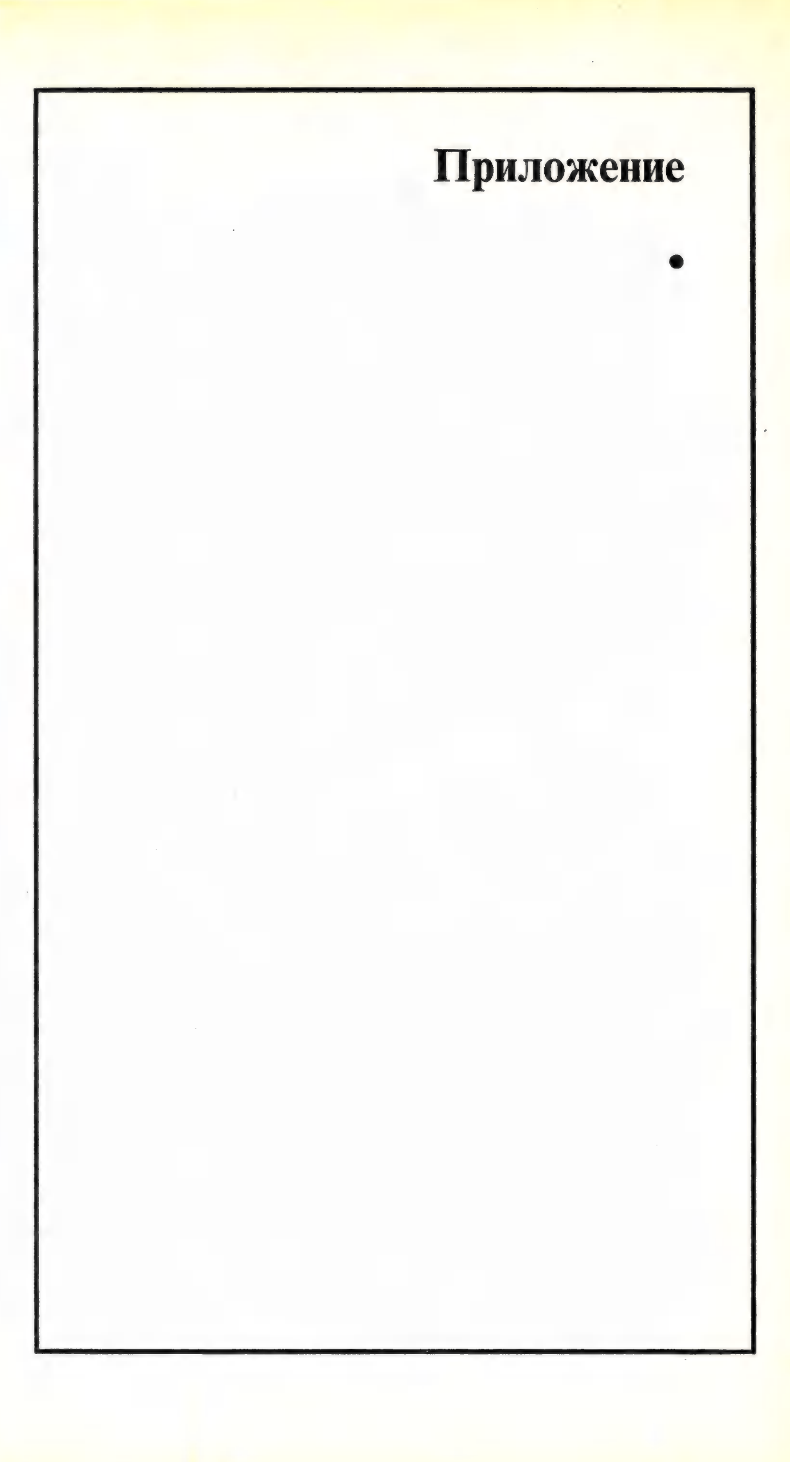
Каждый раз, когда на престол вступал убивший своего предшественника новый император, что иногда бывало по нескольку раз в год, лучшие законоведы должны были писать юридическое оправдание этого преступления для публичного обнародования.

Сочинить подобное оправдание большей частью бывало очень трудно: требовало специальных римско-юридических познаний, и немало юристов сложило на этом деле свои буйные головы.

Так жили народы древности, переходя от дешевой простоты к дорогостоящей пышности, и, развиваясь, впадали в ничтожество.

Образцы устных вопросов и письменных задач для повторения Древней Истории.

1. Указать разницу между статуей Мемнона и пифией.
2. Проследить влияние земледелия на персидских женщин.
3. Указать разницу между Лжесмердизом и простым Смердизом.
4. Провести параллель между женихами Пенелопы и первой Пунической войной.
5. Указать разницу между развратной Мессалиной и глубоко испорченной Агриппиной.
6. Перечислить, сколько раз дрогнули и сколько раз пришли в замешательство римские легионы.
7. Выразиться несколько раз лаконически без ущерба для собственной личности (упражнение).



Приложение

Из книги «Семь огней»

СЕМЬ ОГНЕЙ

СЕМЬ ОГНЕЙ

Я зажгу свою свечу!
Дрогнут тени подземелья,
Вспыхнут звенья ожерелья,—
Рады зыбкому лучу.
И проснутся семь огней
Заколдованных камней!
Рдеет радостный Рубин:
Тайны темных утолений,
Без любви, без единений
Открывает он один...
Ты, Рубин, гори, гори!
Двери тайны отвори!
Пышет искрами Топаз.
Пламя грешное раздует,
Защекочет, заколдует
Злой ведун, звериный глаз...
Ты, Топаз, молчи, молчи!
Лей горячие лучи!
Тихо светит Аметист,
Бледных девственниц услада,
Мудрых схимников лампада,
Счастье тех, кто сердцем чист...
Аметист, свети! Свети!
Озаряй мои пути!
И бледнеет и горит,
Теша ум игрой запретной,
Обольстит двуцвет заветный,
Лживый сон — Александрит...
Ты, двуцвет, играй! Играй!
Все познай — и грех, и рай!

Васильком цветет Сафир,
Сказка фей, глазок павлиний,
Смех лазурный, ясный, синий,
Незабвенный, милый мир...
Ты, Сафир, цвети! Цвети!
Дай мне прежнее найти!
Меркнет, манит Изумруд:
Сладок яд зеленой чаши,
Глубже счастья, жизни краше
Сон, в котором сны замрут...
Изумруд! Мани! Мани!
Вечно ложью обмани!
Светит благостный Алмаз,
Свет Христов во тьме библейской,
Чудо Каны Галилейской,
Некрушимый Адамас...
Светоч вечного веселья,
Он смыкает ожерелье!

САФИР

САФИР

Леониду Галичу

Венчай голубой Сафир желтому солнцу, и будет зеленый Смарагд (изумруд).

Венчай голубой Сафир красному огню, и будет фиолетовый Джамаст (аметист).

Альберт Великий

Излучение божества — сафирот.

Каббала

Бойся желтого света и красных огней,
Если любишь священный Сафир!
Чрез сиянье блаженно-лазурных камней
Божество излучается в мир.

Ах, была у меня голубая душа —
Ясный камень Сафир-сафирот!

И узнали о ней, что она хороша,
И пришли в заповеданный грот.

На заре они отдали душу мою
Золотым солнце-юным лучам,—
И весь день в изумрудно-зеленом раю
Я искала неведомый храм!

Они вечером бросили душу мою
Злому пламени красных костров.—
И всю ночь в фиолетово-скорбном краю
Хоронила я мертвых богов!

В Изумруд, в Аметист мертвых дней и ночей
Заковали лазоревый мир...
Бойся желтого света и красных огней,
Если любишь священный Сафир!

* * *

Зацветают весной (ах, не надо! не надо!),
Зацветают весной голубые цветы...
Не бросайте на них упоенного взгляда!
Не любите их нежной, больной красоты!

Чтоб не вспомнить потом (ах, не надо! не надо!),
Чтоб не вспомнить потом голубые цветы,
В час, когда догорит золотая лампада
Неизжитой, разбитой, забытой мечты!

МАРЬОНЕТКИ

Звенела и пела шарманка во сне...
Смеялись кудрявые детки...
Пестря отраженьем в зеркальной стене,
Кружилися мы, марьонетки.
    Наряды, улыбки и тонкость манер,—
    Пружины так крепки и прямы!—
    Направо картонный глядел кавалер,
    Налево склонялися дамы.
И был мой танцор чернобров и румян,
Блестели стеклянные глазки;
Два винтика цепко сжимали мой стан,

Кружили в размеренной пляске.
«О если бы мог на меня ты взглянуть,
Зажечь в себе душу живую!
Я наш бесконечный, наш проклятый путь
Любовью своей расколдую!
Мы скреплены темной, жестокой судьбой,—
Мы путники вечного круга...
Мне страшно!.. Мне больно!.. Мы близки с тобой,
Не видя, не зная друг друга...»
Но пела, звенела шарманка во сне,
Кружилися мы, марьонетки,
Мелькая попарно в зеркальной стене...
Смеялись кудрявые детки...

АМЕТИСТ

АМЕТИСТ

Побледнел мой камень драгоценный,
Мой любимый темный аметист.
Этот знак, от многих сокровенный,
Понимает тот, кто сердцем чист.

Робких душ немые властелины,
Сатанинской дерзкою игрой
Жгут мечту кровавые рубины,
Соблазняют грешной красотой!

Мой рубин! Мой пламень вдохновенный!
Ты могуч, ты ярок и лучист...
Но люблю я камень драгоценный —
Побледневший чистый аметист!

* * *

Моя любовь — как странный сон,
Предутренний, печальный...
Молчаньем звезд заворожен
Ее призыв прощальный!

Как стая белых, смелых птиц
Летят ее желанья
К пределам пламенных зарниц
Последнего сгоранья!..

Моя любовь — немым богам
Зажженная лампада.
Моей любви, моим устам —
Твоей любви не надо!

* * *

Гаснет моя лампада...
Полночь глядит в окно...
Мне никого не надо,
Я умерла давно!

Я умерла весною,
В тихий вечерний час...
Не говори со мною, —
Я не открою глаз!

Не оживу я снова —
Мысли о счастье брось!
Черное, злое слово
В сердце мое впилось...

Гаснет моя лампада...
Тени кругом слились...
Тише!.. Мне слез не надо...
Ты за меня молись!

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Недвижна эта ночь. Как факел погребальный
Кровавая луна пылает в небесах...
Из песен я плету себе венок венчальный,
И голос мой звенит, тревожный и печальный,
Рыдает в нем тоска, трепещет чуткий страх...

Наутро принесут мне твой привет прощальный —
Я буду ждать его, покорна и бледна...
Я знаю почему, как факел погребальный,
На чистый мой венок, на мой венок венчальный
Льет свой кровавый свет зловещая луна!

ЗАРЯ РАССВЕТНАЯ

Заря рассветная... Пылающий эфир!..
Она — сквозная ткань меж жизнию и снами!..
И, солнце затаив, охлынула весь мир
Златобагряными, горячими волнами!

Пусть не торопит день прихода своего!
В огне сокрытом — тайна совершенства...
    Ни ласки и ни слов, не надо ничего
    Для моего, для нашего блаженства!

АЛЕКСАНДРИТ

АЛЕКСАНДРИТ

Лучами обманно-влекущими,
Лучами небес опьянен,
Он, грезящий райскими кущами,
Зеленый и радостный днем,
    Ночью горит
    Александрит,
Вкованный в перстне моем!

Чрез пламя огней очищающих,
Отринув надежду и страх,
Иду я к блаженству сгорающих
В безогненных черных кострах...
    Прокляты дни,
    Жизни огни...
Солнцем рождаемый прах!

Разрушу я грани запретные
Последним кровавым мечом...
Открой же мне тайны двуцветные,
Ты, вкованный в перстне моем!
    Жги и гори!
    Жди до зари!
В солнце мы вместе умрем.

* * *

Мы тайнобрачные цветы...
Никто не знал, что мы любили,
Что аромат любовной пыли
Вдохнули вместе я и ты!

Там, в глубине подземной тьмы,
Корнями мы сплелись случайно,
И как свершилась наша тайна —
Не знали мы!

В снегах безгрешной высоты
Застынем — близкие,— чужие...
Мы — непорочно голубые,
Мы — тайнобрачные цветы!

---

* * *

Я знаю, что мы не случайны,
Что в нашем молчаньи — обман...
— Бездонные черные тайны
Безмолвно хранит океан!

Я знаю — мы чисты, мы ясны,
Для нас голубой небосвод...
— Недвижные звезды прекрасны
В застывшей зеркальности вод!

Я знаю — безмолвия полный
Незыблем их тихий приют...
— Но черные сильные волны
Их бурною ночью сольют!

БЕЛАЯ СИРЕНЬ

Я

Я — белая сирень. Медлительно томят
Цветы мои, цветы серебряно-нагие.
Осыпятся одни — распустятся другие,
И землю опьянит их новый аромат!

Я — тысячи цветов в бесслитном сочетанье,
И каждый лепесток — звено одних оков.
Мой белый цвет — слиянье всех цветов,
И яды всех отрав — мое благоуханье!

Меж небом и землей, сквозная светотень,
Как пламень белый, я безогненно сгораю...
Я солнцем рождена и в солнце умираю...
Я жизни жизнь! Я — белая сирень!

Н. М. МИНСКОМУ

Есть у сирени темное счастье —
Темное счастье в пять лепестков!
В грезах безумья, в снах сладострастья,
Нам открывает тайну богов.

Много, о, много, нежных и скучных,
В мире печальном вянет цветов,
Двулепестковых, четносозвучных...
Счастье сирени — в пять лепестков!

Кто понимает ложь единений,
Горечь слияний, тщетность оков,
Тот разгадает счастье сирени —
Темное счастье в пять лепестков!

ПЕСНЯ О БЕЛОЙ СИРЕНИ

Дай мне радость нежного привета,
Мне на кудри свой венок надень!
— В день расцвета радостного лета
Распускалась белая сирень.

Ласк твоих хочу я без возврата!
Знойно долгих в долгознойный день!..
— В час заката ядом аромата
Опьяняла белая сирень.

День угаснет, и уйду я снова
В тени ночи, призрачная тень...
— В снах былого неба золотого
Умирала белая сирень.

* * *

Он был так зноен, мой прекрасный день!
И два цветка, два вместе расцвели.
И вместе в темный ствол срастались их стебли,
И были два одно! И звали их — сирень!

Я знала трепет звезд, неповторимый вновь!
(Он был так зноен, мой прекрасный день!)
И знала темных снов, последних снов ступень!..
И были два одно! И звали их — любовь!

РУБИН

МОНАХИНЯ

Вчера сожгли мою сестру,
    Безумную Мари.
Ушли монахини к костру
Молиться до зари...
Я двери наглухо запру.
Кто может — отвори!

Еще гудят колокола,
Но в келье тишина...
Пусть там горячая зола,
Там, где была она!..
Я свечи черные зажгла,
Я жду! Я так должна!

Вот кто-то тихо стукнул в дверь,
    Скользнул через порог...
Вот черный, мягкий, гибкий зверь
    К ногам моим прилег...
— Скажи, ты мне принес теперь
    Горячий уголек?

Не замолю я черный грех —
Он страшен и велик!
Но я смеюсь и слышу смех
И вижу странный лик...
Что вечность ангельских утех
Для тех, кто знал твой миг!

Звенят, грозят колокола,
Гудит глухая медь...
О, если б, если б я могла,
Сгорая, умереть!
Огнистым вихрем взвейся, мгла!
Гореть хочу! Гореть!

ЛУНЕ ПРОКЛЯТЬЕ

Да будет проклята Луна!
Для нас, безумных и влюбленных,
В наш кубок снов неутоленных
Вливает мертвого вина...
Да будет проклята Луна!

Томлений лунных не зови!
Для тех, кто в страсти одиноки,
Они бесстыдны и жестоки,
Но слаще жизни и любви...
Томлений лунных не зови!

Кто звал Луну в ночные сны,
Тем нет возврата, нет исхода,
Те встретят зарево восхода
Рабами бледными Луны,
Кто звал Луну в ночные сны!

Ей власть забвенья не дана!
Она томлением отравит
И бросит в жизнь и жить оставит,
Она бессильна и жадна!..
Да будет проклята Луна!

ПОЛНОЧЬ

    Светом трепетной лампады
    Озаряя колоннады
Белых мраморных террас,
    Робко поднял лик свой ясный
    Месяц бледный и прекрасный
    В час тревожный, в час опасный,
В голубой полночный час.

И змеятся по ступени,
Словно призрачные тени
Никогда не живших снов,
Тени стройных, тени странных,
Голубых, благоуханных,
Лунным светом осиянных,
Чистых ириса цветов.

Я пришла в одежде белой,
Я пришла душою смелой
Вникнуть в трепет голубой
На последние ступени,
Где слились с тенями тени,
Где в сребристо-пыльной пене
Ждет меня морской прибой.

Он принес от моря ласки,
Сказки-песни, песни-сказки
Обо мне и для меня!
Он зовет меня в молчанье,
В глубь без звука, без дыханья,
В упоенье колыханья
Без лучей и без огня.

И в тоске, как вздох бездонной,
Лунным светом опьяненный,
Рвет оковы берегов...
И сраженный, полный лени,
Он ласкает мне колени,
И черней змеятся тени
Чистых ириса цветов...

* * *

Л. Г.

Вянут лилии, бледны и немы...
Мне не страшен их мертвый покой,
В эту ночь для меня хризантемы
Распустили цветок золотой!

Бледных лилий печальный и чистый
Не томит мою душу упрек...
Я твой венчик люблю, мой пушистый,
Златоцветный, заветный цветок!

Дай вдохнуть аромат твой глубоко,
Затумань сладострастной мечтой!
Радость знойная! Солнце востока!
Хризантемы цветок золотой!

СНЕГ

О, как я жду тебя! Как долго, долго жду я!..
Затихло все... Должно быть, близок ты...
Я ветер позвала. Дыханьем смерти дуя,
Он солнце погасил и, злясь и негодуя,
Прогнал докучных птиц и оборвал цветы.

О, дай мне грез твоих бестрепетных и чистых!
Пусть будет сон мой сладок и глубок...
Над цепью туч тоскующих и мглистых
Небесных ландышей воздушных и пушистых
Ты разорви серебряный венок!

Как белых бабочек летающая стая,
Коснешься ты ресниц опущенных моих...
Закинув голову, отдам тебе уста я,
Чтоб, тая, мог ты умереть на них!

ЛУННОЕ

Не могу эту ночь провести я с тобой!
На свиданье меня месяц звал голубой.
Я ему поклялась, обещала прийти.
Я с тобой эту ночь не могу провести!
    Нет, оставь! Не целуй! Долгой лаской не мучь!
    Посмотри — уж в окно бьет серебряный луч.
    Только глянет на нас бледный месяца лик —
    Ненавистен и чужд станешь ты в тот же миг!
Подбегу я к окну... Я окно распахну...
Свои руки, себя всю к нему протяну...
И охватит меня бледный лунный туман,
Серебристым кольцом обовьет он мой стан...
    Он скользнет по плечам, станет кудри ласкать,
    На ресницах моих поцелуем дрожать...
    Он откроет душе, как ночному цветку,
    Невозможной мечты и восторг и тоску.

Буду счастье искать я в тревожном, больном
Красоты и греха ощущенье двойном,
Умирать без конца... До конца замирать,
Трепет лунных лучей, как лобзанье, впивать...
Так оставь! Не терзай меня тщетной мольбой!
Не могу эту ночь провести я с тобой!

ИЗУМРУД

РЕКВИЕМ ЛЮБВИ

Мою хоронили любовь...
Как саваном белым тоска
Покрыла, обвила ее
Жемчужными нитями слез.
Отходную долго над ней
Измученный разум читал,
И долго молилась душа,
Покоя прося для нее...
Вечная память тебе!
Вечная — в сердце моем!
И черные думы за ней
Процессией траурной шли,
Безумное сердце мое
Рыдало и билось над ней...
Мою схоронили любовь.
Забвенье тяжелой плитой
Лежит на могиле ее...
Тише... Забудьте о ней!
Вечная память тебе!
Вечная — в сердце моем!

* * *

Как темно сегодня в море,
Как печально темно!
Словно все земное горе
Опустилось на дно...
Но не может вздох свободный
Разомкнуть моих губ —
Я недвижный, я холодный,
Неоплаканный труп.
Мхом и тиной пестро вышит
Мой подводный утес,

Влага дышит и колышет
Пряди длинных волос...
Странной грезою волнуя,
Впился в грудь и припал,
Словно знак от поцелуя,
Темно-алый коралл.
Ты не думай, что могила
Нашу цепь разорвет!
То, что будет, то, что было,
В вечном вечно живет!
И когда над тусклой бездной
Тихо ляжет волна,
Заиграет трепет звездный,
Залучится луна,
Я приду к тебе, я знаю,
Не могу не прийти,
К моему живому раю
Нет другого пути!
Я войду в твой сон полночный,
И жива, и тепла —
Эту силу в час урочный
Моя смерть мне дала!
На груди твоей найду я
(Ты забыл? Ты не знал?)
Алый знак от поцелуя,
Словно темный коралл.
Отдадимся тайной силе
В сне безумном твоем...
Мы все те же! Мы как были
В вечном вечно живем!
Не согнут ни смерть, ни горе
Страшной цепи звено...
Как темно сегодня в море!
Как печально темно!

ПЕСНЯ О ТРЕХ ПАЖАХ

(С французского)

Три юных пажа покидали
Навеки свой берег родной.
В глазах у них слезы блистали,
И горек был ветер морской.

– Люблю белокурые косы! —
Так первый, рыдая, сказал. —
Уйду в глубину под утесы,
Где блещет бушующий вал,
Забыть белокурые косы! —
Так первый, рыдая, сказал.

Промолвил второй без волненья —
Я ненависть в сердце таю,
И буду я жить для отмщенья
И черные очи сгублю!

Но третий любил королеву
И молча пошел умирать.
Не мог он ни ласке, ни гневу
Любимое имя предать.
Кто любит свою королеву,
Тот молча идет умирать!

* * *

Не тронь моих цветов! — Они священны!
Провидя темный путь их жертвенной судьбы!
Великие жрецы и кроткие рабы
Служили им, коленопреклоненны.

Сплетешь ли ты венок из этих фьялок!
Замученных цветов для радости не рви.
Их горький аромат на пиршестве любви
Смутит тебя, томителен и жалок...

О, царственная скорбь — их увяданье!
Забудь лазурный день и солнечную высь,
Приди к моим цветам, молитвенно склонись,
Земле моей отдай свое лобзанье!

АЛМАЗ

ПЧЕЛКИ

К. Платонову

Мы бедные пчелки, работницы-пчелки!
И ночью и днем всё мелькают иголки
В измученных наших руках!

Мы солнца не видим, мы счастья не знаем,
Закончим работу и вновь начинаем
С покорной тоскою в сердцах.

Был праздник недавно. Чужой. Нас не звали.
Но мы потихоньку туда прибежали
Взглянуть на веселье других!
Гремели оркестры на пышных эстрадах,
Кружилися трутни в богатых нарядах,
В шитье и камнях дорогих.

Мелькало роскошное платье за платьем...
И каждый стежок в них был нашим проклятьем
И мукою каждая нить!
Мы долго смотрели без вдоха, без слова...
Такой красоты и веселья такого
Мы были не в силах простить!

Чем громче лились ликования звуки —
Тем ныли больнее усталые руки,
И жить становилось невмочь!
Мы видели радость, мы поняли счастье,
Беспечности смех, торжество самовластья...
Мы долго не спали в ту ночь!

В ту ночь до рассвета мелькала иголка:
Сшивали мы полосы красного шелка
Полотнищем длинным, прямым...
Мы сшили кровавое знамя свободы,
Мы будем хранить его долгие годы,
Но мы не расстанемся с ним!

Всё слушаем мы: не забьет ли тревога!
Не стукнет ли жданный сигнал у порога!..
Нам чужды и жалость и страх!
Мы бедные пчелки, работницы-пчелки,
Мы ждем, и покорно мелькают иголки
В измученных наших руках...

* * *

Полны таинственных возмездий
Мои пути!
На небесах былых созвездий
Мне не найти...

Таит глубин неутоленность
Свой властный зов...
И не манит меня в бездонность
От берегов!

Сомкнулось небо с берегами,
Как черный щит,
И над безмолвными морями
Оно молчит...

Но верю я в пути завета,
Гляжу вперед!
Гляжу вперед и жду рассвета,
И он придет!..

Пусть небеса мои беззвездны,
Молчат моря...
Там, где сливаются две бездны,
Взойдет заря!

* * *

Засветила я свою лампаду,
Опустила занавес окна.
Одиноких тайную усладу
Для меня открыла тишина.
Я не внемлю шуму городскому,
Стонам жизни, вскрикам суеты,
Я по шелку бледно-голубому
Вышиваю белые цветы.
Шью ли я для брачного алькова
Мой волшебный, радостный узор?
Или он надгробного покрова
Изукрасит траурный убор?...
Иль жрецу грядущей новой веры
Облечет неведомый обряд?
Иль в утеху царственной гетеры
Расцветит заманчивый наряд...
Иль на буйном празднике свободы
Возликует в яркости знамен?..
Иль, завесив сумрачные своды,
В пышных складках скроет черный трон?..
В откровенье новому Синаю

Обовьет ли новую скрижаль?..
Я не знаю, ничего не знаю —
Что мне страшно и чего мне жаль!
Волей чуждой, доброю иль злою,
Для венка бессмертной красоты
Зацветайте под моей иглою,
Зацветайте, белые цветы!

* * *

Нас окружила мгла могильными стенами,
Сомкнула ночь зловещие уста,
И бледная любовь стояла между нами
В одежде призрачной, туманна и чиста.
Поникли розы, робостью томимы,
Меж брачных мирт чернеющей листвы,
И — шестикрылые земные серафимы —
Молчали лилии, холодны и мертвы,
Нас истомила мгла мучительными снами,
Нам жертвенных костров забрезжили огни...
И проклял ты Ее, стоящую меж нами,
И ты сказал: распни Ее! распни!
К позорному кресту мы Ей прибили руки,
Ты для Нее терновый сплел венец...
И радовали нас Ее земные муки,
И опьянил Ее земной конец!
Но, искупленья чудо совершая,
На землю пала жертвенная кровь...
И вновь воспрянула бессмертная, живая,
Любовь единая, воскресшая любовь!
Раздвинулась небес тяжелая завеса,
И вспыхнули светил златые алтари...
Свершалася для нас таинственная месса
В надмирной высоте негаснущей зари.
Молилася земля, и радостные слезы
Блистали в облаках, блаженны и легки...
И тихо в темный мирт вживаться стали розы,
Сплетаяся для нас в венчальные венки!
И радость та была прекрасна и желанна,
В Единый Свет сливая дух и плоть...
И лилии вокруг воскликнули: Осанна!
Благословенна Жизнь! Благословен Господь!

ГУЛЬДА

На кривеньких ножках заморыши-детки!
Вялый одуванчик у пыльного пня!
И старая птица, ослепшая в клетке!
Я скажу! Я знаю! Слушайте меня!

В сафировой башне златого чертога
Королевна Гульда, потупивши взор,
К подножью престола для Господа Бога
Вышивает счастья рубинный узор.

Ей служат покорно семь черных оленей,
Изумрудным оком поводят, храпят,
Бьют оземь копытом и ждут повелений,
Ждут, куда укажет потупленный взгляд.

Вот взглянет — и мчатся в поля и долины.
К нам, к слепым, к убогим, на горе и страх!
И топчут и колют, и рдеют рубины —
Капли кроткой крови на длинных рогах...

Заморыши-детки! Нас много! Нас много,
Отданных на муки, на смерть и позор,
Чтоб вышила счастья к подножию Бога
Королевна Гульда рубинный узор!

ТОПАЗ

Видения о стране Сеннаарской

ЗВЕРЬ

...И золото той земли хоро-
шее; там бдолах и камень оникс.

Бытие 2, 12

Было в земле той хорошее злато,
Камень оникс и бдолах.
Жили мы вместе в долине Евфрата,
В пышных эдемских садах.

Тени ветвей были наши покровы,
Ложе — цветенье гранат.
Ты мне служил по веленью Иеговы,
Мой первосозданный брат.

Вместе любили мы с венчиков лилий
Стряхивать сладостный прах,
Ночью луну молодую дразнили,
Выли, визжали в кустах.

Сень теревинфа смыкалась над нами
В зыбкий зеленый шалаш...
Чей это сон — этот луч меж ветвями —
Мой, или твой, или наш?..

Брали мы радость, как звери, как боги
Всю — без надежд и потерь!
Тихо рыча, ты лизал мои ноги,
Темный и радостный зверь.

В день отомщенья греха и изгнанья
Скучной дорогой земной,
Зверь, не вкусивший от древа познанья,
Тихо пошел ты за мной.

Но в мире новом мы стали врагами!
Злато, оникс и бдолах
Бросили вечным проклятьем меж нами
Злобу, страданье и страх...

Где теревинф мой? Его ли забуду!
Разве не та я теперь!..
Помню, тоскую и верую чуду —
Жду тебя, радостный зверь!

ЭЛЬ-САИР

В ночь Священной Пальмы месяца Реджеба
Черные туманы плыли в небесах,
Звезды — златоискры, звезды — очи неба
На восток смотрели, затаили страх!
    В храме черных камней знойного Саббата
    Тихо лили арфы среброструнный стон,
    Вил малийский ладан клубы аромата
    В аметистных чашах бронзовых колонн.

Замерли, дрожа, павлиньи опахала,
Пали ниц рабы на мраморном полу,
Эль-Саир царица, жрица Уротала
Солнце вызывала, заклинала мглу:
«Переливным лалом ласковые зори
Расцветили нежно край небесных скал!
Облачные челны на сафирном море
Ждут тебя, прекрасный, ясный Уротал!
Золотой верблюд в рубиновой пустыне! —
Он тебя примчит из огненной страны!
Он растопчет тень испуганной богини —
Побледневшей Син, предутренней луны!»
Рокотали арфы... Сбросив покрывало,
В трепетной тоске молила Эль-Саир:
«Я люблю любовью бога Уротала!
Я его зову на свой венчальный пир!
Выйди! Я отдамся сладостному зною,
Грудь свою открою властному лучу!
И в тебе, с тобою искрой золотою
В пламени бессмертном я сгореть хочу!»
И в ответ царице задрожали тучи,
Оборвали арфы среброструнный стон...
Кто-то знойно-сильный, радостно-могучий
Дерзостным порывом сдвинул небосклон!
И, мечом багровым рассекая небо,
Солнце, Пламя Жизни, охватило мир...
В ночь Священной Пальмы месяца Реджеба
Умерла от счастья жрица Эль-Саир.

ПРАЗДНИК ДЕВ

Меж яшмовых колонн, где томно стонут птицы,
Где зыбит кипарис зеленопышный кров,
Покуда спит Иштар, мы — избранные жрицы —
Ткем покрывало ей из золотых шнуров.
Когда ж настанет ночь, и в прорези колонны
Свой первый бледный луч богиня бросит нам
И вздымет радостно звезду своей короны —
Мы в рощи убежим, в ее зеленый храм!
Взметнутся и спадут пурпуровые шарфы —
Восславим наготой великую Иштар! —
И будут бубны звать и будут плакать арфы
Для пляски сладостной сплетенных юных пар...
Но я одна из всех останусь одинокой,
Останусь до зари с своим веретеном,

Стеречь златой покров богини звездноокой
И горько вспоминать и думать об одном...
Как привели меня на первый праздник лунный,
В толпе таких, как я, невинных робких дев,
Как опьянил меня тот рокот сладкострунный,
Священный танец жриц и жертвенный напев.
И много было нас. Горбуньи и калеки,
Чтоб не забыли их, протиснулись вперед,
А мы, красивые, мы опустили веки,
И стали у колонн, и ждали свой черед.
Вот смолкли арфы вдруг, и оборвались танцы...
Раскрылась широко преджертвенная дверь...
И буйною толпой ворвались чужестранцы,
Как зверь ликующий, голодный, пестрый зверь!
Одежды странные, неведомые речи!
И лица страшные и непонятный смех...
Но тот, кто подошел и взял меня за плечи,
Свирепый и большой,— тот был страшнее всех!
Он черный был и злой, как статуя Ваала!
Звериной шкурою охвачен гибкий стан,
Но черное чело златая цепь венчала —
Священный царский знак далеких знойных стран.
О, ласки черных рук так жадны и так грубы,
Что я не вспомнила заклятья чуждых чар!
Впились в мои уста оранжевые губы
И пили жизнь мою, и жгла меня Иштар!..
И золото его я отдала богине,
Как отдала себя, покорная судьбе.
Но взгляд звериных глаз я помню и поныне,
Я этот взгляд его — оставила себе!
Зовут меня с собой веселые подруги:
«Взгляни, печальная, нам ничего не жаль!
О, сколько радости — сплетаться в буйном круге,
Живым лобзанием жечь мертвую печаль!»
Иштар великая! На зов иного счастья
Я не могу пойти в твой сребролунный храм!
Я отдала тебе блаженство сладострастья,
Но мук любви моей тебе я не отдам!

ВЕНЧАНИЕ ПАЛЬМЫ

Собирайтесь! Венчайте священную пальму Аль-Уззу,
Молодую богиню Неджадских долин!
Разжигайте костры! Благосклонен святому союзу

Бог живых ароматов, наш радостный Бог Бал-Самин!
— Мой царевич Гимьяр! Как бледен ты...
Я всю ночь для тебя рвала цветы,
Собирала душистый алой...
— Рабыня моя! Не гляди мне в лицо!
На Аль-Уззу надел я свое кольцо —
Страшны чары богини злой!
Одевайте Аль-Уззу в пурпурные ткани и злато,
Привяжите к стволу опьяненный любовью рубин!
Мы несем ей цветущую брачную ветвь Дат-анвата,
Благосклонен союзу наш радостный Бог Бал-Самин!

— Мой царевич Гимьяр! Я так чиста...
Поцелуя не знали мои уста!
Не коснулась я мертвеца...
Я как мирры пучок на груди у тебя,
Я как мирры пучок увял , любя,
Но ты мне не надел кольца!

Раздвигайте, срывайте пурпурно-шумящие ткани!
Мы пронзим ее ствол золоченым звенящим копьем.
С тихим пеньем к ее обнаженной зияющей ране
Тихо брачную ветвь мы прижмем, мы вонзим, мы привьем!

— Мой царевич Гимьяр! Ты глядишь вперед!
Ты глядишь, как на ней поцелуй цветет,
И томится твоя душа...
— Рабыня моя! Как запястья звенят...
Ткань шелестит... томит аромат...
Как богиня моя хороша!
Бейте в бубны! Кружитесь! Священному вторьте напеву!
Вы бросайте в костры кипарис, смирну, ладан и тмин!
В ароматном огне мы сожжем непорочную деву!
Примет чистую жертву наш радостный Бог Бал-Самин!

— Мне тайный знак богинею дан!
Как дева она колеблет свой стан
Под пляску красных огней...
Ты нежней и прекрасней своих сестер!
И как мирры пучок тебя на костер
Я бросаю во славу ей!

* * *

Когда я была царица,
Я на пышном ложе лежала.
Две девы, две черные жрицы,
Колыхали над ним опахала.

Приходил ты, мой царь и любовник,
В истоме темных желаний...
На груди моей алый шиповник
Зацветал от твоих лобзаний...

Ни одна из жриц не смотрела
На ласки твои, но я знала,
Что трепещет их черное тело,
Что дрожат в руках опахала!..

Когда я была царица,
Я тебя целовала тоже,
Для того, чтоб бледнели лица
Тех двух, что стояли у ложа!

ПЕСНЬ РАБЫНИ

В счастливой родине моей,
Где много радостных чудес,
Среди таинственных камней
Есть Аль-Джамаст, мечта небес!

Ему дана святая власть —
Его положишь на ладонь,
И выпьет он из сердца страсть,
Твою тоску, твой злой огонь!

И утолит и сердцу даст
Веселье дней, покой ночей —
Могучий камень Аль-Джамаст
Счастливой родины моей!

ΧΡΥΣΌΚΟΜΟΣ

В знойной Джедде, среди своих смуглых сестер
Я одна родилась белокурой.
Ты, возлюбленный мой, приходи в наш шатер —

О, волос моих сладостный плен!
Я закрою тебя до колен,
Словно львиною шкурой!
Будут кудри мои для тебя, для меня
Жгучей лаской и царственным ложем.
Посмотри, сколько в них золотого огня!
Радость солнца зажечь среди тьмы
Только мы! только мы! только мы —
Златокудрые можем!
В храме солнца, когда молодую зарю
Наше племя молитвой встречает,
Я, как факел из белого кедра, горю —
Бог небес огневой Меродах
На моих золотых волосах
Свой огонь зажигает!
Я бедна. Я пасу пыльнорунных овец.
Кто не видел царицы Саббата?
Над пурпурным шатром ее царский венец,
Но на ней столько золота нет,
Сколько в кудри мои Ашторет
Заплела так богато!
Ты, богиня, мой жертвенный пламень не тронь!
Для тебя моя жертва открыта...
И когда побледнеет священный огонь,
Я тебе мои кудри отдам,
Я сама принесу их в твой храм,
Ашторет Зербанита!

ЖЕРТВА

Поклонитесь крылатому солнцу — Ашуру,
Нашему Богу!
Расстелите, покорные, львиную шкуру
Пред ним на дорогу.
Вы, плененные нами, рабы и рабыни,
Радуйтесь с нами!
Вы великого Бога утешите ныне
Красными снами.
Как трепещут священные листья Ашеры
В дымах кадильных,
Трепещите пред таинством нашей веры,
Пред радостью сильных!
Вот пронзят ваши очи лучами Мардука
Копья златые!

Да вольется невинная сладкая мука
        В гимны святые.
Ибо так все стоим у святого порога —
    Нищие все мы,
И зовем, и взываем, и ищем бога,
Слепы и немы...
Через красный огонь поведем вас к Ашуру,
    К нашему Богу!
Расстелите, покорные, львиную шкуру
    Пред ним на дорогу!

Женский вопрос

Фантастическая шутка в 1-м действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ОТЕЦ. В первой и третьей картинах в обыкновенном платье; во второй — в длинном цветном клетчатом сюртуке, широком отложном воротнике и в пышном шарфе, завязанном бантом под подбородком.

МАТЬ. В первой картине в домашнем платье. Во второй картине в узкой юбке, сюртуке, жилете, крахмальном белье.

КАТЯ. Причесана по-дамски. 18 лет. Одета во второй картине приблизительно как мать.

ВАНЯ. 17 лет.

КОЛЯ. 16 лет. В первой картине Ваня в пиджаке. Коля в велосипедном костюме. Во второй картине — оба в длинных цветных сюртуках, один в розовом, другой в голубом, с большими цветными шарфами и мягкими кружевными воротниками.

их дети.

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. Одет в том же роде. Шляпа с вуалью. В руках муфта.

ТЕТЯ МАША. Толстая. Мундир до колен, высокие сапоги, густые эполеты, ордена. Прическа дамская.

ПРОФЕССОРША. Фрак, узкая юбка, крахмальное белье, пенсне. Худая, плешивая, сзади волосы заплетены в крысиный хвостик с голубым бантиком.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, ее муж. Широкий сюртук. Кружевной шарф, лорнет, сбоку у пояса веер.

ДЕНЩИХА. Толстая баба, волосы масленые, закручены на затылке; мундир.

АДЪЮТАНТКА. Военный мундир. Сильно подмазанная. Пышная прическа, сбоку на волосах эгретка.

СТЕПКА. Черные панталоны, розовая куртка, передник с кружевами, на голове чепчик, на шее бантик. Очень некрасив.

ИЗВОЗЧИЦА. В повойнике, сверху шляпа извозчичья. Армяк. Кнут.

ГЛАША. Горничная.

Гостиная. У стены большой старинный диван. Вечер. Горят лампы. Через открытую дверь виден накрытый стол; мать вытирает чайные чашки. Ваня у стола читает. Коля в велосипедной шапке лежит на качалке. Катя ходит по комнате.

КАТЯ (*волнуясь*). Возмутительно! Прямо возмутительно! Точно женщина не такой же человек.

КОЛЯ. Значит, не такой.

КАТЯ. Однако во многих странах существует женское равноправие, и никто не говорит, что дело от этого пошло хуже. Почему же у нас этого нельзя?

КОЛЯ. Значит, нельзя.

КАТЯ. Да почему же нельзя?

КОЛЯ. Да вот так, нельзя, и баста.

КАТЯ. Баста потому, что ты дурак.

МАТЬ (*из столовой*). Опять ссориться? Перестаньте. Как не стыдно...

КАТЯ. Он меня нарочно дразнит. Знает, что мне тяжело... что я всю жизнь посвятила... (*Плачет.*)

КОЛЯ. Ха, ха! (*Поет.*) Жизнь посвятила и жертвою пала. И жертвою пала.

Слышится звонок.

МАТЬ. Перестаньте, вы там. Кто-то звонит.

Входит отец.

ОТЕЦ. Ну-с, вот и я. Что у вас тут такое? Чего она ревет?

КОЛЯ. Она жизнь посвятила и жертвою пала.

МАТЬ. Ах, замолчите, ради Бога. Отец усталый пришел... Вместо того чтобы...

ОТЕЦ (*хмурится*). Действительно, черт возьми. Отец целый день служит, как бешеная собака, придет

домой, и тут покоя нет. И сама, матушка, виновата. Сама распустила. Катерина целые дни по митингам рыскает, этот болван только ногами дрыгает. Сними шапку! Ты не в конюшне! Отец целый день, как лошадь, над бумагами корпит, а они вместо того, чтобы...

МАТЬ. Пойди, Шурочка, попей чайку.

ОТЕЦ. Иду, Шурочка. Я только один стаканчик. Опять бежать нужно.

МАТЬ (*передавая ему стакан, который он выпивает стоя*). Бежать?

ОТЕЦ (*раздраженно*). Ну да, очень просто. Что это, первый раз, что ли? Верчусь, как белка в колесе. Для вас же. У нас сегодня вечернее заседание. Ах да — совсем и забыл. Я ведь для того и зашел. Позвольте вас поздравить, душа моя. Дядя Петя произведен в генералы. Нужно будет устроить для него завтра обед. Ты распорядись. Вино я сам куплю.

МАТЬ. Ты сегодня поздно вернешься?

ОТЕЦ. Вот женская логика. Ну разумеется, поздно. (*Берет портфель не за тот конец. Из него вываливаются бумаги и длинная розовая лента.*)

КОЛЯ. Папочка... лента.

ОТЕЦ (*быстро сует ленту в портфель*). Ну да... ну да, разумеется. Деловая лента... Ну, до свиданья, Шурочка. (*Треплет ее по щеке.*) Спи, мамочка, спокойно. (*Уходит.*)

МАТЬ (*вздыхая*). Бедный труженик!

КОЛЯ. Гм! гм! Деловая лента.

МАТЬ. Что?

КАТЯ. Вот тоска! Я прямо с ума сойду.

МАТЬ. Это от безделья, душа моя. Поработала бы, пошила бы, почитала бы, помогла бы матери по хозяйству, вот и тоски бы не было. (*Уходит.*)

КОЛЯ. Пойду, помогу матери по хозяйству. (*Уходит в столовую. Видно, как берет ложку и ест варенье прямо из вазочки.*)

КАТЯ. Не желаю. Я не кухарка. Я, может быть, тоже желаю служить в департаменте. Да-с. И на вечерние заседания ходить желаю. (*Коля громко хохочет, вскакивает и грозит кулаком.*) Как я вас всех ненавижу. Теперь я равноправия не хочу. Этого с меня мало! Нет! Вот пусть они посидят в нашей шкуре, а мы, женщины, повертим ими, как они нами вертят. Вот тогда посмотрим, что они запоют.

ВАНЯ. Ты думаешь, лучше будет?

КАТЯ. Лучше? Да, мы весь мир перевернем, мы, женщины...

ВАНЯ. Э, полно! Новой жизни жди от нового человечества, а пока люди те же, все останется по-старому.

КАТЯ. Неправда! Ты все врешь. Ты все нарочно. И во всяком случае, передай твоему Андрею Николаевичу, что я за него замуж не пойду. Не намерена! Повенчаемся, а он у меня на другой день спросит, что у нас на обед. Ни за что! Лучше пулю в лоб.

ВАНЯ. Да ты совсем с ума сошла!

КАТЯ. Кончу курсы, буду доктором, тогда сама на нем женюсь. Только чтобы он ничего не смел делать. Так только по хозяйству. Не беспокойтесь, могу прокормить.

ВАНЯ. Да не все ли равно.

КАТЯ. Нет-с, не все равно. Совсем другая жизнь будет. Не ваша, не дурацкая, потому что женщина не такое существо, как вы, а совсем наоборот.

ВАНЯ. То есть что наоборот?

КАТЯ. Да все наоборот. А вы все выродились. От продолжительной власти совсем одурели. Твой же Андрей Николаевич умиляется над профессором Петуховым: ах, ученый! ах, милая рассеяность! чудак, не от мира сего... Просто старая калоша, и не моется никогда. Все вы друг перед другом умиляетесь. Жен обманываете, в карты дуетесь, и все у вас очень мило выходит. Разве женщина могла бы себя так вести?

ГОЛОС МАТЕРИ. Катя! Я прилягу. Если услышите папочкин звонок, разбудите Глашу — она так крепко спит.

КАТЯ. Хорошо! Я все равно всю ночь не засну.

Ваня уходит и запирает свою дверь.

КАТЯ *(стучит в его дверь кулаком)*. Так и скажи ему, что не пойду! Слышишь? Не выйду! *(Сидит на диване и плачет.)*

Бедный Андрюша... И я бедная!.. Что же, будем ждать, пока все станет навыворот... Буду доктором... Андрюша... *(ложится на диван)* верю, что все сбудется... Вот счастье-то было бы. *(Зевает.)* Уж я бы их.. (*Засыпает.*)

Сцена мало-помалу темнеет. Несколько мгновений совсем темно. Затем сразу вспыхивает дневной свет. К а т я сидит за столом и разбирает бумаги. На диване К о л я вышивает туфли. В столовой о т е ц моет чашки.

КОЛЯ *(хнычет)*. Опять распарывать. Опять крестик пропустил!

КАТЯ. Тише, ты мне мешаешь!

ВАНЯ *(выходит оживленный, бросает шапку на стул)*. Как сегодня было интересно! Я прямо из парламента. Сидел на хорах. Духота страшная. Говорила депутатка Овчина о мужском вопросе. Чудно говорила! Мужчины, говорит, такие же люди. И мозг мужской, несмотря на свою тяжеловесность и излишнее количество извилин, все же человеческий мозг и кое-что воспринимать может. Ссылалась на историю. В былые времена допускались же мужчины даже на весьма ответственные должности...

ОТЕЦ. Ну, ладно. Помоги-ка мне лучше убрать посуду.

ВАНЯ. Приводила примеры из новых опытов. Ведь служат же мужчины и в кухарках и в няньках, так почему же...

КАТЯ. Перестань, Ваня, ты мне мешаешь.

Звонок.

Вот, верно, мама звонит.

ОТЕЦ *(суетясь)*. Ах ты, Боже мой! Опять он не слышит. Отворю сам. *(Убегает.)*

МАТЬ *(возвращаясь с отцом)*. Напрасно, напрасно, дитя мое. Открывать двери — дело прислуги. Слушайте, детки. Интересная новость. Тетю Машу произвели в генералы.

ОТЕЦ. Достойная женщина.

КАТЯ. Всю жизнь полковой овес воровала.

ОТЕЦ. Как тебе не стыдно.

КАТЯ. За галстук заливает и ни одного смазливого белошвея не пропустит.

ОТЕЦ. Коля, выйди из комнаты. Говоришь при мальчике такие вещи.

МАТЬ *(отцу)*. Ну-с, Шурочка, не ударь лицом в грязь. Нужно сегодня устроить для тети Маши обед. Вино я сама куплю. А ты распорядись. Коля, Ваня, помогите отцу.

ОТЕЦ *(робко)*. Может быть, можно отложить обед на завтра? Сегодня немножко поздно...

МАТЬ. Вот мужская логика! Я гостей созвала на сегодня, а он обед подаст завтра. *(Уходит.)*

ВАНЯ. Ах, как чудно говорила Овчина! Вы должны давать мужчинам тоже образование и не делать из них рабов, позорящих имя человека. Мы требуем мужского равноправия.

КОЛЯ. А, в самом деле, папаша, отчего это так несправедливо? Женщинам все, а нам ничего?

ОТЕЦ. Да, дитя мое, когда-то было иначе. Мужчины были у власти. Женщины добивались прав и наконец восстали. После кровопролитной женской войны мужчины сдались, были засажены в терема и в гаремы, а теперь понемногу освобождаются от рабства. В Америке мужчины уже допущены на медицинские курсы.

ВАНЯ. Ха-ха. Мужчина — докторша! Как это оригинально.

КОЛЯ. А что, в те времена мужчины в парламенте сидели?

ОТЕЦ. Ну конечно.

КОЛЯ. И председательница была мужчина?

ОТЕЦ. Разумеется.

КОЛЯ. Ха! Ха! Председательница в панталонах! Ха! Ха! Вот картина! Председательница в панталонах парламент открывает. Ха! Ха! Ха!

ВАНЯ. Ох! Перестань! Ха! Ха! Не смеши! Ха! Ха!

ОТЕЦ. Да перестань же.

МАТЬ *(входит сердитая)*. Где же Степка? Звоню, звоню. В умывальнике воды нет. Что за безобразие! Жена целый день, как бык, в канцелярии сидит, а он не может даже за прислугой приглядеть.

ОТЕЦ *(испуганно)*. Сейчас, Шурочка, сейчас. *(Кричит в дверь.)* Степка!

Входит молодой лакей в чепчике и в переднике.

МАТЬ. Ты чего не идешь, когда звонят?

СТЕПКА. Виноват, не слышно-с.

МАТЬ. Не слышно-с. Вечно у вас на кухне какая-нибудь пожарная баба сидит, оттого и не слышно.

СТЕПКА. Это не у меня-с, а у Федора.

МАТЬ. Принеси воды в умывальник.

Степка уходит.

ОТЕЦ. Шурочка, не сердись. Все равно Федора сейчас прогнать нельзя. Кто же будет готовить? Да и вообще он хороший повар за кухарку; это так трудно найти, а нанимать настоящую кухарку нам не по средствам.

КОЛЯ *(входит)*. Мамочка, там от тети Маши денщиха пришла.

МАТЬ. Пусть войдет.

Входит баба в короткой юбке, сапогах, мундире и фуражке.

ДЕНЩИХА. Точно так, ваше бродие.

МАТЬ. В чем дело?

ДЕНЩИХА. Так что их превосходительство велели мне приказать вам, что сейчас они к вам придут.

ОТЕЦ. Ах, батюшки! Коля! Ваня! Идите скорей, помогите распорядиться.

МАТЬ. На вот тебе, сестрица, на водку.

ДЕНЩИХА. Рада стараться, ваше бродие. *(Делает поворот налево кругом и уходит.)*

КАТЯ. А не пойти ли мне в офицеры.

МАТЬ. Что же, теперь протекция у тебя хорошая. Тетка тебя выдвинет. Да ты у меня и так не пропадешь. А вот мальчики меня беспокоят. Засидятся в старых холостяках. Нынче без приданого не очень-то берут...

КАТЯ. Ну, Коля хорошенький.

КОЛЯ *(высовывает голову в дверь)*. Еще бы не хорошенький! Подожди, я еще подцеплю какую-нибудь толстую советницу или градоначальницу. *(Скрывается.)*

Звонок. Катя берет свои бумаги и уходит. Мать идет за нею. Входит тетя Маша. На ней юбка и мундир, шапка, густые эполеты.

ТЕТЯ МАША. Ба! все скрылись. (*Вынимает портсигар.*) Степка, дай мне спичку.

Входит Степка.

Ах ты, розан! Все хорошеешь. В брак вступить не собираешься?

СТЕПКА. Куда уж нам, ваше превосходительство. Мы люди бедные, скромные, кому мы нужны.

ТЕТЯ МАША. А за тобой, говорят, моя адъютантша приударяет?

СТЕПКА *(закрывает лицо передником)*. И что вы, барыня, мужчинским сплетням верите! Я себя соблюдаю.

ТЕТЯ МАША. Принеси-ка мне, голубчик, содовой. Голова трещит со вчерашнего.

СТЕПКА. Сию минуту-с!

Степка уходит. Тетя Маша сидит, заложа ногу на ногу, барабанит по столу и поет военные сигналы.

ТЕТЯ МАША.

Рассыпься, молодцы,
За камни, за кусты
По два в ряд.
Ту-ту, ру-ру!

ОТЕЦ (*входит*). Здравствуйте. Поздравляю вас от души...

ТЕТЯ МАША (*целует отцу руку*). Мерси, мерси, дружок. Ну, как поживаешь? Все хлопочешь по хозяйству? Что же поделаешь. Удел мужчин таков. Сама природа создала его семьянином. Это уже у вас инстинкт такой — плодиться и размножаться и нянчиться, хе... хе... А мы, бедные женщины, несем за это все тягости жизни, служба, заботы о семье. Вы себе порхаете, как бабочки, как хе... хе... папильончики, а мы иной раз до рассвета... А где же детишки?

Входит Степка с содовой водой, ставит на стол и уходит.

ОТЕЦ. Коля! Ваня! Идите же скорей! Тетя Маша пришла.

Входит Коля, за ним мать.

МАТЬ. А! Ваше превосходительство! Поздравляю!

Звонок.

ТЕТЯ МАША. Спасибо, дружище! Только лучше не поздравляй. У нас в полку ходил по этому поводу анекдот. Была у нас, видишь ли, правофланговая рядовая. Софья Совиха...

Входит профессорша с мужем.

ОТЕЦ. Ах! Глубокоуважаемая профессорша! Здравствуйте, Петр Николаевич.

ПРОФЕССОРША. Пришла поздравить себя, то есть вас, с днем поздравления.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ *(шепчет)*. Лили! Лили! Праздника. А не поздравления!

ПРОФЕССОРША *(продолжает здороваться)*. Мерси. Благодарю вас, господа, что почтили скромную труженицу... Этот день никогда не изгладится...

ТЕТЯ МАША *(сердито)*. То есть почему же скромную? Н-не понимаю... При чем здесь моя скромность...

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ. Ах, Боже мой! Лили! Ты опять все путаешь. Это ты ее, а не она тебя.

ПРОФЕССОРША. Ах да, виновата, я спутала. Это я ее, то есть вас, а не она меня. *(Садится мимо стула, все бросаются ее подымать.)*

ОТЕЦ. Вы не расшиблись? Ах, Боже мой!

МАТЬ. Лучше на диван.

ПРОФЕССОРША. Ах, пустяки! Наоборот, очень приятно.

ТЕТЯ МАША. Хе! Хе! У нас в полку по этому поводу циркулировал анекдот и, знаете, препикантный. Если мужчины разрешат, я расскажу... Подрались у нас, видите ли, две поручицы из-за рогов...

ОТЕЦ *(перебивая)*. Finissez devant les garçons [1].

ТЕТЯ МАША. А наша Марья Николаевна совсем, брат, закружилась. Целые дни у них дым коромыслом. И катанья, и гулянья, и ужины, и все это с разными падшими мужчинами...

СТЕПКА *(входит)*. Кушать подано.

ПРОФЕССОРША *(быстро вскакивает)*. Пожалуйте, господа, милости просим! Откушайте, чем Бог послал.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ. Лили! Лили! Ты у них, а не они у тебя! Ах, Боже мой, эта рассеянность! *(Берет ее под руку.)*

МАТЬ. Хе! Хе! Ох, уж эти ученые. Беда с ними.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ. Все великие люди были рассеяны. И все такие чудаки. Я читал...

ТЕТЯ МАША. У нас в полку рассказывают по этому поводу анекдот. У одной генеральши был молоденький муж, этакий, знаете, бутончик...

---

[1] Перестаньте при юношах. (*фр.*)

Уходит в столовую, через дверь видно, как усаживаются за стол. Звонок. Степка бежит открывать. Возвращается вместе с адъютанткой.

АДЪЮТАНТКА. Так как же ты сюда попал?

СТЕПКА. Я теперь тут служу в горничных девушках. Мелкая стирка. Отсыпное, горячее.

АДЪЮТАНТКА *(треплет его по щеке)*. А что, барыня-то небось ухаживает за тобой?

СТЕПКА. И вовсе даже нет. Мужчинские сплетни.

АДЪЮТАНТКА. Ну, ладно, ладно! Толкуй! Ишь, кокет, никак, бороду отпускаешь... Ну, поцелуй же меня, мордаска! Да ну же скорей, мне идти нужно! Ишь, бесенок!

СТЕПКА *(вырываясь)*. Пустите! Грешно вам. Я честный мужчина, а вам бы только поиграть да бросить.

АДЪЮТАНТКА. Вот дурачок! Я же тебя люблю, хоть и рожа ты изрядная.

СТЕПКА. Не верю я вам... Все вы так *(плачет)*, а потом бросите с ребенком... Надругаетесь над красотой моей непорочной. *(Ревет.)*

КАТЯ *(входит)*. Что здесь такое?

Степка убегает.

Марья Николаевна, как вам не стыдно! Идите обедать.

АДЪЮТАНТКА. Тра-ля-ля! Тра-ля-ля! Что же не заходите? У нас вчера было превесело. Ужинали со всеми онерами. Коко, Ванька Сверчок, Антипка, знаете, этот бывший полотер — словом, целый цветник. Все — падшие, но милые создания. *(Уходит.)*

Громкий звонок несколько раз. Степка открывает. Вламывается извозчица. На ней армяк, бабий повойник, сверху извозчичья шапка, в руках кнут.

ИЗВОЗЧИЦА. Неча! Неча! Сюда и вошла, потому ей и некуда. А я за свои деньги очненно даже вправе. Мне и старшая дворничиха говорит: лови ее, шилохвостку, а то черным ходом утекнет. *(Хочет идти в гостиную.)*

СТЕПКА *(загораживая дорогу)*. Куда прешь! Толком говори, кого надо...

ИЗВОЗЧИЦА. А того надо, кто денег не платит. Она меня с Васильевского за шесть гривен рядила, дешево рядила, да и на дешевом надула.

СТЕПКА. Да какая она из себя-то?

ИЗВОЗЧИЦА. А, известно дело, гунявая.

СТЕПКА. Ишь... Профессорша, верно.

ИЗВОЗЧИЦА. Да уж не без того. И старшая дворничиха говорит: лови, говорит, ее, шилохвостку... она, говорит...

СТЕПКА. Постой. Я сейчас доложу. *(Входит в столовую и выходит оттуда с профессоршей.)*

ПРОФЕССОРША *(протягивая руку извозчице)*. Здравствуйте, здравствуйте... Впрочем, с кем имею честь?

ИЗВОЗЧИЦА. А вот чести-то и не имеешь, коли человека надуваешь...

ПРОФЕССОРША *(Степке)*. Я их не понимаю... Чего мне... Может быть, через ваше посредство, так сказать...

СТЕПКА. Это извозчица. Шесть гривен им нужно-с.

ПРОФЕССОРША. Да? Шесть гривен? Какая странная потребность... *(Дает деньги.)* Извольте... виновата... Ничего, что медными?..

ИЗВОЗЧИЦА *(взглядывая на нее)*. Ч-черт! Никак, ошиблась. *(Чешет голову пятерней.)*

ПРОФЕССОРША. Ошиблась я в вас или вы во мне?

ИЗВОЗЧИЦА. Сразу-то оно и не разберешь. Потому как та была гунявая, а и ваша милость... не в обиду будь... да и дворничиха говорит, лови ее, шилохвостку, это вашу, значит, милость, не вашу, то есть, а, к примеру сказать, ежели... на чаек бы, потому как здесь ошибка, так мне с вас гривенничек за бесчестье.

СТЕПКА. Пошла ты вон, пьяница. Вот кликну швейцариху. Она те в три шеи. *(Выталкивает извозчицу из двери.)*

ПРОФЕССОРША *(присматриваясь к Степке)*. Какой вы... хи, хи. Бантик у вас на шейке, хи... хи... малявацька вы холосенькая, тю-тю-тю...

СТЕПКА *(в страхе подгибает колени)*. Госпожа профессорша... Чего-с... Сию минуту-с... О Господи, наваждение египетское...

ПРОФЕССОРША *(семенит ногами к Степке и берет его за подбородок)*. Тю-тю-тю...

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ *(вбегая)*. Лили! Лили! Что здесь такое? Зачем тебя вызывали?

ПРОФЕССОРША. Чего ты суетишься, Петруша. Я деньги платила извозчице.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ. Какой извозчице?

ПРОФЕССОРША. Гм... трудно определить... Кажется, пьяной.

СТЕПКА. Это они извозчице платили, которая вас, значит, сюда привезла...

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ. Как сюда привезла? Ведь мы же на своих приехали, в коляске!

ПРОФЕССОРША. Ну да, ну да... Она и сама говорила, что ошиблась. Не суетись, Петруша, все в порядке...

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ. А зачем ты сейчас этого горничного за шею держала?..

ПРОФЕССОРША. Я... я... я думала, что это ты... Он так справа зашел, понимаешь? И ты часто справа стоишь, и... и здесь получилась иллюзия ... рефлекторный обман правой половины левого мозгового полушария... Явление, которое нужно будет еще разработать...

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ. Ах нет, не нужно, не нужно! Ты не разрабатывай, пусть лучше кто-нибудь из ассистенток...

Уходят в столовую. Степка в другую дверь. Через минуту из той же двери входит денщиха.

ДЕНЩИХА. Ишь... не в те двери попала. *(Заглядывает.)* Столовая там. Господа питаются... Генеральша-то моя чвакает — аж сюда слышно.

СТЕПКА *(входит с блюдом)*. Ай!..

ДЕНЩИХА. Степану Ильичу, наше вам. Глаза нале-во! Куды вы эдак рысью марш направляетесь?

СТЕПКА *(отмахиваясь блюдом и роняя котлеты)*. А ну вас! Как сюда попали?

ДЕНЩИХА. Перекусила малость и запила малость перекусочку-то. Федорушка поднес. Хорош Федорушка-то, а ты, Ильич, еще лучше *(убежденно)*, ты, Ильич,— ягода. И я всегда согласна тебя осчастливить. Ты мое честное имя трепать не будешь, поведение твое самое выдающееся. А я всегда за себя постою. Слыхал нашу солдатскую песню? *(Поет и приплясывает.)*

Их, солдатка рядовая,
Сама себе голова я,
Как уеду я подальше
От своей от генеральши.

А вашу мужчинскую скромность ценю. И за вас грудью всегда пойду на всякого супостата. Грудью! Так точно-с! А вы меня за то всегда можете угостить-с. *(Поднимает с пола котлету, вытирает обшлагом и ест.)* Потому, как поется у нас в песне: «И за любовь мою в награду ты мне слезку подари!..»

СТЕПКА *(подбирая котлеты на блюдо, денщиха помогает, вытирает котлетки рукавом)*. О Господи, Соломонида Фоминишна! Да ведь мы к вам завсегда... Ой, Господи, никак, идут. *(Бежит с блюдом в столовую.)*

Денщиха уходит. Из столовой быстро выходит отец. За ним тетя Маша, за ней гурьбой остальные.

ТЕТЯ МАША *(с бутылкой шампанского в руках)*. Нет, Шурочка, ты должен покориться. Это старинный польский обычай. Когда мы стояли в Польше, у нас ни один обед без этого не обходился. Всегда перед пирожным кто-нибудь предлагал выпить из сапожка хозяина дома.

ОТЕЦ. Но ведь мы не в Польше... Мне так неловко.

ВСЕ. Пустяки! Нужно! Что за глупости! Это так весело! Оригинально! Обычай!

МАТЬ. Ну, полно кривляться! Сам радешенек. Снимай сапог! Чего ломаешься?

Отец садится и медленно стягивает с ноги высокий сапог.

ТЕТЯ МАША. Ну, вот и отлично! Давай сюда! Вот так. *(Выливает бутылку в сапог.)* Степочка! Тащи, дружок, еще бутылочку! Еще две! Две тащи! Постой, тебе самому не откупорить — Катя, помоги ему.

Выливает еще две бутылки. Сапог растягивается в вышину.

Давай еще две.

МАТЬ *(тревожно)*. Может быть, одной довольно? Эдакая прорва... Ну и размер...

ТЕТЯ МАША. Лей еще! Вот так, за здоровье прекрасных мужчин! Ура! Пью первая!

ПРОФЕССОРША. Я! Я первая. Я не могу пить после вас! У вас во рту, наверное, всякие молекулы... Мне не поднять... Помогите... Подоприте снизу...

Тетя Маша поднимает сапог за каблук, вино выливается на профессоршу.

ПРОФЕССОРША *(захлебываясь)*. Ай, тону! Тону! У меня очки всплыли! Спасите! Я жить хочу!

Петр Николаевич рыдает у нее на плече.

МАТЬ *(Маше)*. Что ты наделала?

ОТЕЦ. Ужасно! Ужасно! Такую массу вина вылить...

ТЕТЯ МАША. Виновата, виновата. Я ведь по вашему же указанию желала услужить, хе, хе. Расскажу вам по этому поводу одну историйку. Факт, но верно. Была, видите ли, одна бригадная генеральша, страшнейшая ругательница; так она, знаете ли, ругалась до такой степени...

ОТЕЦ. Мари, ле-з-анфан!..

ТЕТЯ МАША. Ах, виновата, виновата, не буду!

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ *(вытирает жену носовым платком)*. Едем домой, дружок, ты отдохнешь, просохнешь.

ПРОФЕССОРША *(трет глаза и хнычет)*. Все равно! Очки уплыли... И главное, так вредно после обеда это холодное обливание. Если бы перед обедом, я бы даже была благодарна. И в платье тоже нехорошо. Зачем было делать в платье? Надо было раздеться...

ТЕТЯ МАША. Хе! хе! хе! А у нас в полковой конюшне...

ОТЕЦ. Да вы присядьте, вот сюда, к печке — мигом обсохнете.

ПРОФЕССОРША. Ах нет... Лучше велите полить меня эфиром, чтобы ускорить испарение. Что? Нет? Так я пойду лягу. Простите, господа, я вас не задерживаю ввиду инцидента.

ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ. Лили! Лили! Мы у них, а не они у нас.

ПРОФЕССОРША. Ах да, совершенно верно, друг мой. Во всяком случае, благодарю вас, господа, за оказанную мне честь и надеюсь, что и впредь не забудете своим посещением... Чего тебе, Петруша?.. Посещением. Простите за скромную трапезу, но поверьте, что я от души, от души старалась обставить все поприличней, и если не удалось, то прошу прощения. Что, Петруша? Да, да! Мы у них, как говорит мой муж, то есть мы у вас в свою очередь тоже непременно побываем. До свиданья! *(Делает эффектный поклон и направляется в Ванину спальню.)*

ВАНЯ. Ай, ой! Не туда! Не туда!

КОЛЯ. Госпожа профессорша, там Ванина спальня.

Петр Николаевич и Степка подхватывают профессоршу под руки и уводят.

МАТЬ. Эдакий ум!

ОТЕЦ. Гениальная женщина!

КАТЯ. Но до чего рассеянна!

ТЕТЯ МАША. Гм... да. Припомнился мне по этому поводу...

МАТЬ. Ну, детки, вы теперь пойдите, а мы здесь посидим в своей компании, покурим. Шурочка, приготовь нам кофе.

Отец, Ваня и Коля уходят.

Ну, теперь можно сан фасон. *(Закуривают сигары.)*

ТЕТЯ МАША. Что это у тебя Ваня какой-то хмурый стал?

КАТЯ. Это он все с Андреем Николаевичем своим мужским вопросом занимаются.

ТЕТЯ МАША. Это насчет мужского равноправия, что ли?

МАТЬ. Ну да. Совсем с ума спятили. На курсы идут, волосы отпускают; Андрей, дурак, ерунды начитался и моего Ваньку сбивает. Выдать бы их поскорей за хороших жен...

АДЪЮТАНТКА. Я бы никогда не взяла такого молодого человека, который катается верхом, и отпускает волосы, и на курсы бегает. Это так нескромно, так немужественно. Впрочем, Екатерина Александровна, вам, кажется, нравится Андрей Николаевич?

КАТЯ. Гм... да. И рассчитываю, что его можно будет перевоспитать. Он еще молод. Наконец, хозяйство, дети, все это повлияет на его натуру.

ТЕТЯ МАША. Дураки! Хотят быть женщинами. Чего им нужно? Мы их обожаем и уважаем, кормим и обуваем... И физически невозможно. Даже ученые признают, что у мужчины и мозг тяжеловеснее, и извилины какие-то в мозгу в этом самом. Не в парламент же их сажать с извилинами-то... Ха! ха! Я бы за Ваньку Сверчка голос подала! Почему же не подать? Ха-ха! Равноправие так равноправие.

МАТЬ. А детей кто нянчить будет?

ТЕТЯ МАША. Видно уж, нам с тобой, ха-ха-ха, видно уж, нам с тобой придется. Что ж, повешу саблю на гвоздь, денщиха будет в барабан бить, чтобы дети не плакали, ха-ха! ха! А уж вечерние-то заседания тю-тю, Шурочка. А? Ха-ха-ха!

МАТЬ. Пошли теперь все эти новшества. Мужчины докторшами будут. Ну, посуди сама, позовешь ли ты к себе молодого человека, когда заболеешь?

ТЕТЯ МАША. Ха! ха! У нас в полку...

МАТЬ. Подожди. Ведь не позовешь? Значит, все это одни пустяки. Теперь в конторы тоже стали принимать мальчишек. Есть и женатые. Дети дома брошены на произвол судьбы... И цены сбивают на женский труд.

АДЪЮТАНТКА. А главное, совершенно теряют грацию, мужественность.

ОТЕЦ *(из двери)*. Кофе готов.

МАТЬ. Пойдемте, господа.

Уходят. Слышится звонок. Входят Андрей Николаевич и Степка.

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. Нет, Степка, я не сниму пальто. Я только на минутку. У вас гости? Ах, как это неприятно. Так Ваничка дома... Гм... Подожди, Степа, одну минутку... Вот что, голубчик, не можешь ли ты вызвать ко мне на одну секундочку Катерину Александровну? Подожди, подожди! Только у меня секрет... Нужно так, чтоб никто не видал... Потихоньку вызови.

СТЕПКА. Да уж ладно, барин, мы сами с усами, комар носу не подточит. *(Подходит к двери и кричит.)* Барышня! Вас тут спра... пожалте-с на секрет.

КАТЯ *(выбегает)*. Чего ты? Одурел? Ах, это вы? Пожалуйста! Что же вы не разденетесь.

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. Нет. Мерси. Я на одну минутку. Я только хотел узнать, здоров ли Ваня... Папа послал за узорами...

КАТЯ. Вы напрасно выходите один так поздно вечером. Могут пристать какие-нибудь нахалки.

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. Я должен... мне нужно... два слова...

КАТЯ. Степка, пошел в кухню.

Степка уходит.

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. Я пришел... вернуть вам ваше слово... Я не могу...

КАТЯ. Так вы не любите меня! Боже мой, Боже мой! Говорите же, говорите! Я с ума сойду!

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ *(плачет)*. Я не могу... Мы повенчаемся, а вы на другой день спросите: «Андрюша, что сегодня на обед?» Не могу! Лучше пулю в лоб... Рабство...

КАТЯ. Не любишь! Не любишь!

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. Мы сговорились с Ваней... Будем учиться... Я буду доктором... сам прокормлю, а ты по хозяйству...

КАТЯ. Ты с ума сходишь? Я, женщина, на твой счет?

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. Да!.. Да!.. Я так люблю тебя, а иначе не могу. Женщины от власти одурели... Будем ждать... пока я сам прокормлю... Я тебя так люблю, так люблю... по хозяйству... *(Обнимает Катю и прижимается к ней.)*

Раздается громкий звонок. Сцена темнеет совершенно. Затем сразу освещается. На столе горит лампа. Катя спит на диване. Снова громкий звонок. Катя вскакивает. Через комнату бежит полуодетая горничная и отворяет входную дверь. Входит отец.

КАТЯ *(вскакивая)*. Ай! *(Протирает глаза.)* Папа? Ты? Ха-ха! Вот радость! Папа, милый, ты знаешь, ведь и мы тоже дряни! Мы, мы, женщины, и я, тетя Маша, все мы такие же. Ах, как я рада! Как я рада!

ОТЕЦ. Да ты с ума сошла! Кто дряни? Что дряни?

КАТЯ. Ах, ты ничего не понимаешь! Я за Андрея Николаевича замуж выхожу. Мы ведь все одинаковые все равно. Ваня! *(Стучит кулаком в дверь.)* Ваня!

Вставай! Я за Андрюшу замуж выйду. Такая радость! Все одинаковые. Папочка, милый. Ха-ха! Тетя Маша генерала получила и такая же стала, как дядя Петя. Подождем нового человечества. *(Стучит в дверь.)* Ваня, вставай!

ОТЕЦ *(патетически)*. Черт знает что такое! Отец всю ночь как свинья, не разгибая спины... а они... имейте же хоть уважение. *(Срывает шляпу, бросает ее на землю. Вместе с платком вынимает из кармана длинную дамскую перчатку и вытирает лоб.)*

ЗАНАВЕС

КОММЕНТАРИИ

В настоящий сборник включены произведения Н. А. Тэффи, написанные до 1912 г. Целиком переиздаются две первые книги прозы — «Юмористические рассказы. Книга первая» (СПб., «Шиповник», 1910) и «Юмористические рассказы. Книга вторая» (СПб., «Шиповник», [1911]). Пародийная «Древняя История» вошла в коллективную «Всеобщую историю, обработанную «Сатириконом» (СПб., М. Г. Корнфельд, 1911). В приложении печатаются все стихи из сборника «Семь огней» (СПб., «Шиповник», 1910). Драматургия представлена одноактной пьесой «Женский вопрос», впервые показанной Малым театром в Петербурге в 1907 г.

Часть рассказов и стихотворений публиковалась в повременной печати. В частности, в «Сатириконе» были впервые напечатаны миниатюры «Даровой конь» (1908, № 4), «Морские сигналы» (1908, № 8), «В стерео-фото-кине-мато-скопо-био-фоно и проч.-графе» (1908, № 33), «Свой человек» (1909, № 17), «Игра» (1909, № 34), «Проворство рук» (1909, № 40), «Семейный аккорд» (1909, № 44), «Страшный ужас» (1909, № 52), «Жизнь и воротник» (1910, № 7), «Экзамен» (1910, № 20), «Факир» (1910, № 28). Кроме того, рассказы «Предпраздничное», «Дачный разъезд», «Кулич», «Горы» вышли в 1911 г. отдельным изданием в «Дешевой юмористической библиотеке «Сатирикона» (выпуск 2). Необходимо также отметить, что сюжетной основой для некоторых рассказов послужили фрагменты из ранних фельетонов.

Авторские изменения, внесенные в произведения по сравнению с первыми публикациями в прессе, и незначительные расхождения текста в различных изданиях книг в комментариях не оговариваются.

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ
КНИГА ПЕРВАЯ

Печатается по десятому изданию (Пг., «Шиповник», 1917). Рассказ «Анафемы» — по третьему изданию, так как в десятом его текст отсутствует, несмотря на то что название включено в оглавление.

В качестве эпиграфа взят фрагмент из схолии II положения XLV четвертой части «Этики» нидерландского философа Бенедикта Спинозы (1632—1677): «Между осмеянием (которое в королл⟨арии⟩ I я называю злом) и смехом я признаю большое различие. Ибо смех, как и шутка, есть просто радость; поэтому, если он не имеет излишества, есть сам по себе добро (по пол⟨ожению⟩ II этой части)» («Бенедикта Спинозы Этика, изложенная геометрическим методом и разделенная на пять частей ⟨...⟩» Пер. с латинского под редакцией проф. В. И. Модестова. Изд. 4-е. СПб., Л. Ф. Пантелеев, 1904. С. 250).

СВОЙ ЧЕЛОВЕК. *Шавли* — название г. Шяуляй до 1917 г.

В СТЕРЕО-ФОТО-КИНЕ-МАТО-СКОПО-БИО-ФОНО И ПРОЧ.-ГРАФЕ. *Вильгельм* II Гогенцоллерн (1859—1941) — германский император и прусский король в 1888—1918 гг.

Пигмалион — в греческой мифологии царь Кипра, знаменитый скульптор, который влюбился в созданную им статую прекрасной Галатеи. По его просьбе Афродита оживила статую, и Пигмалион женился на девушке.

Целебес — остров в Малайском архипелаге, в Индонезии.

КУРОРТ. *«Митя макса»* (mitä maksa) — сколько стоит (*финск.*); *«кольме марка»* (kelme markkea) — три марки (*финск.*).

ВЗАМЕН ПОЛИТИКИ. На этот рассказ ссылается Роман Якобсон в своей книге «Новейшая русская поэзия», указывая на «эпидемическое увлечение поэтической этимологией, отмеченное Тэффи (почему «до-сви-дания», а не «до-сви-швеция» и т. п.)» (Якобсон Роман. Работы по поэтике. М., 1987. С. 298).

Конст. Эрберг (Сюннерберг К. А., 1871—1942) — поэт и теоретик искусства, постоянный посетитель вечеров у Ф. Сологуба.

Дубровин А. И. (1855—1918) — врач, один из лидеров «Союза Русского Народа» — организации, созданной в России в 1905 г. и занимавшей крайне правые позиции.

МОДНЫЙ АДВОКАТ. *Первая Дума* — Государственная Дума I созыва (27.IV.1906—8.VII.1906), была распущена по указанию Николая II министром внутренних дел П. А. Столыпиным (1862—1911).

«Вена» — известный ресторан в Петербурге, где собирались писатели, журналисты, артисты.

С. Р. — партия социалистов-революционеров (эсеров), создана в России в 1901 г. Одним из основных средств борьбы признавала индивидуальный террор, которым занималась специально созданная и практически независимая от ЦК Боевая организация.

Убийство фон-дер... — среди наиболее крупных террористических актов, проведенных Боевой организацией,— убийства министров

внутренних дел Д. С. Сипягина (1902) и В. К. Плеве (1904), Московского генерал-губернатора Великого Князя Сергея Александровича (1905) и др.

Гершуни Г. И. (1870—1908) — один из основателей партии эсеров, руководитель Боевой организации, организатор покушений на Сипягина, губернаторов Харькова и Уфы. В мае 1903 г. арестован, в начале 1904 г. приговорен к смертной казни, которая была заменена пожизненным заключением. В октябре 1906 г. бежал через Китай и США в Западную Европу.

«Былое» — сборник документов и материалов по истории революционного движения, издавался в 1900—1904 гг. и 1908—1913 гг. в Лондоне и Париже; выходил как журнал в Петербурге в 1906—1907 гг. и в 1917—1926 гг.

ВЕСЕЛАЯ ВЕЧЕРИНКА. *Помпадур Ж. А. П.* (1721—1764) — маркиза, фаворитка короля Франции Людовика XV. Стиль à la Помпадур в одежде, ориентированный на рококо, вошел в моду в середине XIX в.

ПОЛИТИКА ВОСПИТЫВАЕТ. *«Новое Время»* — крупнейшая русская газета, издававшаяся А. С. Сувориным (1834—1912), выступала с консервативных позиций. После ухода в 1899 г. из редакции группы ведущих сотрудников во главе с А. Амфитеатровым, газета постепенно начинает терять свою популярность, чему немало способствовали и внутрисемейные раздоры Сувориных, борьба за руководство «Новым Временем».

Толстый генерал, на красной подкладке — высшие чины носили шинель на красной подкладке.

Апухтин А. Н. (1840—1893) — русский поэт, стихотворение «Письмо» написано в 1882 г.

Статья 121 — статья 121 пятой главы («О смуте») Уголовного уложения, в частности, гласит: «Виновный в участии в публичном скопище, заведомо собравшемся с целью выразить неуважение Верховной Власти или порицание установленных Основными Государственными Законами образа правления или порядка наследия Престола, или заявить сочувствие бунту или измене, или лицу, учинившему бунтовщическое или изменническое деяние, или учению, стремящемуся к насильственному разрушению существующего в государстве общественного строя, или последователю такого учения, наказывается:

заключением в крепости на срок не свыше трех лет или заключением в тюрьме» (Уголовное уложение (статьи, введенные в действие). Том XV [Свода законов]. СПб., 1909. С. 34—35).

НЯНЬКИНА СКАЗКА ПРО КОБЫЛЬЮ ГОЛОВУ. *«Голубка дряхлая моя...»* — вторая строка из стихотворения А. С. Пушкина «Няне» (1826): «Подруга дней моих суровых, // Голубка дряхлая моя!»

«Сокровища мои на дне твоем таятся» — строки из стихотворения А. С. Пушкина «К моей чернильнице» (1821).

К Филиппову бегала пирожки есть — имеются в виду знаменитые булочные-кондитерские Филиппова.

Карл и Франц Мор (Моор) — персонажи драмы Ф. Шиллера (1759—1805) «Разбойники» (1781).

Решке — имеются в виду, очевидно, польские оперные певцы, братья Ян-Мечислав (1849/1850—1925) и Эдвард (1853—1917) Решке.

Маковский К. Е. (1839—1915) и *Маковский В. Е.* (1846—1920) — русские художники, братья, члены Товарищества передвижников (первый с середины 70-х гг. перешел к академизму).

СТРАШНЫЙ УЖАС. *И поехал к Палкину завтракать* — имеется в виду ресторан Палкина в Петербурге.

ЗА СТЕНОЙ. *Ралле* — парфюмерная торговая фирма Ралле и К°.

Штатский генерал — согласно табели о рангах «Устава о службе» военному званию полного генерала соответствовал гражданский чин действительного тайного советника (но генеральским был уже IV класс — действительный статский советник и генерал-майор).

Землетрясение в Верном — сильное землетрясение в г. Верном (с 1921 г.— Алма-Ата) произошло в 1887 г.

ПОЛИТИКА И НАУКА. *Р.С.-Д.Р.П.* — Российская Социал-Демократическая рабочая партия, образована в 1898 г.

К.Д. — Конституционно-Демократическая партия (кадетов), образована в 1905 г. как партия «народной свободы».

Двунадесятые праздники — двенадцать наиболее значительных праздников Русской Православной церкви. В их число входят: Рождество Христово, Сретение, Крещение Господне, Преображение, Вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне, Троица, Воздвижение креста Господня, Рождество Богородицы, Введение во храм Богородицы, Успение Богородицы.

Пасха — главный христианский праздник, отмечается как день Воскресения Иисуса Христа, к двунадесятым праздникам не относится.

Масленица — древнеславянский праздник, посвященный проводам зимы и встрече весны, в православном календаре — «мясопустная» неделя перед Великим Постом.

Илья — Ильин день — праздник православной церкви в честь пророка Илии, в число главных праздников не входил, хотя традиционно широко отмечался на Руси.

Р.П.С.-Р. — Российская партия социалистов-революционеров.

Гала-Петер — популярная марка шоколада.

Герценштейн Г. Д. — депутат I Думы, в убийстве которого (в 1906 г.) были обвинены представители черносотенных организаций.

П.Н.С.— партия «народной свободы» — одно из названий партии кадетов.

Максималисты — фракционная группа партии эсеров с 1904 г., с 1906 по 1919 г.— самостоятельная партия.

П.Д.Р.— партия демократических реформ, в 1906 г. выделилась из правого крыла кадетов, в 1907 г. влилась в партию «мирного обновления».

КОРСИКАНЕЦ. *«Марш, марш вперед, рабочий народ!..»* — строки из «Варшавянки» Г. М. Кржижановского (1872—1959).

«Оно горит и ярко рдеет, || — То наша кровь горит на нем» — строки из народно-песенной обработки (близкой к переводу В. Тана-Богораза) польской рабочей песни на слова стихотворения Б. Червиньского «Красное Знамя».

Фигнер В. Н. (1852—1942) — деятель российского революционного движения, член исполкома «Народной Воли», участница подготовки покушения на Александра II. В 1884 г. приговорена к вечной каторге, двадцать лет провела в заключении в Шлиссельбургской крепости, в 1906—1915 гг.— в эмиграции.

«Нашим потом жиреют обжоры» — искаженная строка из «Новой песни» П. Л. Лаврова (Миртова) (в оригинале — «твоим потом»).

«Вы жертвою пали...» — первые слова песни неизвестного автора «Вы жертвою пали в борьбе роковой...»; на основе этой песни и стихотворения А. Архангельского «В дороге» возник знаменитый «Похоронный марш».

СТРАШНЫЙ ПРЫЖОК. *Герман Банг* (1857—1912) — датский писатель.

Ave, Caesar — начало фразы «Ave, Caesar, morituri te salutant!» («Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть тебя приветствуют!»), с которой римские гладиаторы обращались перед боем к Императору.

ПАТРИОТ. *Коклэн Б. К.* (1841—1909) — французский актер и теоретик театрального искусства, с 1897 г.— руководитель театра «Порт-Сен-Мартен» в Париже.

ИЗ ВЕСЕННЕГО ДНЕВНИКА. *На площадь Согласия в Лондоне* — площадь Согласия находится в Париже.

Когда я поднимался на Риги...Ригикульм — Риги — гора в кантонах Швиц и Люцерн в Швейцарии с высочайшей вершиной Ригикульм (1800 м).

Точно она только что Порт-Артур сдала — оборона военно-морской крепости Порт-Артур во время русско-японской войны продолжалась почти год (с 27 января по 20 декабря 1904 г.). Защитники крепости выдержали четыре штурма. Однако после гибели руководившего обороной генерала Кондратенко (2 декабря) заменивший его генерал-лейтенант А. М. Стессель (1848—1915) почти сразу же сдал крепость. Военным су-

дом он был приговорен к смертной казни, но помилован Николаем II.

ДАЧА. *Иловайский Д. И.* (1832—1920) — русский историк, автор, в частности, гимназических курсов Русской и Всеобщей истории.

Наполнять собой Озерки, Лахту, Лесное, Удельную и все Парголова — Тэффи перечисляет дачные места под Петербургом.

В позе херувима Сикстинской Мадонны, подпершись обоими локтями — на картине Рафаэля (1483—1520) «Сикстинская мадонна» в нижней части полотна изображены два херувима, один из которых смотрит вверх, положив голову на скрещенные руки.

ЗАБЫТЫЙ ПУТЬ. *У ваших ног лежат, синьора* — искаженные строки из поэмы А. К. Толстого (1817—1875) «Алхимик» (1867): «— У ваших ног лежат, синьора, // Мой ум, и жизнь, и честь, и меч!»

СЕЗОН БЛЕДНОЛИЦЫХ. *«Веселая вдова»* — оперетта венгерского композитора и дирижера Ф. Легара (1870—1948), написана в 1905 г.

КАРЬЕРА СЦИПИОНА АФРИКАНСКОГО. *Сципион Африканский* Старший (235—183 до н. э.) и *Сципион Африканский* Младший (185—129 до н. э.) — римские полководцы и государственные деятели.

«О, закрой свои бледные ноги» — нашумевшее стихотворение В. Я. Брюсова (1873—1924), состоящее из одной строки. Опубликованное в третьем сборнике «Русские символисты» (1895), стихотворение было воспринято как чисто эпатажное и приобрело скандальную известность.

Савина М. Г. (1854—1915) — русская актриса, с 1874 г.— в Александринском театре.

«Кулуары» — популярная газетная рубрика, в которой публиковались «неофициальные» сообщения о деятельности Государственной Думы.

Светлейший повелитель Тавриды — Потемкин Г. А. (1739—1791) — русский государственный деятель, генерал-фельдмаршал, фаворит Екатерины II. После присоединения Крыма получил титул Светлейшего Князя Таврического.

Милюков П. Н. (1859—1943) — один из организаторов партии кадетов, редактор кадетского печатного органа — газеты «Речь», депутат Государственной Думы.

Родичев Ф. И. (1853—1932) — земский деятель, юрист, один из лидеров кадетов, депутат Государственной Думы.

Маклаков В. А. (1869—1957) — адвокат, один из лидеров кадетов, депутат Государственной Думы.

Гучков А. И. (1862—1936) — лидер партии октябристов (Союз 17 Октября), депутат, а с 1910 г.— Председатель Государственной Думы III созыва.

Пуришкевич В. М. (1870—1920) — крупный помещик, один из руководителей «Союза Русского Народа» и «Союза Михаила Архангела», депутат Государственной Думы.

ИЗЯЩНАЯ СВЕТОПИСЬ. *По Э. А.* (1809—1849) — американский писатель, его перу принадлежат, в частности, детективные, фантастические и «страшные» новеллы.

ОНИ ПОЮТ. *Генрих VIII* (1491—1547) — английский король с 1509 г.

Торквемада Т. (ок. 1420—1498) — с 80-х гг. глава инквизиции (Великий Инквизитор) Испании.

Повторяя, как леди Макбет — слова леди Макбет из трагедии В. Шекспира (1564—1616) «Макбет» (1606).

АНАФЕМЫ. *Киевский миссионерский съезд* — IV Всероссийский Миссионерский Съезд в Киеве проходил с 12 по 26 июля 1908 г.

Гришка Отрепьев — предположительно Лжедмитрий I, русский царь в 1605—1606 гг.

Толстой Л. Н. (1828—1910) — был отлучен от церкви определением Священного Синода в феврале 1901 г.

Собинов Л. В. (1872—1934) — русский певец.

«Сатирикон» — имеется в виду журнал «Сатирикон», издававшийся с 1908 г., в котором активно сотрудничала Тэффи (см. о нем во вступительной статье).

Акимов М. Г. (1847—1911) — сенатор, с декабря 1905 г.— министр юстиции в кабинете Витте, с 1906 г.— член Государственного Совета, с 1907 г.— председатель Государственного Совета.

Государственный Совет — высший законосовещательный орган Российской Империи в 1810—1917 гг.

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ
КНИГА ВТОРАЯ

Печатается по второму изданию (СПб., «Шиповник», б.г. [1911]). На обложке книга озаглавлена «Человекообразные», название «Юмористические рассказы. Книга вторая» дается по титульному листу.

ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ. *«Сказал Бог: сотворю человека...»* — здесь и далее Тэффи цитирует первую Книгу Моисееву (Бытие) из Ветхого Завета.

ЭКЗАМЕН. *Марлитт Э.*— псевдоним немецкой писательницы Евгении Йон (1855—1887); роман «Вторая жена» (1873) был переведен на русский язык.

Иловайский — см. примеч. к рассказу «Дача».

Анна Иоанновна (1693—1740) — Российская Императрица с 1730 г. Во время ее правления велась война в Польше в 1733 г. с претендентом на польский престол французским ставленником

Станиславом Лещинским, в которой русские войска поддерживали сына умершего короля Польши, а также русско-турецкая война 1735—1739 гг.

Орлеанская дева — Жанна д'Арк (ок. 1412—1431) — национальная героиня Франции; в ходе Столетней войны возглавила борьбу французов против англичан, в 1429 г. освободила от осады Орлеан.

ФАКИР. *Демулен К.* (1760—1794) — журналист, деятель Великой французской революции; 11 июля 1789 г. обратился в Пале-Рояль с речью к народу, призывая к оружию, что, фактически, и привело к штурму Бастилии.

Баранцевич К. З. (1851—1927) — русский писатель польского происхождения, писал по-русски.

«Смотря на луч пурпурного заката» — искаженные первые строки популярного романса на стихи П. А. Козлова (1841—1891) «Забыли вы»: «Глядя на луч пурпурного заката, // Стояли мы на берегу Невы...»

«Гайда тройка! Снег пушистый...» — начало популярного городского романса.

КОНЦЕРТ. *Рубинштейн А. Г.* (1829—1894) — русский композитор, пианист, дирижер.

Бунин И. А. (1870—1953), *Андреев Л. Н.* (1871—1919), *Тихонов В. А.* (1857—1914), *Немирович-Данченко Вас. И.* (1848/49—1936) — русские писатели.

«*Что слава? — яркая заплата на бедном рубище певца*» — искаженные строки из стихотворения А. С. Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824): «Что слава? — Яркая заплата // На ветхом рубище певца».

КУЛИЧ. *Мессалина В.* (ок. 25—48) — третья жена римского императора Клавдия, отличалась исключительным распутством, была казнена по подозрению в государственном заговоре.

БРОШЕЧКА. *«Так вот где таилась погибель моя...»* — строки из стихотворения А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» (1822).

Катилина Луций Сергий (108—62 до н. э.) — римский патриций, организатор заговора с целью свержения республиканской власти; был изобличен Цицероном.

СЕДАЯ БЫЛЬ. *Кнейп С.* (1821—1897) — немецкий католический священник, выработал систему водолечения; его труды были переведены на русский язык.

«ДЕ». Поводом к написанию рассказа стали крупные эпидемии инфекционных заболеваний, прокатившиеся по большим русским городам, в том числе затронувшие и Петербург, и дискуссии в печати о способах борьбы с болезнями.

Дератизация — истребление грызунов, являющихся переносчиками инфекции.

«Аквариум» — сад с летним театром в Петербурге.

АНТЕЙ. *Антей* — в греческой мифологии сын Посейдона и Геи, ливийский великан; вызывал всех чужестранцев на поединок и убивал их, черпая силы в прикосновении к матери-земле. Побежден Гераклом, задушившим Антея раньше, чем тот успел коснуться земли.

«Нива» — популярный русский еженедельный иллюстрированный журнал, выходил в Петербурге в 1870—1918 гг.; издавались также «Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к журналу «Нива» и собрания сочинений русских и зарубежных классиков в качестве бесплатной премии подписчикам.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ПРОШЛОГО. *«Аполлон»* — русский модернистский литературно-художественный журнал, издавался в Петербурге в 1909—1917 гг.

ДВА ВИЛЛИ. *И был в Мессине во время землетрясения* — сильное землетрясение в Мессине — городе на северо-востоке Сицилии — произошло в 1908 г.

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК. *Жена? Нет, она, знаете, осталась домохозяйничать... Библейская Марфа.* — Имеется в виду евангельская притча о сестрах Марии и Марфе (Лука, 10, 38—42).

ГОРЫ. *Владикавказ* — в 1931 г. переименован в г. Орджоникидзе.

Ах! Терек! «Плещет мутный вал!» — цитата из «Казачьей колыбельной песни» М. Ю. Лермонтова: «По камням струится Терек. // Плещет мутный вал...»

Они напоминали мне подводный корабль «Наутилус» Жюля Верна — имеется в виду подводная лодка капитана Немо, описанная в романах французского писателя Ж. Верна (1828—1905) «Таинственный остров» и «Двадцать тысяч лье под водой».

Тамара — царица Грузии в 1184—1207 гг.

«Ценою жизни ночь мою!» — цитата из стихотворения А. С. Пушкина о Клеопатре «Чертог сиял...» (1828), включенного впоследствии редакторами его сочинений в незаконченную повесть «Египетские ночи».

Клеопатра (69—30 до н. э.) — последняя царица Египта; легенда о том, что Клеопатра отдавала свою любовь в обмен на жизнь, приводится римским писателем Виктором Аврелием (IV в. н. э.)

«Не плачь, дитя, не плачь напрасно...» — искаженные строки из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (1839): «Не плачь, дитя! не плачь напрасно! // Твоя слеза на труп безгласный // Живой росой не упадет...»

Екатеринослав — в 1926 г. переименован в г. Днепропетровск.

Как святой Севастьян на своих палачей — имеется в виду святой католической церкви; был предан казни за приверженность христианству и пронзен тысячью стрел, однако выжил, но после своего

вторичного выступления против римского императора Диоклетиана (245—316) был забит палками насмерть.

Ложе, которому бы позавидовал сам Прокруст — в греческой мифологии Прокруст — Элевсинское чудовище — убивал зашедших к нему путешественников, «подгоняя» их к размеру ложа.

С конной статуи Петра Великого — имеется в виду памятник Петру I в Петербурге работы Э.-М. Фальконе («Медный всадник»).

ДАЧНЫЙ РАЗЪЕЗД. *Как Раскольников делал фальшивый заклад* — герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание», для того чтобы попасть к старухе-процентщице, изготовил фальшивый заклад.

РЕВНОСТЬ. *Николаевский вокзал* — ныне Московский вокзал в Петербурге.

«Фарс» — театр в Петербурге.

АРАБСКИЕ СКАЗКИ. *Как метко выразился поэт, «выставляется первая рама»* — намек на стихотворение А. Н. Майкова (1821—1897) «Весна! Выставляется первая рама...» (1854).

ПЕРЕВОДЧИЦА. *Вейнингер О.* (1880—1903) — немецкий писатель, автор нашумевшей книги «Пол и характер» (1903).

ПЕСЬЕ ВРЕМЯ. *Колосс Родосский* — бронзовая статуя Гелиоса, стоявшая у входа в гавань на острове Родос. Считалась одним из семи чудес света.

Пулковская обсерватория — «Главная Николаевская Астрономическая Обсерватория» при деревне Пулково близ Петербурга, работает с 1839 г., ныне — Главная астрономическая обсерватория АН СССР.

«Будем как солнце!» — первые слова стихотворения русского поэта К. Бальмонта (1867—1942) «Будем как солнце! Забудем о том...» из сборника «Будем как Солнце. Книга символов» (1903).

ПИСЬМА ИЗДАЛЕКА. *Гейне Г.* (1797—1856) — немецкий писатель. Имеется в виду, очевидно, «Путешествие по Гарцу» из его «Путевых картин».

Эйдкунен — пограничное с Россией местечко прусского округа Гумбиннен.

Аттила (ок. 434—453) — царь гуннов. Возглавлял опустошительные походы в Восточную Римскую Империю (443, 447—448), Галлию (451), Северную Италию (452).

Лист Ф. (1811—1886) — венгерский композитор, пианист, дирижер. Среди его сочинений «Венгерские рапсодии» и «Испанская рапсодия».

«Тангейзер» — опера немецкого композитора и дирижера Р. Вагнера (1813—1883), закончена в 1845 г.

РАЗГОВОРЫ. *Дункан А.* (1877—1927) — американская танцовщица, отрицая классическую танцевальную школу, создала свою

манеру танца (выступала босиком, в хитоне, активно использовала элементы античной пластики). Неоднократно гастролировала в России.

Аллан М. (1883—1956) — канадская танцовщица, близкая по стилю танца к А. Дункан; ее гастроли в Петербурге проходили в 1908 г.

ФРАНЦУЗСКИЙ РОМАН. *Маргерит П.* (1860—1918) — французский писатель, начинал как последователь Золя, однако потом подписал антизолаистский манифест. Некоторые произведения написал в соавторстве со своим братом Виктором (1866—1942). Многие их романы были переведены на русский язык.

Артемида — греческая богиня, дочь Зевса и Лето, сестра-близнец Аполлона, почиталась, в частности, как богиня девственной чистоты и целомудрия.

РЕКЛАМЫ. *Бехтерев В. М.* (1857—1927) — русский невропатолог, психолог и психиатр, основатель Психоневрологического института (1908).

АЭРОДРОМ. *«Марсельеза»* — французская революционная песня (слова и музыка К.-Ж. Руже де Лиля, 1792), государственный гимн Франции. Ее русский вариант — «Рабочая Марсельеза» (слова П. Л. Лаврова, 1875).

Фарман А. (1874—1958) — французский авиаконструктор и летчик, в 1912 г. организовал свою фирму; по его фамилии были названы модели выпускаемых самолетов.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ. *Вербицкая А. А.* (1861—1928) — русская писательница, чьи книги пользовались огромной популярностью.

Шопен Ф. (1810—1849) — польский композитор и пианист.

С НЕЗАПАМЯТНЫХ ВРЕМЕН. *Екатерина II Великая* (1729—1796) — Российская Императрица, урожденная Софья Августа Фредерика, дочь владетельного князя Ангальт-цербстского Христиана Августа; православие и имя Екатерины Алексеевны приняла в 1744 г., вступила на престол в 1762 г. по отречении Петра III.

Зубов П. А. (1767—1822) — русский государственный деятель, фаворит Екатерины II, при Павле I был вынужден уйти в отставку и удалиться от двора. В 1800 г. был возвращен в Петербург и назначен шефом первого кадетского корпуса; некоторый вес в общегосударственных делах приобрел вновь ненадолго в 1812—1813 гг. как противник Франции.

Турецкая-то война при Николае была! — Имеется в виду русско-турецкая война 1828—1829 гг.

НЕДЕЛИКАТНОСТИ. *«Я в мир пришел, чтоб видеть солнце!»* — искаженная первая строка стихотворения К. Д. Бальмонта из сборника «Будем как Солнце»: «Я в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце...»

Горбунов И. Ф. (1831—1895/96)—русский писатель и актер, автор и исполнитель комических и бытовых сценок.

«Полевая ромашка», «Я зовусь полевая ромашка» — «перевирается» стихотворение К. Д. Бальмонта «Замарашка» из сборника «Будем как Солнце»: «Бедная ты замарашка, // Серенький робкий зверок, // Ты полевая ромашка, // Никем не любимый цветок» и т. д.

Морзэ С. Ф. Б. (1791—1872)—американский изобретатель, в 1837 г. создал электромагнитный телеграфный аппарат, в 1838 г. разработал телеграфный код.

ЗАВОЕВАНИЕ ВОЗДУХА. *Вальс из «Евгения Онегина»* — имеется в виду вальс из оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» (1878).

ПУТЕШЕСТВЕННИК. *Страсбургский собор*—готический собор XIII—XV вв. в городе Страсбурге (Франция).

Нотр-Дам де Пари—Собор Парижской богоматери—готический собор XII—XIII вв. в Париже.

«Катенька»—ассигнация в 25 рублей, на которой был изображен портрет императрицы Екатерины II.

ИЗ «ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ, ОБРАБОТАННОЙ «САТИРИКОНОМ»

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ

Печатается по книге: «Всеобщая история, обработанная «Сатириконом». I. Древняя история.— Тэффи. (Иллюстрации А. Яковлева.) II. Средняя история.—Осипа Дымова. (Иллюстрации А. Радакова). III. Новая история.—Аркадия Аверченко. (Иллюстрации А. Радакова, Ре-Ми, А. Яковлева и А. Юнгера). IV. Русская история.—О. Л. Д'Ора. (Иллюстрации Ре-Ми). СПб., Изд. М. Г. Корнфельда, 1911. (Бесплатное приложение к журналу «Сатирикон» за 1910 г.)

Впервые информация о предстоящем издании юмористической «Всеобщей истории» появилась в 46-м номере «Сатирикона» за 1909 г.: «Все годовые подписчики получат в виде бесплатного приложения роскошно иллюстрированное издание «Всеобщая история», обработанная «Сатириконом» под углом его зрения, под ред. А. Т. Аверченко»,— гласило рекламное объявление, призывающее подписываться на журнал на 1910 год. «Всеобщая история может похвастаться, что ей очень повезло, так как она впервые попала в руки лиц, которые отнесутся к ней с достодолжным вниманием, уважением и тщательностью,—заявляла редакция в последнем номере 1909 года.— Имена Аркадия Аверченко, Осипа Дымова,

О. Л. Д'Ора и Тэффи — этих честных добросовестных историков, которых до сих пор никто еще не мог упрекнуть в искажении истины в их научных трудах,— эти имена являются гарантией, что все всемирные события предстанут перед потрясенным читателем в том самом виде, в котором они происходили...»

Помимо уже упомянутых авторов, предполагалось также участие в составлении «Всеобщей истории» Александра Рославлева и Саши Черного. Сатириконцы с самого начала не скрывали, что главным объектом насмешки в их коллективном сочинении станут гимназические курсы известного русского историка Д. И. Иловайского (1832—1920): «И не пройдет и года, как всякий наблюдательный человек сразу сможет, среди большого общества, отличить подписчиков «Сатирикона»,— по громадной эрудиции, здравому взгляду на исторические события и такому оригинальному их освещению, которое сразу собьет всех питомцев Иловайского с их лживой, жалкой позиции» («Сатирикон», 1909, № 52).

По учебникам Иловайского, переиздававшимся чуть ли не ежегодно на протяжении нескольких десятилетий и рекомендованных Ученым комитетом при Министерстве народного просвещения, знакомились с мировой историей целые поколения русских гимназистов. В начале XX века его курсы Всеобщей и Русской истории для младшего, среднего и старшего возрастов, «преимущественно для женских учебных заведений» и пр. стали вызывать особенно многочисленные нарекания. Признавая авторитет ученого и видную роль его трудов, критики утверждали, что он не учитывает новейших исторических открытий, что тексты перегружены мелкими подробностями и «сомнительными» легендами, требовали «поднять» учебники до уровня современного состояния науки. Юмористы были еще категоричнее в своих высказываниях, опираясь, впрочем, не на научные данные, а на личный опыт: «Изучать всемирную историю по Иловайскому — это все равно что знакомиться с великими завоеваниями в области электричества — по трамвайному билету, который в свое время удостоверял ваше право на пользование известной порцией трамвайной электрической тяги.

В обоих случаях у пытливого человека будет одинаковое количество данных, с помощью которых он войдет в таинственный, влекущий к себе, храм науки.

Сотни тысяч юношей были бессовестно обмануты в своих стремлениях, и потом горько плакали, проклиная свою доверчивость...

Вступали они в жизнь, вооруженные только двумя ценными историческими фактами, которые, в разных комбинациях, цитировались ими и служили примером в жизни. Эти два факта были таковы:

1) Какой-то Алкивиад отрубил хвост какой-то собаке.

2) Неизвестный человек, по имени Муций Сцевола, изжарил на жаровне собственную руку.

Потом, с течением времени, юноши позабыли причины этих двух поступков, а некоторые даже путали: лишение собаки хвоста приписывали Муцию, а страшный поступок с рукой навязывали Алкивиаду, который, как известно, имел руки совершенно нормальные и так и умер, даже не пытаясь зажарить какую-либо из своих конечностей» («Сатирикон», 1910, № 1).

Когда «атака» на Иловайского была предпринята «Журналом Министерства народного просвещения», опубликовавшим целую серию отрицательных рецензий на очередные издания пособий, ученый довольно резко ответил в печати, но взялся за переработку учебников и выпустил вскоре новый вариант «Руководства ко Всеобщей истории. Древний мир» для старшего возраста, текст которого и стал непосредственной основой для пародии Тэффи.

Сложность комментирования данного произведения заключается в том, что современный читатель не знаком с пародируемым текстом, т. к. долгое время сочинения Иловайского не переиздавались. К сожалению, в настоящем издании не представляется возможным поместить полный литературный и конкретно-исторический комментарий к тексту Тэффи из-за ограниченного объема книги. Тем не менее, для того чтобы все-таки показать принципы работы писательницы, даются в качестве примера пояснения к нескольким фрагментам, а именно: к разделу «Персы» из первой части («Восток»), а также к началу второй части («Греция»), до раздела «Афины». Это хоть в какой-то мере позволит «прочитать» произведение Тэффи не только как юмористический курс древней истории, но и как мастерски сделанную пародию на конкретную книгу.

«Руководство» Д. И. Иловайского цитируется по изданию: «Древняя история. Курс старшего возраста». Составил Д. И. Иловайский. Изд. 27-е. М., 1907.

В случаях когда возникает проблема выбора между чисто фактическим комментарием или отсылкой на Иловайского, предпочтение отдается последнему, т. к. продемонстрировать переосмысление пародируемого текста, несомненно, важнее, нежели устранить неточности в изложении исторических событий.

В определенной степени пародийность произведения Тэффи воспринимается и без знакомства с трудами Иловайского благодаря тому, что широко известны источники, которыми историк пользовался при составлении своих учебников, (здесь, в первую очередь, сочинения античных авторов), а, пародируя компиляцию, Тэффи, естественно, «параллельно» или «опосредованно» пародирует и первоисточники, точнее, традиционное восприятие первоисточников. Однако, «прямые» цитаты, многие детали, сам принцип отбора и компонования материала, наконец техника пародирования (о которой надо говорить особо) — все это неуловимо без сопоставления с текстом Иловайского.

Указывается лишь начало комментируемого фрагмента.

Курсив Иловайского не сохраняется.

ПЕРСЫ. *Геродот* (ок. 484—425 до н. э.) — греческий историк.

Однажды Астиагу приснилось...— У Иловайского: «Мидийскому царю Астиагу однажды приснилось, будто от его дочери выросло дерево, которое тенью своею покрыло всю Азию. Царь спросил магов (т. е. мидийских жрецов), что значит этот сон. Они истолковали так, что его дочь родит сына, который будет царствовать над целой Азией. Астиаг испугался; когда же дочь его, бывшая замужем за одним знатным Персом, действительно родила сына, он велел своему приближенному вельможе Гарпагу умертвить младенца. Гарпаг не решился сам на убийство и поручил это сделать одному пастуху. Но пастух по просьбе своей жены воспитал маленького Кира вместо собственного ребенка. Раз, играя со сверстниками, Кир был выбран ими в цари, и наказал за что-то розгами сына одного вельможи; тот пожаловался отцу, отец — Астиагу. Последний призвал Кира; пораженный его бойкими ответами и сходством лица со своею дочерью, он заставил пастуха во всем признаться» (с. 39—40).

Кир II Великий (?—530 до н. э.) — первый царь государства Ахеменидов, завоевавший Мидию, Лидию, значительную часть Средней Азии, греческие малоазиатские города, покоривший Вавилон и Месопотамию.

Войдя в возраст, Кир победил царя Лидийского Креза...— Крез (595—546 до н. э.) — последний царь Лидии (с 560 г.), в 546 г. был разбит и взят в плен Киром. У Иловайского: «По словам Геродота, пленный Крез был осужден на сожжение. Когда его положили на костер, он воскликнул: «О, Солон, Солон, Солон!» Кир остановил казнь и спросил, что значит такое восклицание. Тогда Крез рассказал, как его однажды посетил греческий мудрец Солон, как он показал гостю свои сокровища и спросил Солона, кого он считал самым счастливым из людей, думая, что услышит свое имя. Но, к удивлению его, мудрец привел несколько других примеров и заметил, что прежде кончины никто еще не может назвать себя счастливым. Кир был тронут этим рассказом, даровал жизнь Крезу и держал его в почете» (с. 40).

Солон (ок. 640—560 до н. э.) — афинский политический деятель, поэт, философ, в античное время был причислен к числу Семи мудрецов.

Камбиз II — сын Кира II, царь персов в 529—522 гг. до н. э.

Камбиз пошел воевать с Эфиопами...— У Иловайского: «Из Египта Камбиз пошел на юг, в землю Эфиопов; но он зашел в пустыню, где войско его терпело такой ужасный голод, что воины стали убивать по жребию своих товарищей на съедение. Камбиз принужден был поспешно воротиться в Мемфис. Здесь в то время праздно-

вали открытие нового Аписа; а свирепый персидский царь счел эти праздники насмешкою над своею неудачею, казнил многих жрецов и собственноручно заколол Аписа. Он велел также умертвить и брата своего Смердиза, подозревая его в замыслах на престол. Но один мидийский маг, похожий на Смердиза, под его именем возмутил народ и объявил себя царем. Камбиз поспешил в Мидию и дорогою умер от раны, которую неосторожно нанес себе собственным мечом (522 г.)» (с. 42).

Апис — в египетской религии священный бык; избрание нового Аписа вместо умершего отмечалось как всенародный праздник.

Дарий I — персидский царь в 522—486 гг. до н. э., провел реформу административной структуры персидского царства, установил официальный государственный язык, упорядочил налогообложение, создал денежную систему и т. п.; в 514 г. предпринял поход против скифов, вел еще несколько крупных войн.

После сражения устраивали пиршества... — У Иловайского: «Например, в общественном пиру могли участвовать только те, которым удалось убить неприятеля, а остальные со стыдом сидят в стороне. Из черепа убитых врагов они делали застольные чаши, а снятую с этих черепов кожу вешали на поводья своих коней, как почетное украшение» (с. 44).

Узнав о приближении Дария Гистаспа... — У Иловайского: «Дарий послал к скифскому царю (Идантурсу) сказать, чтобы он или вступил в битву, или прислал ему земли и воды в знак своей покорности. <...> Вместо земли и воды они прислали Дарию птицу, мышь, лягушку и пять стрел. Один Перс так истолковал значение этих подарков: «Персы, если вы не умеете летать подобно птицам, прятаться в землю подобно мышам, прыгать в болото, как лягушки, то вы не воротитесь в отечество и все погибнете от наших стрел». Дарий с большими потерями отступил тою же дорогою обратно в Азию» (с. 44—45).

Дарий Гистасп прославился не только этим походом... — У Иловайского: «Дарий Гистасп прославился не столько военными предприятиями, сколько своим умным правлением» (с. 45).

Древние персы вначале отличались мужеством... — У Иловайского: «Древние Персы первоначально отличались мужеством и простотою нравов; сыновей своих они учили в особенности трем предметам: ездить верхом, стрелять из лука и говорить правду. Воспитание молодых Персов было очень суровое; пищею им служили только хлеб и несколько овощей. <...> Но, покорив Мидян и Вавилонян, Персы переняли у них многие обычаи, роскошь в одежде и в образе жизни и привыкли к обманам» (с. 47—48).

Этим воспользовался Александр Македонский и завоевал Персию. — Александр III (356—323 до н. э.) — македонский царь с 336 г., в 334 г. начал борьбу против персов, империя которых стала

распадаться; война практически закончилась в 325 г. захватом Индо-Гангской низменности.

ГРЕЦИЯ. *Греция занимает...*— У Иловайского: «Греция занимает южную часть Балканского полуострова. <...> Сама природа разделила Грецию на три части: Северную, Среднюю и Южную» (с. 53).

Геркулес (Геракл) — древнегреческий герой, сын Зевса и Алкмены. Очистка Авгиевых конюшен — шестой из двенадцати подвигов Геракла, которые он должен был совершить, дабы искупить грех убийства своей жены Мегары и детей, совершенного в припадке безумия, насланном Герой.

Эдип — в греческой мифологии сын фиванского царя Лая и Иокасты. Не зная своих родителей, убил отца, а затем, освободив Фивы от Сфинкса, женился на собственной матери.

Оффенбах Ж. (1819—1880) — французский композитор, один из основоположников классической оперетты. «Прекрасная Елена» (1864) — написана на сюжет о Троянской войне, причиной которой стало похищение троянцем Парисом жены спартанского царя Менелая Елены.

Калхас — греческий прорицатель, предсказавший продолжительность Троянской войны и др.

Одиссей — легендарный царь Итаки; дал совет построить деревянного полого коня и спрятать внутри его воинов, чтобы таким образом проникнуть за стены Трои, и т. д. После завоевания Трои десять лет не мог вернуться домой.

Пенелопа — жена Одиссея, двадцать лет ждавшая его возвращения с Троянской войны. Она отклоняла многочисленные предложения женихов под предлогом, что сначала хочет выткать погребальное покрывало своему тестю Лаэрту, а сама по ночам распускала сотканное за день.

История эта кончилась трагически...— Вернувшийся Одиссей вместе со своим сыном Телемахом перебили всех женихов.

«Илиада» изображает нам...— У Иловайского: «Как Илиада изображает нам битвы и военные обычаи Греков, так Одиссея, наоборот, изобилует картинами из их мирной жизни, из их семейных и общественных нравов» (с. 61—62).

...а народ «смешанным гулом»...— Имеется в виду фраза Иловайского: «Впрочем, иногда народ выражает здесь свое одобрение или неодобрение смешанным гулом» (с. 63).

Царь, обыкновенно, человек небогатый...— У Иловайского: царь «обыкновенно ведет свой род от богов или мифических героев и свой сан передает в наследство старшему сыну. <...> Доходы его состояли из произведений собственных полей и добровольных подарков» (с. 62).

Знатные мужи, окружающие царя, также производили свой род...— У Иловайского: «Знатные мужи, окружавшие царя, так же,

как и он, производили свой род от богов <...>; на войне они выступали как народные вожди и сражались впереди войска. Благодаря своему богатству, они отличаются вооружением от остальных воинов» (с. 62).

Положение женщины у греков...— У Иловайского: «Положение женщины у Греков было гораздо лучше, чем у восточных народов (за исключением евреев). Хотя в Героическом периоде Грек еще покупает себе жену, но она не осуждена проводить жизнь в уединении гарема и в рабских отношениях к мужчине, как на востоке; на ней лежат в особенности заботы о домашнем хозяйстве» (с. 63).

...боги находились в постоянном общении с людьми...— У Иловайского: «Олимпийские боги находятся в постоянном общении с людьми и подвержены обыкновенным человеческим страстям и ощущениям, каковы: радость, горе, гнев, ненависть и т. п.» (с. 67).

Понятие о загробной жизни...— У Иловайского: «Понятия их о загробной жизни и воздаянии каждому по заслугам были довольно смутны. Тени грешников отсылались в мрачный холодный Тартар, а тени людей добродетельных отправлялись в Элизий, где они вели блаженное существование посреди зеленых рощ и цветов, наслаждаясь вечною весной» (с. 67).

Тартар— нижняя часть преисподней, где томились Кронос и богопреступники, мрачная бездна в глубине земли, отстоящая от ее поверхности настолько же, насколько и небо.

Элизиум— легендарная страна блаженных на западном краю земли, или небольшая область в подземном мире, где живут герои и праведники.

...сведущий в этих делах Ахиллес признался...— Попав во время своих странствий в царство мертвых, Одиссей встретил там Ахилла, который признался, что предпочел бы быть на земле поденщиком какого-нибудь бедняка, нежели царствовать над всеми тенями мертвых.

Здесь жрица...— У Иловайского: «Здесь жрица, называвшаяся пифия, садилась на треножник, поставленный над расселиной скалы; одуряющие пары, выходившие из этой расселины, приводили пифию в исступление, и она произносила бессвязные слова, из которых жрецы выводили ответы вопрошавшим. Сюда стекались послы со всех греческих земель от знатных людей и целых государств, и не иначе как с богатыми дарами» (с. 69).

...не следует смешивать ее со статуей Мемнона...— Две статуи Мемнона (царя Эфиопии, погибшего во время Троянской войны в поединке с Ахиллом), изваянные из песчаника, были возведены недалеко от египетских Фив. Одна из них, поврежденная во время землетрясения, на рассвете издавала звук,— считалось, что таким образом Мемнон приветствует свою мать,— богиню утренней зари Эос.

Судились греки в Амфиктионовом судилище.— У Иловайского: «Основание его приписывали мифическому царю Амфиктиону. Это был союз соседних племен с целью охранять Дельфийский оракул и сокровища Дельфийского храма, а также поддерживать взаимный мир и разбирать пограничные распри. Судилище собиралось два раза в год, весною и осенью, попеременно в Дельфах и в Фермопилах. Число общин, принадлежавших к союзу, простиралось до 12, и каждая посылала в судилище двух депутатов» (с. 69). Далее Тэффи, вслед за Иловайским, приводит подлинную присягу судей.

Летосчисление свое греки вели...— У Иловайского: «Между общими греческими праздниками первое место занимали общественные игры, на которых происходили разные состязания в силе и ловкости. Самые замечательные игры были Олимпийские, названные так потому, что они совершались в честь Зевеса Олимпийского, близ города Олимпии в Элиде. <...> Кроме телесных и гимнастических состязаний, на этих играх впоследствии писатели и поэты читали свои лучшие сочинения. Например, Геродот читал здесь отрывки из своей истории. Олимпийские игры производились через каждые четыре года, и по этим четырехлетним промежуткам или Олимпиадам Греки вели свое летосчисление» (с. 70).

СПАРТА. *Летом в Лаконии было жарко...*— У Иловайского: «Климат здесь более суров, чем в других частях Греции: летом почти тропические жары, а зимою довольно холодно. Почва местами очень плодородна, но вообще требует значительного труда для своей обработки. Такие условия должны были способствовать развитию жесткости и энергии в самом характере жителей» (с. 71).

В Спарте был ров, наполненный водой...— У Иловайского: «Подле города устроена была особая площадь, обсаженная платанами и окруженная рвом и водою, <...>. Эта площадь служила для воинских упражнений юношей, которые разделялись на две стороны: одна сторона отбивала площадь у другой, причем противники старались столкнуть друг друга в воду. Самый город против обыкновения не был огражден стенами; мужество граждан должно было служить ему защитою» (с. 72).

Спартанцы, хитрые по природе...— У Иловайского: «Доряне завоевали Лаконию под начальством двух братьев, и с тех пор в Спарте было всегда два царя. Они редко находились между собою в согласии» (с. 72).

Ликург— легендарный законодатель Спарты, между IX и перв. пол. VII в. до н. э.

Ликург был царского рода...— У Иловайского: «Ликург должен был наследовать брату в царском достоинстве; но отказался от него в пользу маленького племянника своего Харилая (сына Полидектова), однако некоторое время пользовался властью в качестве опекуна племянника. Так как его справедливость навлекла на него

вражду многих знатных людей, то Ликург оставил потом отечество и отправился путешествовать» (с. 72—73). Фактически Ликург был вынужден удалиться в изгнание. Следуя эвфемизму Иловайского, Тэффи в дальнейшем везде заменяет «был изгнан» на «отправился путешествовать».

...соотечественники потребовали его возвращения.— У Иловайского: «Между тем в Спарте свирепствовали раздоры и смуты; народ просил Ликурга воротиться в отечество и утвердить порядок определенными законами. Ликург исполнил эту просьбу» (с. 73).

После этого, опасаясь слишком горячей благодарности...— После утверждения законов Ликург отправился в Дельфы якобы за советом к Дельфийскому оракулу, взяв предварительно с сограждан клятву следовать законам до его возвращения. В Дельфах же он «добровольно уморил себя голодом, и прах свой завещал бросить в море, чтобы сограждане не имели никакого предлога нарушить его законы. Спартанцы воздавали его памяти почти божеские почести» (Иловайский, с. 73).

Население Спарты делилось на три сословия...— У Иловайского: «Население страны делилось на три сословия или класса: спартиаты, периэки и илоты. Спартиаты, т. е. собственно граждане Спарты, были потомки Дорян-завоевателей и составляли род господствующей военной аристократии. <...> Спартиаты считались равными между собой, были свободны от податей, занимались только гимнастикой, охотой и войной» (с. 73—74).

Периэкам гимнастика была запрещена...— У Иловайского: «Периэками назывались в Лаконии жители ахейских городов, завоеванных Дорянами. Они не пользовались полными правами граждан» и т. д. (с. 74).

Хуже всех приходилось илотам...— У Иловайского: «Гораздо тяжелее было положение илотов. Так называлась другая часть покоренных Ахеян, именно сельские жители, обращенные в рабство» (с. 74).

...придумали так называемую криптию...— У Иловайского: «Так, рассказывают, что ежегодно отправлялась внутрь страны экспедиция из молодых Спартанцев, вооруженных кинжалами; чтобы приучить себя к пролитию крови, они должны были убивать всех илотов, попавшихся навстречу в известный час. Эта охота на илотов называлась криптия» (с. 75).

Спартанские цари пользовались большим уважением...— У Иловайского: «Уважение к ним граждан основывалось главным образом на том, что оба царские рода (Проклиды и Агиды) вели свое происхождение от Геркулеса. Спартанские цари были вместе жрецами Зевеса и посредниками в сношениях государства с Дельфийским оракулом. Они ежемесячно возобновляли свою присягу исполнять законы республики» (с. 75—76).

Так как в Спарте царствовало всегда два царя...— У Иловайского: «Вообще Спарта была республикой, в которой государственные дела находились более в руках царей и знатных сановников, нежели народного собрания, т. е. республикой аристократической» (с. 76).

По законам этой республики спартанцам был предписан...— У Иловайского: «Спартанцам предписан был самый строгий образ жизни и запрещалась всякая роскошь. Например, мужчины не могли обедать дома; они собирались за общие столы, где обедали группами или товариществами. Этот обычай общественных столов назывался сиссития. Каждый член товарищества доставлял к столу определенное количество муки, вина, плодов и денег. Обедали очень умеренно; любимое кушанье их составляла черная похлебка, сваренная из свиного отвара, крови, уксуса и соли. В одежде и жилищах соблюдалась также величайшая простота. Только перед битвою Спартанцы снаряжались, как на праздник: они надевали тогда багряные плащи, украшали венками свои длинные волосы и шли с песнями при звуках флейт» (с. 76—77).

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ. *Воспитание детей было очень суровое.*— Дословная цитата из Иловайского (с. 77).

...их учили не кричать во время порки.— У Иловайского: «...их заставляли привыкать к голоду, к усталости и перенесению боли; с этой целью, например, мальчиков жестоко секли розгами, и считалось признаком мужества не издавать при этом никаких стонов» (с. 77).

В 20 лет спартиат сдавал экзамен...— У Иловайского: «В 20 лет спартиат оканчивал свое воспитание и поступал в войско; в 30 лет он становился супругом и пользовался всеми правами гражданина; в 60 лет он освобождался от военной службы» (с. 78).

Девушки спартанские занимались гимнастикой...— У Иловайского: «Даже девушки спартанские занимались гимнастическими упражнениями, чтобы укрепить свои силы и производить потом здоровых детей. Спартанки были известны своей красотой во всей Греции; спартанские кормилицы вошли в такую славу, что везде богатые люди старались поручать им своих детей» (с. 77).

Скромность и уважение к старшим было...— У Иловайского: «Скромность и уважение к старшим были первым долгом молодых людей. Спартанские юноши обыкновенно ходили по улицам тихим, ровным шагом с опущенным взором и держа руки под плащом (последнее считалось в Греции признаком скромности). Они с детства приучались не плодить речей, а отвечать коротко и сильно. Отсюда подобные ответы и теперь называются «лаконическими» (с. 77).

УПАДОК СПАРТЫ. *Постоянное купанье и лаконический разговор...*— У Иловайского: «Пренебрегая мирным трудом и умст-

венными занятиями, Спартанцы с течением времени отстали в этом отношении от других Греков» (с. 78).

Тиртей — древнегреческий поэт-лирик; во время 2-й Мессенской войны (VII в. до н. э.) поднимал боевой дух спартанцев, исполняя свои песни и марши.

ИЗ КНИГИ «СЕМЬ ОГНЕЙ»

Тексты печатаются по изданию: Тэффи. «Семь огней». СПб., «Шиповник», 1910. Помимо стихотворений в книгу вошла также пьеса «Полдень Дзохары — легенда Вавилона».

САФИР. *Галич* (Габрилович) Л. Е. (1878—1953) — русский писатель; в кружок Случевского был принят на одном заседании с Тэффи, заведовал отделом в «Новой Жизни».

Альберт Великий — Альберт фон Больштедт (ок. 1193—1280) — немецкий философ и теолог, автор, в частности, трактата о минералах.

Каббала — мистическое течение в иудаизме. Каббала понимает бога как неопределимую бескачественную беспредельность, которая одновременно есть все в вещах, в которые она изливает свою сущность, ограничивая для этого самого себя. Неопределимый бог приходит к определенности в десяти «Сефирот» («венец», «мудрость», «разумение», «милость», «сила», «сострадание», «вечность», «величие», «основа», «царство»). Вместе «Сефирот» образует космическое тело совершенного существа первочеловека Адама Кадмона, сосредоточившего в себе потенции мирового бытия.

Н. М. МИНСКОМУ. *Минский* (Виленкин) *Н. М.* (1855—1937) — русский писатель; Тэффи познакомилась с ним на вечерах у Зои Яковлевой; об их совместной работе в «Новой Жизни» см. вступ. статью.

ВЯНУТ ЛИЛИИ, БЛЕДНЫ И НЕМЫ... *Л. Г.* — очевидно, Леонид Галич (см. о нем примеч. к стихотворению «Сафир»).

ПЧЕЛКИ. См. об этом стихотворении вступ. статью.

ЗАСВЕТИЛА Я СВОЮ ЛАМПАДУ. *...В откровеньи новому Синаю || Обовьет ли новую скрижаль?..* — Согласно Библии, 10 заповедей, данные Моисею на горе Синай, были записаны на двух Скрижалях — досках с высеченным на них священным текстом.

ЗВЕРЬ. *Иегова* (Яхве) — верховное божество в иудаизме.

ПРАЗДНИК ДЕВ. *Иштар* — в аккадской мифологии центральное женское божество, богиня плодородия и плотской любви, а также богиня войны. Среди культовых празднеств в честь Иштар было принесение жрицами в жертву девственности.

ВЕНЧАНИЕ ПАЛЬМЫ. *Бал-Самин* (Баалшамем, Баалсамин — «хозяин небес») — в западносемитской мифологии бог —

владыка неба, в ряде случаев — бог солнца. Также верховное божество в ханаанейско-арамейском пантеоне.

ЖЕРТВА. *Ашшур* — в аккадской мифологии центральное божество ассирийского пантеона, первоначально бог-покровитель города Ашшур. Эмблема Ашшура — крылатый солнечный диск.

Мардук — центральное божество вавилонского пантеона, главный бог города Вавилон. С XIV в. до н. э. культ Мардука распространяется и в Ассирии, где ему противостоит местное божество с аналогичными функциями Ашшур.

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС

Впервые поставлена в петербургском Малом театре в 1907 г. Печатается по изданию: Тэффи. Восемь миниатюр. СПб., Изд. М. Г. Корнфельда, 1913. (Театральная библиотека «Сатирикона».)

Д. Д. Николаев

СОДЕРЖАНИЕ

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

КНИГА ВТОРАЯ

Тэффи Н. А.

Т97 Юмористические рассказы; Из «Всеобщей истории, обработанной «Сатириконом» /Вступ. статья, сост., подгот. текста, коммент. Д. Д. Николаева.— М.: Худож. лит., 1990.— 415 с.

ISBN 5-280-01822-8

Предлагаемая книга Надежды Александровны Тэффи (1872—1952) дает читателю возможность более полно познакомиться с ранним творчеством писательницы, которую по праву называли «изящнейшей жемчужиной русского культурного юмора».

Т $\frac{4702010000-344}{028(01)-90}$ без объявл. **ББК 84Р6**

Надежда Александровна

ТЭФФИ

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

ИЗ «ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ, ОБРАБОТАННОЙ «САТИРИКОНОМ»

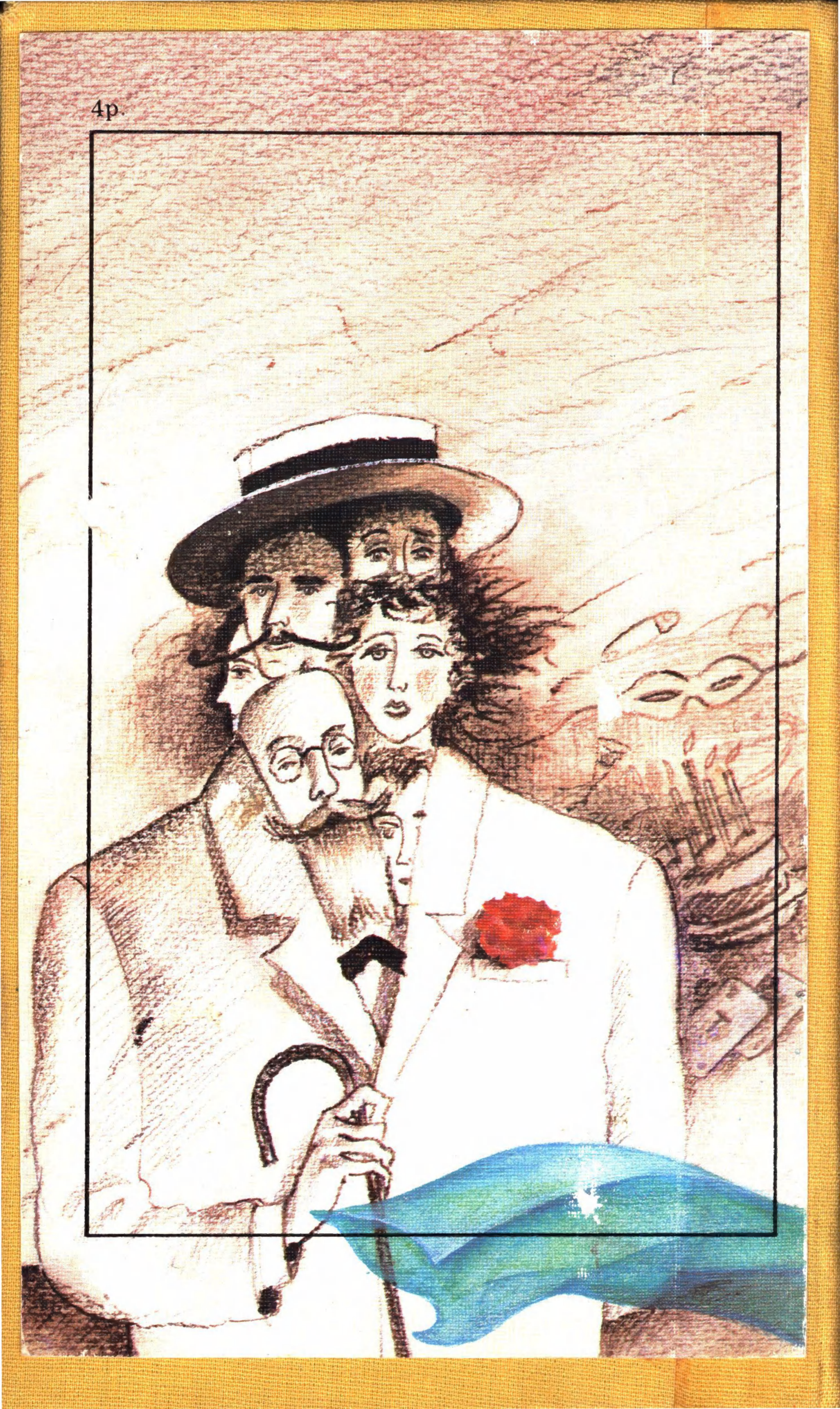
●

Редакторы Ю. Розенблюм, О. Ларкина
Художественный редактор А. Моисеев
Технический редактор Е. Полонская
Корректоры Г. Володина, С. Кашина

ИБ № 6465

Сдано в набор 11.01.90. Подписано в печать 10.05.90. Формат 84×108[1]/32. Бумага типогр. № 2. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 21,84. Усл. кр.-отт. 22,26. Уч.-изд. л. 22,54. Тираж 500 000 (2-й зав. 250 001—500 000) экз. Изд. № 1-3863. Заказ 3610.
Цена 4 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28


4р.